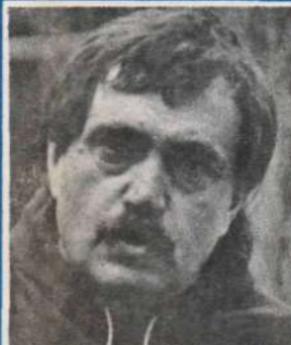


ВРЕМЯ ИМБИ 56 1980



Вас. Аксенов Гибель Помпеи

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● РАССКАЗ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА ● ЛИРИКА СЕМЕНА ЛИПКИНА ● ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕССИАНИЗМ ● ПОВЕСТЬ О БЕЗВРЕМЬЕ ● БУНИН ВО ФРАНЦИИ ● ТАЙНАЯ ЦЕНЗУРА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ



Илья Суслов Эссе о цензуре



Я. Тальмон Политический мессианизм и тоталитарная демократия



А. Рапопорт О Боге, искусстве и о себе



Н. Прут Эмигрантские комплексы в историческом аспекте

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

56
1980

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Szein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.

Представители журнала:

АНГЛИЯ Александр Штротмас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Западный Лотар Ролл
Берлин Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, Т. 603 33 49

Канада Юрий Лурьи
306 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (2041 474 9773

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ю. *КАРАБЧИЕВСКИЙ*
Жизнь Александра Зильбера 5
Вас. *АКСЕНОВ*
Гибель Помпеи 113

ПОЭЗИЯ

Семен *ЛИПКИН*
Из лирической тетради 139
Анри *ВОЛОХОНСКИЙ*
Слепящие тугие письма 148
Дмитрий *БОБЫШЕВ*
Имена 154

ФИЛОСОФИЯ.ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ

Яков *ТАЛЬМОН*
Политический мессианизм и тоталитарная демократия . . . 161
Н. *ПРАТ*
Эмигрантские комплексы в историческом аспекте. 179

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Илья *СУСЛОВ*
Эссе о цензуре 195

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Виктор *КАГАН*
Повесть о безвременье. 212
Леопольд *АВЗЕГЕР*
Я вскрывал Ваши письма 254
Дневник Я. Б. ПОЛОНСКОГО
Иван Бунин во Франции. 279

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

О Боге, искусстве и о себе 306



Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ЗИЛЬБЕРА

Глава вторая

1

Если бы я всерьез заботился о занимательности изложения и неотрывности интереса читателя, а точнее, если бы был уверен, что эта занимательность есть занимательность сюжета, а не отношения, и что этот интерес есть интерес к событию, а не к автору, то есть ко мне лично, если бы я, короче говоря, сочинял роман, а не вспоминал шаг за шагом подлинную свою жизнь,— я бы непременно придумал какую-нибудь душещипательную историю, чтобы объяснить, почему же я тогда так и не встретился с Тamarой.

Я знал ее дом, знал этаж, знал подъезд и номер квартиры. Мне было точно известно время ее приезда. Мне не надо было вновь наводить мосты — мы с ней были знакомы и, насколько я мог судить, уже в "простых" отношениях. Что же случилось? Что же могло случиться, кроме того что я влюбился в другую?

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Окончание. Начало см. в 55 номере.

Помню, я только что прочел "Вешние воды" Тургенева, тонкую книжечку в мягком бумажном переплете "Народной библиотеки", с рисунком на обложке, на котором невозможно элегантен Санин, с тростью в одной руке и шляпой в другой, стоит в нерешительности у входа в дом Джеммы...

Я хранил эту книгу в нижней части книжного шкафа, за деревянными непрозрачными дверцами: видеть ее постоянно было бы выше моих сил. Но я часто — слишком часто — и всегда в одиночестве, когда никого не было дома, открывал эти дверцы, становился на корточки или садился на пол, брал ее в руки, открывал в середине — не наугад, не где придется, а на излюбленных и залюбленных страницах — и в поспешном и лихорадочном молчании предавался сладкому греху перечитывания — перечувствования и переживания того, что давно и многократно уже было мною прочувствовано и прожито. И опять, в который уже раз, я шел вразнос, доводил себя до изнеможения и, только чувствуя близость опасного предела, отрывался от чтения, закрывал дверцы и, обессиленный, падал ничком на диван.

Я не знал еще тогда, как болит сердце, но спину у меня ломало, и в горле стоял влажный упругий комок. Я обожал их обоих — я был поровну ими обоими — и никакой, ну ни малейшей надежды не было у нас впереди, потому что все самое страшное уже случилось. Все было в прошлом — а болело сейчас — какая безысходность, какая несправедливость!

Слов этих не было прежде в моем лексиконе, все свои несчастья воспринимал я как временные, я не считал их жизнью, жизнь, таинственная и прекрасная, ожидалась лишь где-то в будущем — защитный рефлекс детства, непрменный инстинкт самосохранения...

"Вешние воды" стали моим первым учебником неправости. Что ж, всякий опыт полезен для души, но, Боже, какая боль, какая тоска! Стариковская мудрость Тургенева, элегическое его бормотание — не могли сгладить остроту этой боли, их для меня попросту не было, я пропускал

их мимо ушей и глаз. Мне и теперь кажется, что такое чтение в юности — самоубийственно.

Однако я остался жив.

Тут как раз и пришлось бы кстати история с этой женщиной.

Я ничего еще не рассказывал о небольшом флигельке, который стоял во дворе нашего дома. Флигелек окружен был решетчатым забором из высокого, тонкого, но прочного штакетника, за забором же был настоящий сад — вишня и сирень. Вот в этом флигеле она и жила с матерью и маленькой двухлетней дочкой. Муж от нее ушел, но иногда приходил, пьяный, перелезал через забор — большая мохнатая черно-белая Пальма знала его и не лаяла — стучал в окно, орал и ругался. Чаще всего это было ночью, он орал и требовал, чтобы его впустили, никто ему не отвечал, он грозился разбить окно, но не разбивал, а ложился на траву и засыпал до утра. "Как это он не простудится? — удивлялась мама. — Г о й есть г о й. Порядочный человек на его месте давно бы уже подхватил воспаление легких. Хотя как бы это порядочный человек оказался на его месте?" — "Водкэ его греет, — говорил Яков. — Водкэ его согревает водкэ. А что ты думаешь что? Водкэ — это спирт, а спирт — это... согревает. Он согревает, спирт, а что ты думаешь? Спирт его греет, и ему не холодно. Ему тепло. Он может так провалиться целую ночь и встанет, и пойдет опохмелиться пойдет, и ничего ему не будет, можешь за него не беспокоиться..."

Из наших двух окон одно выходило во двор, прямо к флигелю, и в жаркие летние дни я наблюдал, как она, вернувшись домой после утренней смены, выходила в сад загорать — в красном цветастом купальном костюме, в широкополой шляпе, какие я видел только в фильмах про дореволюцию, в незастегнутых босоножках, шлепающих при каждом шаге по пяткам. Дверь флигеля просматривалась свободно, там я мог ее хорошо разглядеть, но дальше начинались густые заросли, да еще забор, да еще расстояние метров пять, да еще невоз-

возможность высунуться в окно — решетки, так что тут уж напряженному моему взгляду доставались только отдельные пятна: если голое тело, значит, рука или нога; если красная ткань, значит, что-нибудь другое, что — это был вопрос возбуждения. И только лицо не оставляло сомнений: ухо с светлым витком семимесячной завивки; или часть щеки с уголком рта; или переносица и один глаз — оба не умещались ни в какой из просветов...

И поэтому в самом начале, когда она была еще у двери, сходила вниз по деревянным ступенькам, поправляла шляпу и шлепала босоножками, — я вцеплялся взглядом в ее фигуру, многократным обводом фиксировал ее в памяти, чтобы потом, в саду, по немногим видимым деталям — дополнять, дорисовывать, восстанавливать...

И тяжелая, хлопотливая эта работа волновала меня гораздо больше, нежели простое разглядывание ясно видимого, я любил именно ту женщину, воображаемую и скрытую в листве, она была здесь главным действующим лицом, эта же, у двери, играла вспомогательную, чисто служебную роль, была лишь исходным материалом для той.

Я вставал с дивана, выходил во двор, медленно приближался к забору флигеля, медленно-медленно шел вдоль него, как бы по своим не столь уж важным делам, гроздь сирени с той стороны /свесившиеся наружу все уже были обломаны/ окутывали мне голову душным своим ароматом, за ними, в гуще кустов, там, где "угадывается качель, недомалеваны вуали", я слышал скрип гамака и ее голос, звавший дочь: "Асенька, Асенька, не плачь, милая, вставай скорей, иди к маме, иди сюда, мама Асю обнимет, мама Асю поцелует..." — Обнимет, поцелует... обнимет, поцелует...

И вот однажды... Но это как раз и была та история, которую следовало бы мне сочинить. И можете мне поверить — уж я бы постарался, уж я бы поместил в нее все, что надо! Там был бы и негромкий зов, окликанье по имени, е е голосом мое имя, и "Пальма, не смей, это свой!" /я — ee!/, и тихий разговор, сидение на лавочке у длинных ее загорелых ног,

свесившихся из гамака, и — дальше нельзя не поднять взгляда, и — "какие у тебя есть книжки, принес бы что-нибудь интересное, так скучно мне здесь одной", и "заходи в гости, приходи почаще, просто так, когда захочешь..." И в следующий раз — уже комната, полутемная от закрытых ставней, с полосами света из щелей — на стенах, оклеенных обоями и увешанных фотографиями, и на крашеном, только что вымытом прохладном и гладком полу... Шкаф с ее платьями и прочей одеждой, стол, накрытый белой крахмальной скатертью, кровать с покрывалами и подзорами... И она — опять в купальном костюме, ну, может быть, в легком распахнутом сарафане, "так жарко, ты уж меня извини..." Затем, может быть, некоторый провал, но зато дальше...

"Тебе хорошо со мной, правда?" — "Господи, ты еще спрашиваешь! — как я прежде жила без тебя — представить не могу..."

2

Года за полтора до этого я лежал в больнице со scarlatinной — оказалось, что болеть ею можно и в таком зрелом, неscarlatinном возрасте. Нас было пять человек мальчишек, от двенадцати до пятнадцати лет, и положили к нам совсем уже взрослого парня, двадцатилетнего солдата-татарина Лешку. Его привезли прямо из казармы, он работал в стройбате крановщиком, был он постоянно весел и бодр и говорил и балагурил почти без умолку. Отношение его к лежанию в больнице оказалось прямо противоположным нашему: то, что для нас было наказанием и неволей, он воспринимал как свободу и праздник. "Солдат спит, служба идет". Единственно, что его расстраивало — это отсутствие женщин. "Систра! — говорил он миловидной, фигуристой Зине. — Систра! У миня жар, у миня высокая тимпиртура". — "Вы же сегодня мерили, — строго отвечала Зина, — у вас тридцать шесть и семь". — "Мирил, мирил. Плоха мирил, тирмометыр плохой..." — "Ну, померяйте еще, я сейчас принесу..." — "Ни нада! Ни нада! Ни нада мни твой тирмомитыр, ниправильный он". — "Странный

вы человек, Бидердинов, как же я узнаю, какая у вас температура?" — "Как узнаешь? — хитро взглядывал на нее Лешка. — Как узнаешь? А просто узнаешь. Ложись со мной в постель — вот и узнаешь..." — "Как вам не стыдно, — вскидывалась Зина, — здесь же дети!" — "А дети выйдут, погулять пойдут, детям гулять нада, а мы с тобой — тимпиртуру померим". — Зина фыркала, краснела и уходила. Лешка хохотал ей вслед. "Она ни против, — объяснял он нам, — только ниудобна ей, нипрылична, женщина, все же..."

Но зато и изливал он на нас всю свою сублимированную энергию: с утра до вечера рассказывал о разнообразнейших своих похождениях. Впрочем, разнились они только местом действия, да именем или возрастом партнерши. В остальном все протекало с завидным постоянством. Сначала — разрешите познакомиться, шуры-муры, культурные беседы, затем — укромное местечко, поцелуи-уговоры, иногда для остроты и соли — немного слез, опасений и просьб и, наконец, — платье — вира, трусы — майна, и полный порядок, жми на рычаг!"

Возможно, эти истории и имели какую-то реальную основу, то есть случились на самом деле, допустим, две из них, не совсем так, но как-то произошли, и затем, соединившись, наплодили все остальные, щедро раздавая им по наследству немногочисленные свои детали и признаки. Но был еще один рассказ, особый, отдельный, наверняка целиком воображенный, придуманный от начала до конца. Именно этот рассказ Лешка любил больше всех и повторял его нам многократно, каждый раз с особым нажимом и вкусом подчеркивая и расцвечивая то одну, то другую подробность. Речь там шла о прекрасной контролерше, которая высаживает на небольшой станции безбилетного солдата, но не для того, чтобы оштрафовать, а совсем напротив — чтобы привести его к себе домой, помыть, накормить, напоить коньяком, дать чистую рубаху и совсем новые штаны и затем этому чистому, сытому и пьяному солдату предложить свою любовь. Именно так и говорилось во всех вариантах: "Пиридлагаю, говорит, тебе свою либови, очен ты мне понрравился". После этого шли

три дня сладкой жизни, которые Лешка по собственному произволу и в зависимости от настроения заполнял различными деталями, затем — грустное расставание с обещаниями и слезами. "И больше и ее никагада ни видел и станцию — какая-токая — ни помню!" — торжествующе заканчивал он.

"Как же ты станцию не запомнил, — сокрушались мы. — Приехал бы еще раз, встретился бы..." — "А зачем? — с деланной беспечностью отвечал Лешка. — Ни одна баба на свете, многа женщын — ни пропадем!..."

Но к чему же я вспомнил сейчас эти Лешкины истории?

Я шел мимо забора, пьянел и чумел от жары и сирени и от собственных своих воспаленных мыслей, слушал мелодичный и мягкий, невозможно женский ее голос: "мама обнимет, мама поцелует... обнимет, поцелует, обнимет, поцелует..." — и чувствовал, как плечи мои ломит от напряжения, губы сухи и мертвы, и нет слюны облизать их, ладони же рук так влажны от пота, что противно нести их рядом с собственным телом — я шел и думал устало: "Хорошо бы — но не сейчас. Не сейчас, не надо; потом..."

Словом, я не встретился со своей долгожданной Тamarой отнюдь не из-за истории с другой женщиной, но по той же самой причине, по какой эта история не произошла.

Это только на бумаге все выглядит закономерно и даже, порой, неотвратимо. Взаимодействие элементов, причинно-следственные связи, сказал "А", — скажи "Б"...

"А" я еще кое-как произнес, этому помогли обстоятельства, но "Б" из него вовсе не вытекало, произнесение этого "Б" нужно было еще организовывать, подготавливать для него условия, окружать и обставлять, и затем заниматься его производством, создавать этот новый звук, это событие, это действие, этот поступок... Ни на что подобное я не был способен. Я не был человеком действия — это же так очевидно!

Я мог бы, если бы захотел, поймать себя на том, что и тогда, уезжая из лагеря, радовался не только приближению, как конечному результату, но и непосредственно самому удалению от нее: это удаление избавляло меня от необходимости

действовать. И не Бог знает что разумею я здесь под словом "действие", а любую инициативу, любое проявление, любой не обязательный, не вынужденный поступок.

Да и весь этот романтический жар стал заметно остывать к концу месяца — возможно, что панический страх перед действием этому как раз и способствовал — но так или иначе, я не пошел к ней в первый день после ее приезда, не пошел во второй, не пошел в третий — все отодвигал по разным причинам, а затем уже как-то привык не ходить, появилось такое нормальное состояние, а потом уже и неудобно стало — по простовитии столького времени, нелепо и чего вдруг...

И только потом-потом, через годы, когда мы с ней все-таки встретились, убедился я лишний раз в мудрости Высших сил, никогда не шедших на поводу у бредовых моих желаний, но всему в моей жизни находивших должное место и время...

3

Яков вернулся, и все пошло по-прежнему. Дня три у нас был праздник, приезжали друзья и родственники, поздравляли, слушали рассказы, пили и ели. "Ну, Ройтман, — говорил Абрам Петрович, — так вам и надо. Теперь вы будете ценить, как готовит ваша жена!.." — И он выразительно смотрел на маму. — "Абраша, — ловила его взгляд Мария Иосифовна, — тебе бы это все равно не помогло, тут бессильны любые тюрьмы". — "Ну, ну, дружок не преувеличивай, я-то тебе цену знаю..." — и он демонстративно целовал ей руку. — "И все-таки, — продолжала она, — мне кажется, ты завидуешь Ройтману..."

— Не дай Бог! — вставлял Яков, ничего не понимая. — Не дай Бог! Врагу не пожелаю!

Они переглядывались и начинали смеяться, он подхватывал, мама тоже вступала, чтобы не портить компании — и так они смеялись все четверо — каждый о своем.

Но рассказы его о тюрьме производили сильное впечатление. Я убежден, что и сейчас нам только кажется, что "всем все известно", на самом же деле — далеко не все и далеко не

всем, просто каждый возвращается в замкнутом пространстве и плохо представляет себе, что делается в соседнем слое. Но тогда, более двадцати лет назад, круг осведомленных /считая осведомителей/ был уже еще во много раз, и мы-то уж в него никак не попадали. И те картины, что рисовал он перед нами гнусавым своим и хромающим русско-еврейским голосом, казались чистой фантастикой. Но он никогда не врал — это было всем известно, то ли воображения у него не хватало, то ли правдивость и действительно входила в его понятие о кодексе чести, — всему, что он говорил, можно было верить на сто процентов. Все испытания — стоячие боксы, и парилку в тулупе, и стоваттную лампу в глаза, и соседей-уголовников, и битье, и угрозы — все он выдержал стойко, ни в чем не сознался, это было также хорошо известно, иначе бы и не удалось его вызволить. Но самая удивительная новость, которую он сообщил, касалась не его самого и не условий содержания в тюрьмах, а совсем, совсем иного.

"Я вам скажу одну вещь я вам скажу, — почти прошептал он, оглянувшись на дверь, — в тюрьме об этом все говорят, но вы не поверите. Этих врачей, которых посадили в январе /"Да-да-да! — уже заводился мой дядя. — Не может быть!"/, этих врачей, что посадили в январе, — так они невиновны!"

Я хорошо запомнил, как начинался этот страшный день. Дядя Леша Попов, Царствие ему Небесное, больной был человек, через месяц умер от лейкемии, — постучался к нам в дверь, чего раньше никогда не делал, и, не дождавшись ответа, вошел в комнату, что, тем более, было совершенно необычно. Его серые полосатые холщовые штаны были заправлены в сапоги, ремень с армейской звездой сполз под набухший, нездоровый живот, в руках он держал полуразвернутую газету.

— Читали? — спросил он без всякого предисловия. — Ваших-то разоблачили! /"Кого? Что?" — вскочила со стула мама./ Ишь они что сделать-то хотели, ваши-то! — всех хотели убить. Хитрые, ничего не скажешь. Ну и наши — тоже не промах, раскусили. Ну, — продолжал он невозмутимо под маминим слезами наполненным взглядом, под ее гжучими, гото-

вами выпрыгнуть из орбит глазами, — кое-кого они, конечно, успели. Ну, это им, конечно, зачтется. Хотя, тех-то, конечно, не вернешь. Ну, зато уж этим покажут. Теперь-то вам все, теперь вам крышка, это уже ясное дело. Так оно всегда и выходит, сколько волка ни корми...

— Леша, скажи, что случилось, — тихо выдавила мама.

— Да ну? Не читала еще? Ну вот, все читали, а тут... Сапожник, как говорится, — и без этого... На, почитай, потом вернешь...

Повернулся и вышел.

Сколько мы просидели над этой газетой? Сколько раз прочли от начала до конца, от середины — в обе стороны. Каждое слово — как лед за воротник.

— Господи! — стонала мама. — Что теперь с нами будет! И ведь все такие знаменитые, все обеспеченные, как сыр в масле катались. Господи, ну чего им не хватало? Из-за них, из-за таких, как они, только из-за них все наши несчастья!..

Я учился тогда во вторую смену, успел еще напереживаться дома, кое-как сделал уроки — и поплелся...

4

Но тут, я чувствую, начинается словно бы бег по кругу: я наступаю на собственные следы. Лагерь или школа — какая разница! Повтор же — далеко не всегда рефрен, это звание надо еще заработать. И я с сожалением должен признать, что не чувство объективной необходимости, но простое желание говорить заставляет меня возвращаться на эти круги. Я не только не вскрою причин — я даже не выявлю сути. Я, в лучшем случае, передам ощущение, но что же с ним дальше делать читателю? Кому он нужен, такой подарок, не всякий еще возьмет...

Мы живем, соответствуя обстоятельствам, применяясь к требованиям момента. Мы живем, как автобусные пассажиры: пробираемся тяжело и суетливо в спрессованном слое та-

ких же, как мы, и раздутый портфель, где в одном отделении книги и папки, а в другом — пакет гниловатой картошки, две пачки пельменей и батон за тринадцать копеек, немислимый этот портфель буксует сзади в чьих-то ногах, на ходу различая на грубую ощупь чулки и штанины. И пока мы движемся так вперед — а мы движемся точно вперед, один из немногих случаев, когда в этом есть полная ясность, — мы меняемся неузнаваемо, мгновенное бытие формирует наше сознание, и тот, кто стоял у входа — один человек, а тот, кто стоит у выхода — совершенно другой, хотя бы и с тем же портфелем...

— Какой ужас! — говорит мой приятель, чистейший и искреннейший человек. — Какой ужас! Я прекрасно тебя понимаю. Но поверь и мне, у нас в классе было трое таких, Левка Кушнер, Сенька Вайнштейн и еще тот, третий, забыл фамилию, и все относились к ним с большим уважением, хотя Сенька был таки порядочным подонком. Но никогда, ни разу ничего подобного...

— Нет, — говорю я ему, — я тебе не верю. Ты не врешь, но ты ошибаешься. Ты когда-нибудь спрашивал этих троих, одного из них, любого, ну не Сеньку Вайнштейна, другого, из оставшихся двух — спрашивал ты когда-нибудь, бывает ли с ним такое?

— Нет, — отвечает он, — мне и в голову не приходило. Да и как бы я вдруг спросил, я попал бы в дурацкое положение...

— Ну что ж, — говорю я ему, — считай, что тебе повезло. Ты вошел первым, сел у окошка, всю дорогу читал книгу и не слышал и не видел вокруг ничего, а вышел на конечной остановке...

— Какое окошко, какая остановка? — удивляется он.

— Да нет, это я так, о другом... Хочешь, я расскажу тебе, как было дело?

...Ты вошел первым, сел у окошка, на обычное свое место, раскрыл Киселева и стал повторять теорему. Звонок уже прозвенел, Дунька могла войти в любую минуту, и надо было успеть сложить в понятное предложение все эти отдельные прыгающие слова.

А справа от тебя и чуть позади, в среднем ряду, беззвучно плакал Левка Кушнер, положив голову на раскрытый портфель. У него пропал завтрак, два куска черного хлеба, посыпанных сахаром, — обрывок газеты с налипшими крошками и кристалликами сахарного песка валялся, подброшенный, у его ног, и два брата, Толька и Женька Беляевы, смачно и громко жевали, высовывая для наглядности языки с недожеванным хлебом. Левка плакал и отворачивался, его подталкивали и заставляли смотреть. Он был бледным, анемичным парнишкой, ел обычно очень мало, половину убогого своего завтрака отдавал первому же охотнику — тем больней ему было теперь его унижение. Учился он плохо, хотя и очень старался; у него были частые головные боли: в раннем детстве он перенес тяжелую болезнь ушей, ему долбили череп — страшные дыры и теперь темнели за ушами. И вот...

— Слушай, Сара, — говорит ему Толька /А ты в это время учишь Киселева/, — Сара, ты почему все черняшку носишь? Дома небось булочку с маслом кушаешь, а? А мне уже черняшку носишь, а? — Нехорошо, жадный ты, Сара.

— Все они жадные, — вставляет кто-то.

— Несу я в сумочке
Кусочек булочки —

запекает Женька.

Входит Дунька, все встают, хлопая крышками парт. Ты отрываешься от учебника.

— Кушнер, ты почему не встаешь? — спрашивает Дунька. — Что такое? Да у тебя портфель на парте? Ты что, в детский сад решил записаться? Так я тебе помогу. Господи! Да он еще мусору накидал вокруг, — голос ее идет крутым крещендо, — и все это к началу урока! Ты что же, издеваешься надо мной?

Общий хохот, братья Беляевы счастливы бесконечно, это им просто подарок, бесплатное приложение...

Левка ставит портфель на сиденье парты и медленно встает, свернув голову набок и скосив глаза на левое плечо. Сосед его справа, Славка Тушкевич, легонько подталкивает порт-

фель, и он падает на пол, шумно и щедро рассыпая свое содержимое.

— Так! — констатирует Дунька при общем восторге. — Урок сорван. Так! Хорошо! Спасибо, Кушнер, я тебе это припомню. Собирай манатки и выметайся. Завтра придешь с родителями...

Я не буду даже рассказывать, как долго и страшно, при общем гудящем молчании, капая слезами на трясущиеся руки, подбирает Левка бесчисленные свои вещицы. С тетрадами и книжками сравнительно еще легко, но все эти наконечники, ластики, перышки, бритвочки... О лезвие бритвы он, конечно же, обрезает палец, инстинктивно отдергивает, начинает сосать...

— Время тянешь?! — грозно спрашивает Дунька. При всей ее злости она еще и страшная дура, и действительно никогда не может понять, что происходит.

Ну, а ты, дорогой мой приятель, — ты-то понял, что происходит? Ничего ты не понял, и винить тебя за это нельзя. Ты увидел обычное школьное происшествие, бывали и пострашнее: и лютая ненависть, и драки с кровяной, и даже ножи... А это все так, шуточки... И, конечно, немного жалко растяпу Левку, но и вправду все очень смешно получилось, и ты смеешься вместе со всеми, тем более, что урок-то действительно идет, и сегодня, быть может, уже не спросят... И если сказать тебе насчет т о г о, то ты очень удивишься и скажешь, что нет, ничего подобного, это вовсе тут ни при чем. Вот тебе, например, лично — все равно, какая разница, значит и остальным точно так же. Ну, Женька с Толькой — противные парни, ты их сам терпеть не можешь, они-то, конечно, могли подпустить что-нибудь к слову, но это так, без особого смысла, не надо обращать внимания...

А Левка Кушнер стоит у окна в коридоре, смотрит во двор, где у пятого "А" идет урок физкультуры, где бегут по кругу чужие, злые, враждебные люди, у каждого камень за пазухой, и добро, что все они так далеко, а мимо него в кори-

доре проходят чужие, не такие, может быть, злые, но вполне равнодушные люди, им так не хочется подходить к Левке, но они подходят — вероятно, так полагается — и спрашивают особыми, для такого случая приготовленными голосами: "Что с тобой, Кушнер? Что случилось, Кушнер? За что тебя удалили, Кушнер?" — И в одном этом обращении уже таится возможность издевки /разве кто-нибудь из близких называет его по фамилии?/, потому что Кушнер — это, конечно, он, но, в то же время, и не только он, это и мама, и папа, и дед, и вся их родня, и дальше, и дальше, и шире, Кушнер — это уже принадлежность, это каста, это клеймо. И не то чтобы он не любил своей фамилии, но вот — "Кушнер, Кушнер", — говорят идущие мимо, и — "еврей, еврей!" — слышится Левке.

И одного хочется Левке — не быть. Он еще не думает "умереть, уснуть", но — не быть: заболеть, убежать, провалиться, исчезнуть...

А завтра утром он будет стоять в вестибюле, красный и потный, а Ася Ильинишна, Левкина мама, пожилая портниха, в дурацком цветастом платье и огромных толстых очках, будет стоять с ним рядом, дожидаясь Дуньки, и ребята будут бегать вокруг и строить рожи. "Что происходит, Евдокия Юхьевна, — скажет она Дуньке, — что происходит, я плохо не могу понять! Вы пхавы, вы пхавы, надо вести хахашо, но пхи чем тут национальность пхи чем? Пхи чем тут евхэй пхи чем? Они же плохо издеваются, надо же пхинять мехы!.."

Она будет быстро и взволнованно проговаривать эту свою тираду, делая от волнения еще больше ошибок, чем обычно, а Левка будет стоять рядом, и жаркие языки стыда и обиды будут медленно подниматься вокруг несчастного его тела, будут лизать его грудь и подсвечивать красные и без того щеки.

"А это вы ошибаетесь, Ася Ильинишна, — твердо скажет Дунька. — Это просто он придумал, чтобы как-нибудь оправдаться. Вы меня извините, конечно, но он у вас хитрый мальчик. Он стал хуже себя вести и придумал себе оправдание. Так ведь, Лева, скажи честно? — обратится она к Левке, и не-

ожиданное это обращение по имени резанет его своей фальшивостью. — Видите, он молчит, — скажет Дунька, — понимает, что виноват. Все это он придумал, ничего у нас такого нет. У нас советская школа /тут, она, конечно, повисит голос/, в ней учатся советские дети, и ничего подобного у нас не может произойти!.."

И черт ее знает, эту Дуньку, может, она и вправду верит в то, что говорит.

А потом, когда Левка — со сгоревшим нутром, пустой, одна оболочка — поднимется вверх, то у двери класса будет ждать его Славка Тушкевич, добрый его сосед, и — "Что, сука, пожаловался?" — скажет он ему ласково. И ткнет ему пальцами в глаза, и хлопнет жирной потной рукой по щеке — несерьезно, для острастки. — "Ну, ладно, жиденок, — добавит он совсем уже по-отечески, — ладно, выйдешь сегодня из школы..."

Ты помнишь, в класс они вошли тогда мирно и тихо, ты ничего не заметил... Славка Тушкевич широко улыбался — дурак, но веселый парень, — а Левка Кушнер шел понурый и сгорбленный — вполне понятно, его же песочили перед матерью. Кому это может понравиться?

А Левка сядет за парту, направит глаза на доску и пять часов просидит, не вставая, ничего не видя и не слыша. Хитрый Славка не скажет ему больше ни слова, даже не взглянет в его сторону. И достаточно, и не надо. Те слова его "выйдешь из школы" будут пять часов повторяться в измученном левкиным мозгу, конец занятий, как конец жизни, будет неотвратимо на него надвигаться, и невиданные еще унижения, и великие казни и пытки будут мерещиться ему в безобидных этих словах. И не встрепенется он и не покроется привычной испариной даже в тот роковой момент, когда на уроке истории завуч Иван Федорович обведет указкой кусочек карты, закрашенный фиолетовым, и скажет: "А здесь помещалось еврейское государство..." Все легонько так улюлюкнут, и чуть-чуть усмехнутся, и слегка что-то скажут, и посмотрят

мельком в его сторону /или в сторону Сеньки Вайнштейна, или... кому куда ближе/, но он и этого почти не услышит, и того почти не увидит — одно он будет помнить, видеть и слышать: "Выйдешь из школы, выйдешь из школы, выйдешь из школы!.."

И когда потом на школьном дворе все уже разбегутся, устроив ему "темную", и он поднимется с земли, отряхиваясь и вытирая слезы, — он будет почти счастлив оттого, что все позади, он будет тогда почти уже равным со всеми, почти взрослым, почти свободным...

Но ты ничего такого не знал, и кто обвинит тебя в этом? И я верю тебе, говорю безо всякой иронии, я верю, что ты не знал, но не верю, что этого не было. Потому что это было.

Портфель, всегда портфель — все имущество и все достоинство...

Помню, как после одного из таких развлечений Александра Георгиевна, учительница литературы, чуткая и умная старуха, прекрасно все понимавшая, стукнула кулачком по столу и крикнула: "Подлецы! Вы все подлецы! Вы ведете себя как фашисты!" — слезы стояли у нее на глазах. Все расхохотались и загудели, это было приятно и весело: что-то на грани серьезного, а между тем никому ничего не грозило. Тогда она взяла меня за рукав и повела к Ивану Федоровичу. "Вот этот мальчик — еврей, — сказала она ему. — Над ним издеваются". — "Кто?" — спросил Иван Федорович, распустив слюнявую бульдожью губу. — "Все, — сказала Александра Георгиевна, — весь класс". — "Кто зачинщик? — спросил Иван Федорович. — Не могу же я наказать весь класс. Кто тебя обижает?" — обратился он ко мне скрипуче и жестко. Я молчал. Нехватало мне еще налягавить. — Ну вот, видите, он и сам не знает. Пусть идет в класс и сидит, как ни в чем не бывало. А вы последите, кто там заводит." — "Иди домой, Сашенька, — сказала мне Александра Георгиевна в коридоре. Учишься ты хорошо, не беда, если и пропустишь денек. Иди домой, отдохни, успокойся. Я сейчас вынесу тебе портфель".

Но портфеля моего не оказалось на месте. Полчаса, оставшегося от урока, она пыталась его найти — он как сквозь землю провалился. В классе его не было и никто не знал, где он есть...

Я стоял у двери и слышал, как кипит и бурлит класс, как взрывается он справедливым негодованием, как оскорбленная честность невинных мальчиков выплескивается наружу, прямо в лицо несчастной Александре Георгиевне.

— Да может, он сам спрятал, а на нас говорит! — глухо гудел Тушкевич. — Что вы, не знаете этих, они все такие хитрые: сами сделают, а на русских...

— Не смей! — орала Александра Георгиевна. — Не смей! — и стучала кулачком. — Ты недостойн произносить это слово. Ты не русский — ты фашист. Русские люди добрые, а ты фашист!

И слезами — это я отчетливо слышал — слезами было смочено каждое ее слово...

Я с трудом доплелся домой и целую неделю пролежал тогда с ноющей болью в спине и ногах. Каждый раз с тех пор, после всякого нервного потрясения, после незначительной даже встряски — после экзамена, например, — возвращается ко мне эта боль, и приходит с нею неясное чувство тоски — что-то возле отчаяния, где-то рядом с тупой безысходностью. Но теперь-то я третий калач, у меня есть принципы, у меня есть концепция, и едва пошатнувшись, я прислоняюсь к ним, как к перилам, кладу локти, опираюсь спиной... Тогда мне было труднее.

Вот мы ушли, казалось бы, в сторону, но зато теперь мне не надо рассказывать, что в тот день происходило в школе — и без этого все уже ясно. Только важно здесь то, что были мы старше, и поэтому день этот — день позора — был проведен умнее и тоньше, на несравненно более высоком уровне. Тут были и цитаты, и исторические примеры, и "Гитлер, конечно, подонок, но кое в чем, возможно..." Уроками

никто не интересовался, собирались толпой, кто-то слушал молча, кто-то поддакивал, кто-то добавлял другие слова, более простые и всем понятные — уже без цитат и примеров...

Атмосфера была праздничная. "Аутодафе", — шепнул я Ромке, когда мы проходили друг мимо друга, не задерживаясь, как бы случайно, чтобы никто не видел нас вместе. — Аутодафе...

И вот оказалось...

— Слушайте меня, слушайте, — говорил Яков громким шепотом, — я вам скажу, что эти х о з е р ы м* теперь не успокоятся, пока не уничтожат всех и д н **. Посадят, выселят, — я знаю? — но в Москве никого не останется в Москве. К е й н и д н в Москве не останется — ни одного!

— Как пить дать! — вторил ему мой дядя. — Конченые мы люди! Из Давыдова уже выселяют. Говорят, в Биробиджане строят бараки...

— О! Бараки! — поднимал палец Яков, — что я вам говорил?

— Так нам, жидам, и надо! — вдруг сказал Абрам Петрович. — Так нам и надо!

— Почему вы так говорите почему? — встрепенулся Яков с кривой улыбкой, ожидая очередной хохмы. Но Абрам Петрович был абсолютно серьезен.

— Эти врачи — возможно, они и не виноваты. Хотя тоже еще надо проверить.

— Там проверят, — ответил ему Яков. — Можете не беспокоиться, там хорошо проверяют, лучше не надо...

— ...Может быть, врачи и не виноваты. Но сколько было действительно виноватых? Сколько было среди и д н контрреволюционеров? Возьмите Троцкого. А Зиновьев? А Якир? Нет, так нам, жидам, и надо, всегда мы лезем в чужие дела! — и он с вызовом посмотрел на Якова.

Но Яков молчал, обдувал губу и водил, и водил ладонью по скатерти — катал и катал свои хлебные крошки...

*Свиньи.

** Евреев.

Яков вернулся в конце февраля, а еще через несколько дней появились в газетах тревожные бюллетени. Помню, я долго не мог привыкнуть к такому значению этого слова и все представлял себе голубой хрустящий листок бумаги, который, посоветовавшись, заполняют тушью /всем — чернилами, а ему — тушью/ взволнованные врачи: бюллетень — разрешение Сталину не ходить на работу...

...В долгие, тяжкие годы царизма

Жил наш народ в кабале-э-э!

— Прекрасная песня! — говорит Марина.

— Да, хорошая...

Я зашел после школы, давно уже мы с ней не виделись, но сегодня мне вдруг захотелось общения, надо было разрядить возбуждение этого празднично-траурного дня, я должен был с кем-то поговорить — не с мамой, но и не с Ромкой.

Стол, кровать, диван, этажерка — все здесь такое же, как у нас. Только стол — квадратный, диван клеенчатый, на этажерке — английские книги. Новость — она собралась в инъяз и теперь тренирует "органы речи", так что даже по-русски говорит с придыханием и убеждающей интонацией.

— Прекрасная песня! — говорит Марина, усиленно тренируя органы речи. — Как она теперь оказалась кстати, какую теплоту дает и уверенность!

Она встает с дивана, подходит к динамику и до предела увеличивает громкость. Теперь ей приходится перекрикивать динамик.

— Такого с нами никогда еще не было!

— Да, — киваю я, — никогда...

— Мы все должны быть родными друг другу!

— Да, — киваю я, — да, родными...

— Теперь все вместе должны заменить его одного! Ты согласен со мной?!

Я был согласен...

Нет, это все-таки удивительно, в каких разобщенных, каких изолированных слоях мы живем!

Вот они, сороковые — пятидесятые. "Сороковые, роковые, та-ра-та-та, та-ра-та-та..." Но где же ежедневный политический гнет, где постоянный страх потерять последнее, где умный скептик, в тайных беседах объясняющий неразумному юнцу страшную несправедливость происходящего? Где мечты о свободе, о смерти тирана?..

Вот уж чего не помню, того не помню. И как не было у меня ни одного знакомого с телефоном и ванной, так и не знал я никого с политической статьей, а тем более — скептика, объясняющего несправедливость. Врачи — и вернувшийся Яков, вот первый конфликт подобного рода, первый огонек в моем сознании. Но и он ничего вокруг не зажег, а так — горел сам по себе.

Тот ограниченный слой, в котором я находился, видимо, не подлежал или подлежал в значительно меньшей степени, чем остальные. Здесь тоже сажали — но за взятку, за халатность, за хищение социалистической собственности. Можно подумать, что я жил в притоне. Нет, среди мирных и по-своему честных людей.

Мечты о свободе, о смерти тирана... Прямо стихи какие-то получаются. Переводные. С венгерского, например, по подстрочнику...

Нет, какие уж там мечты! Он умер сам, от особой болезни, от "чейн-стоксова дыхания" — никогда больше не слышал, ни до, ни после, ни про какого другого больного. И действительно, не мог же он дышать, как все люди. Вот и проявилось у него в последний момент это дьявольское дыхание, учащенное, с клубами огня и дыма. И ведь что за название! Такой сильный русский суффикс, что начисто забивает английскую основу. Чейн-стоксово: чертово, скотово, псово...

Глава третья

1

А все-таки, если взять себя крепко за грудки и допросить с пристрастием, то и обнаружится все, что должно было обнаружиться. И вечный страх — хотя бы перед школой, хотя бы перед лагерем, хотя бы перед пионерским. И если угодно, мечты о свободе — ну хоть тайное чтение "Золотого тельца", и стихи Есенина в списках, и песни Лещенко на рентгеновских пленках. И мудрый скептик — тоже обнаружится, но для этого мало взять себя за грудки — надо еще хорошенько набить себе морду. Потому что — чем только не забивал я голову в лучшие свои годы, в то время, как рядом со мной жил этот замечательный человек, и стоило лишь задать вопрос — он включался как магнитофон и всегда был к моим услугам, надо было только сидеть и слушать, и глотать, и впитывать, и запоминать... Но все это казалось мне старческим бредом, лишённым смысла, и я старался не задавать никаких вопросов.

Это был... Да, конечно, это был мой дед, отец погибшего моего отца, и потому я не упоминал о нем раньше, что все же он не был магнитофоном, а всего лишь живым человеком — пока был живым. Все его пленки умерли вместе с ним, я же, по глупости и самомнению, так мало переписал в свою память, что вряд ли имеет смысл воспроизводить.

Но вправду ли, так ли уж был он мудр? Господи, какая разница! Это был единственный мудрец в моей жизни, другого мне не положено, и значит никто не может занять его место, никто, кроме него самого. Ни в жизни, ни в этой книге.

И сейчас я попробую — чувствую, что обязан это сделать, — собрать по крохам то небольшое, что смогло удержаться в моей памяти вопреки брезгливому, сопротивлявшемуся моему сознанию.

Дед приехал с Украины, из-под Винницы, и поселился в нашем особняке, в маленькой восьми метровой комнатухе, бывшей моей детской. Он приехал — а мы уехали, как раз комната для него и освободилась.

Впрочем, конечно же, в Москву он прибыл не с Украины прямо, а из Средней Азии, куда привезли его в сорок первом больного, почти без памяти; где-то в Житомире навсегда осталась его жена, моя бабушка, поехала к родственникам в гости, да так и застряла до прихода немцев. Как она погибла, никто не знал, но деду мерещилось, что ее закопали в землю живьем, и когда он бредил — а он часто бредил, при любой болезни: простудился ли, желудок ли прихватило — он всегда плакал и кричал: "Руки! Руки ее шевелятся! Что же вы смотрите? Руки — вот, вот они! Вот где надо копать, разве вы не видите?!" Это он кричал по-русски, или на том языке, который считал русским, обращаясь, по-видимому, к каким-то окружающим посторонним людям. Затем он замолкал на несколько минут, после чего снова начинал всхлипывать, но теперь уже разговор шел по-еврейски. Теперь дед разговаривал с Богом, жалобно и просто до фамильярности, причем, судя по всему, он слышал Бога не хуже, чем мы — его самого. "Н е й н, — повторял он по несколько раз, — н е й н, Г о т ы н ю!..*" Затем следовала некоторая пауза, в течение которой Бог, по-видимому, уговаривал деда. "Н е й н, Г о т ы н ю, — ворчал дед, внимательно и терпеливо выслушав Бога, — н е й н, Г о т ы н ю..."

Через несколько лет мы узнали от случайных знакомых, что бабушку действительно закопали живьем, вместе с большой группой стариков и старух. Все старательно скрывали от деда это известие — глупо, он ведь и так все знал...

Не знаю, был ли дед праведником. Вряд ли. Может ли праведник ругаться и пить? Дед же — пил и ругался. Пил он — не так, чтобы пил, но в тумбочке у него постоянно имелась чет-

* Нет, Господи.

вертинка и он принимал ложку-другую каждый раз перед едой, утром, днем и вечером. Руки у него дрожали от слабости — было ему тогда под восемьдесят — он ставил на стол граненый стакан, накрывал его сверху столовой ложкой и в эту ложку, опирающуюся о края стакана, — осторожно лил из бутылки. Лишние капли не пропадали, падали в стакан. Он выпивал водку, как лекарство, не закусывая и не морщась, затем наливал вторую, выпивал, затем в эту же ложку наливал желудочный сок — им и запивал.

— Что ты смеешься? — говорил он мне строго. — Это очень полезно для аппетита. Можешь попробовать, тебе тоже полезно, ты такой худой...

Он наливал мне четверть стакана, добавив к тому, что вылилось из ложки. Стакан был грязным и мутным. Я, вообще-то, был непрочь, но не из этого бы стакана...

—Что ты смотришь? — кричал он на меня. — Что ты смотришь, так твою мать! Я его мыл, можешь не сомневаться! Ты думаешь, если дедушка старый, так он обязательно грязный, как свинья! Тебе противно пить после дедушки — так я его мыл, этот стакан, мыл теплой водой, чтоб ты знал! Можешь пить, это полезно для аппетита. Только маме говорить не надо, ты же знаешь, женщины не читают газет и они не разбираются в медицине...

— А как же врачи? — спрашивал я, закусывая рыхлым огурцом, который тоже у него — откуда бы? — находился.

— Врачи? — переспрашивал он. — Не говори глупостей. Что знают твои врачи? Кого они вылечили, твои врачи? Особенно эти девки? Я вызываю врача, и приходит девка с прической и маникюром, и не знает, что со мной делать. Потому что бюллетень мне не нужен, а аспирина и сам могу себе прописать. И нитроглицерин у меня уже лежит на столе. Что делать этой бедной девке с таким стариком, как я? Если бы я был молодой парубок, она бы могла соорудить мне глазки и что-нибудь еще, и вышло бы, что она хоть не зря приходила. А что ей делать со мной, когда она ничего не знает и хочет поскорее уйти? Мне ее жалко, я говорю "иди, мне ничего не надо, я уже здоров..."

Врачи! У нас в городе был врач, некто Красовский, видный мужчина, у него был такой выезд, что весь город завидовал — такие были у него лошади. И он лечил весь город от всех болезней, и если он ставил диагноз, так можно было не сомневаться и не звать другого врача, и если он выписывал лекарство, то нужно было принимать именно это лекарство и не думать ни про какое другое!..

Так пришла твоя советская власть, и сначала у него отобрали лошадей, на них стал ездить комиссар с наганом, тоже еврей, но бандит первой гильдии, а Красовский уже ходил пешком. Он был старый человек, не такой, как я сейчас, но тоже в годах, и сколько он мог пройти за день? И сколько больных умерло, пока он шел через весь город, это я уже не считаю, потому что это капля в море, если сравнивать с тем, сколько людей тогда убивали, как мух...

— Но ведь это же контрреволюционеров, — вставлял я раздражённо. — Это же всяких бандитов и врагов революции!

— Ну да, ну да, — соглашался он. — Бандитов, ты прав. Вы же всегда правы. И кто вам не лижет задницу, тот бандит и контрреволюционер...

— Дед, перестань!

— Да, да, я уже перестал. Когда вам говорят то, что есть, и вам нечего ответить старому человеку, хоть вы грамотные и читаете всякие книги, но когда вам нечего ответить, вы говорите: "Перестань". — Вставные челюсти клацкали и плясали у него во рту, он плевался и попадал себе на бороду, мне было противно и хотелось уйти, но все же я не был настолько нагл, чтобы прервать его на полуслове. — ...Вы говорите "перестань". Ты так говоришь, и хорошо, что у тебя нет нагана. А у советской власти есть наган, и сначала она говорит "перестань", а потом стреляет тебе в лоб. И, представь, это тоже хорошо. Потому что она может сначала выстрелить, а потом уже сказать "перестань"...

— Ну ладно, дед, хватит, ты уж лучше расскажи про этого врача.

— Так я и рассказываю про врача, но имей терпение вы-

слушать все по порядку. Сначала у него отобрали экипаж, и он стал ходить пешком...

— Это ты уже говорил.

— Да. Я вижу, ты очень торопишься. Ничего, твоя Катька тебя подождет. Или Валька...

— Дед!..

— Так сначала они отобрали экипаж, а потом отобрали дом. У Красовского была большая м е ш п у х а*, свои дети и какие-то сестры и племянники, и он всех кормил и поил, у него было золотое сердце. И всех переселили в две вот такие комнаты, а остальные восемь или десять комнат — я бывал у него, но сейчас уже не помню — заняли такие байстрюки, как ты. Они изгадили весь дом и всю усадьбу так, что противно стало проходить мимо, и они ходили с ружьями и сняли картины, которые у него висели в комнатах — я знаю, сколько они стоили? — и вынесли их на двор и стреляли в них для гимнастики, чтобы лучше потом убивать живых людей...

Я не верил ни одному его слову, я ерзал на стуле, мне хотелось уйти немедленно, и от этого постоянного нетерпения, от этой мысли: "уйти", гудящей в голове, мне становилось чуть ли не дурно. Но дед делал вид, что ничего не замечает. Он сидел за столом, вытянув перед собой длинные сухие жилистые руки, которые всегда казались мне грязными, хотя он мыл их довольно часто — так предписывали религиозные правила. Впрочем, это было омовение, а не мытье — на настоящее мытье у него уже не хватало сил. Я часто сливал ему над тазом и неизменно попрекал его тем, что к мытью он относится вполне формально. Конечно — что и говорить, — опрятен он не был. Во все времена года он ходил в темных затертых брюках и заплыванном пиджаке, под которыми были грязные, когда-то белые солдатские кальсоны со штрипками и такая же рубаха. Черную бесформенную кепку он не снимал даже на ночь, и только в праздники на ее месте появлялась ермолка, тогда становилось видно, что голова у него совершенно лысая, а лоб — высокий, бугристый и на удивление гладкий; все его

* Семья, род.

морщины, казалось, были оттянуты к впалым щекам и костлявым скулам, покрытым негустой рыжей бородой. Шея, впрочем, тоже была вся в морщинах и жилах, и огромный кадык туго натягивал кожу.

Никто в доме не относился к нему всерьез, никто не испытывал к нему особой привязанности. Ухаживали за ним эпизодически: вдруг приходило кому-то в голову, что надо выполнить какой-то долг, тогда у него подметали в комнате, или перемывали его посуду, или варили ему суп. Случалось это не часто. Обычно же он сам варил себе манную кашу и ел ее прямо из кастрюльки, так что капли каши белыми сосульками застревали у него в бороде и усах.

Для мясной и молочной пищи посуда полагалась отдельная, и однажды, когда я, в приливе редкого благородства, мыл его миски и тарелки, брезгливо беря их за краешек и осторожно, двумя пальцами, проводя по ним мокрой тряпкой, я спросил его, заранее смакуя щекотливость ситуации:

— А что, дед, если я помою все твои тарелки в одной воде, и ты будешь есть рыбу из тарелки, испачканной молоком — это ведь будет большой грех, правда?

— Так, — кивнул он, — большой грех.

— Ну, а если это грех, то Бог тебя за него накажет? И значит — какой же он справедливый?

— Ты дурак, — сказал он спокойно. — Ты уже вымахал большой, и тебе давно пора жениться, я не знаю, куда ты смотришь и куда смотрит твоя мама: был бы жив твой папа, он бы нашел тебе хорошую невесту, а я уже старый, я редко бываю в городе, и если с кем-нибудь разговариваю — так с такими же стариками, как я. Но, между прочим, у Флейшмана есть внучка — а ф а й н е, а ш е й н е*, и комната у нее отдельная...

— Ты же мне не ответил, дед, ты же про грех хотел сказать.

— Я хотел сказать, что тебе пора жениться, но ты еще плохо умеешь думать. Ты хочешь иметь дело с Богом, а думаешь, что это такой же слепой старик, как я, или такой же набитый

* Приятная, красивая.

дурак, как твой учитель чистописания... — Прости мне, Господи!..

— Какое чистописание? Нет у нас никакого чистописания. Ты просто не знаешь других предметов. У нас физика, математика, история...

— Э-э, брось! Все это — чистописание, чему еще они могут учить? Они уже все написали сами, и что тебе остается делать? Ты должен аккуратненько и чистенько переписать, и чтоб не было ошибочки, и чтоб не было помарочки, а если что не так, тебе поставят двойку.

— У меня, например, нет ни одной двойки...

— Ну вот, значит ты делаешь все, как надо. Но ты меня перебиваешь и не даешь мне сказать слово... Ты можешь обмануть меня, ты можешь обмануть учителя, но ты не можешь обмануть Бога. И если ты перемешаешь мои тарелки — грех падет на тебя, а не на меня — хотя, конечно, я молю Его, чтобы все твои грехи пали на мою голову... У м е й н! *

3

— ...Они стреляли в картины, — продолжал дед, торопясь высказаться и слегка придерживая меня за рукав, — такая у них была гимнастика.

Конечно, еврей не должен иметь нарисованных портретов, но Красовский держал свои картины в одних комнатах, а молился в других, и сам раввин не имел ничего против.

Ну, так. Но потом они стали обыскивать дом и нашли пару золотых колец — сколько там они стоили? — и торбочку царских червонцев. И тогда Красовского забрали в Чека, и тот самый комиссар, который ездил на его лошадях, расстрелял его из большого пистолета.

— Откуда ты знаешь, что тот самый комиссар, ты что, видел?

— О! Ты должен доказать, что твой дедушка — старый вун и ничего не понимает и ничего не помнит...

* Аминь.

И вот они убили Красовского, других врачей они тоже убили, а кто-то умер от голода, а кто-то уехал в Америку — и все, уи а не к! * А вместо этого они настроили поликлиник, и в каждой сделали сто комнат, и из одной комнаты посылают тебя в другую, и не знаешь, куда идти раньше, и лучше бы ты уже остался дома, потому что во всех комнатах сидят девки и пишут справки — и больше они ничего не умеют делать. У меня уже целый шкаф этих справок, если бы я мог продать их по рублю, я бы стал богатым человеком... И если я еще, благодарение Богу, живу, хотя мне давно уже пора умирать, — так это потому, что я их не слушаю, не принимаю их таблеток, а пью простоквашу и желудочный сок, и что-нибудь для аппетита — и все.

— Дед, — возражал я ему снисходительно, — ты забываешь, что теперь это все бесплатно, а твой Красовский небось три шкуры драл.

— Красовский не драл три шкуры, он брал пять рублей за визит, с бедняков дешевле. Это было не мало, но это стоило того. Он работал и он должен был получать хорошие деньги, а как же иначе? Но если твоя м е л и х а такая добрая и хочет, чтобы было бесплатно, — пожалуйста, кто же возражает, пусть бы они платили Красовскому то, что они платят девкам. Сто девок пошли бы домой и миловались с парнями и рожали детей, ну, одну, самую некрасивую, можно оставить, чтоб она выписывала справки, твоя м е л и х а так любит эти бумажки, что не может без них жить, одну девку бы оставили, а Красовскому платили столько, сколько получали не сто, нет, зачем так много?— десять девок. А сколько бы освободилось комнат? И все были бы довольны, и м е л и х е это было бы выгодно, и девки имели бы время миловаться и строить глазки, и Красовский лечил бы людей, а не лежал в яме за домом пьяницы Баскина, как какой-нибудь кусок падали... И лучше бы я отдал пять рублей уважаемому человеку и получил бы хороший совет и хорошее лекарство, чем за бесплатно — эту кучу бумажек, которыми я могу подтереть свою задницу...

* И конец.

— Де-е-душка, переста-а-а-нь, — тянул я.

Грубость деда меня шокировала, она отнимала у него остатки моего уважения и была для меня лучшим доказательством его неправоты, помимо всякой логики. Человек, употреблявший такие выражения, не мог быть прав. Не говоря уже о грамматике, о произношении, о языке, которым он изъяснялся...

Именно — не г о в о р я . Я с первого же момента и без всяких сомнений отказался от попытки передать особенности его речи. То, как говорил мой дед, не было искажением русского языка. Нет, какой уж тут русский язык! Он изъяснялся на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, украинских и еврейских слов с небольшой примесью польских оборотов — это давало ему возможность хвастать, будто он знает пять языков: "Русский, украинский, польский, — говорил он, загибая костлявые пальцы, — еврейский и древнееврейский! Ну?.. И адрес могу написать по-английски!" — эффектно добавлял после паузы.

Каждый из этих четырех или пяти языков вносил в его речь свои грамматические формы, свою систему слово- и фразообразования. И теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти не самую его речь, но хотя бы ощущение этой речи, мне приходит в голову, что в чудовищной этой каше чужеродных осколков, еще сверкающих зернами изломов и никак, казалось бы, не соединимых друг с другом, — существовала тем не менее определенная закономерность, несомненная естественность, я бы даже сказал — гармония, свойственная всем живым природным явлениям. Это было чудовищно, но это был язык.

И конечно, я не запомнил ничего дословно. Сочинить же этот язык, синтезировать его за столом — невозможно, как — будем надеяться — невозможно синтезировать никакое живое явление.

То, что мне удастся вспомнить: общий смысл, интонацию, кое-что из слов и словечек — я и пытаюсь здесь передать.

Но если бы даже я помнил все буквально и дословно /дословно — правильнее было бы сказать в этом случае/, или же

если бы в комнате моего нищего деда действительно стоял магнитофон и я имел бы сейчас в своем распоряжении все пленки с записями его разговоров и мог бы с помощью каких-то одному Богу ведомых значков изобразить все это на бумаге — даже такое чудо мало что изменило бы. Образованный читатель /какая старая, лестная, какая милая и приятная формула!/, не хуже моего деда знакомый с русским, украинским, польским — не забывайте загибать пальцы! — еврейским и древнееврейским языками и умеющий, сверх того, написать адрес по-английски /интересно, чей это будет адрес?../, образованный читатель, несмотря на всю свою образованность, не мог бы здесь понять ни единого предложения.

4

— ...Подтереть свою задницу! — восклицал дед, и этого было мне достаточно, чтобы считать глупостью все, что он говорил раньше.

Но я чувствовал все же необходимость как-то ему возразить и хватался за первое, что приходило в голову.

— Пять рублей? — переспрашивал я. — Но ведь это, наверное, рублей сто на наши деньги? Где бы ты столько взял, у тебя и теперешних пяти рублей не наберется?..

Не могу сказать, чтобы дед был беден — он был нищ. У него была комната, и одежда, и мебель, и посуда /"нищие — и те всегда имеют что-нибудь в избытке..."/, но ничего у него не было с в о е г о, купленного или сделанного для него лично, все было с чужого плеча и с чужого стола — пусть хоть с плеча и стола ближайших его родственников. Он носил заношенные штаны своих сыновей, он сидел за столом своей снохи, моей матери, на стуле другой снохи, моей тетки, ел из толстой пятнистой тарелки, которую сплавил ему его племянница, и спал на дырявом красном диване, который выбросили за ненадобностью новые соседи, въехавшие в прежнюю нашу большую комнату.

Он был нищ — и даже собирал милостыню, но весь курьез в том, что собирал он ее не для себя, а "для бедных". Сущест-

вовала при синагоге специальная касса для помощи бедным членам общины, и он был кассиром этой кассы.

На столе у деда стояла картонная коробка из-под печенья с прорезанной ножом узкой щелью в крышке. Это была копилка для пожертвований. "Шейнка недуде"* — говорил дед всякому входящему, и надо было бросить в щель монетку или, если ты такой добрый, просунуть сложенный вчетверо рубль. Эти деньги дед отвозил в синагогу, в общую кассу, и он же распределял их потом среди нуждающихся. Себя, как я уже говорил, он к таковым не причислял.

Видимо, он считался честным и уважаемым человеком /что может быть выше для еврея?/, потому что однажды, когда он сломал себе руку, поскользнувшись на льду у двери уборной, и долгое время не выходил из дому, — сам главный раввин оказал ему честь, навестив его, вместе с женой, и проведя с ним двадцать минут в неторопливой и достойной беседе.

Я имел честь быть свидетелем этого визита. Он произвел на меня впечатление.

В то время мы с мамой уже начали жить иной, обеспеченной жизнью, уже переехали в многолюдный дом Якова Ройтмана, уже перешли как бы в новое качество, в категорию богатых родственников.

И, хотя подлинное и притесненное мое положение никогда никем вслух не обсуждалось, более того — молчаливо предполагалось, что со мной-то все прекрасно и отлично, и что даже если и возникали какие-то трудности, то все равно, "ради мальчика это надо было сделать"; хотя все окружающие вели себя, исходя из этого именно тезиса, и начни я жаловаться, меня, скорее всего, просто не стали бы слушать, — несмотря на все это, отношение ко мне моих родичей не только не изменилось, но, мне кажется, стало еще заботливей и теплее. Слишком они любили меня, чтобы ничего не почувствовать и не заметить.

Но и я тоже — только здесь, в пенатах, в нашей старой развалюхе, с осыпающимися стенами, в захламленном простор-

* Пожертвуй милостыню.

ном дворе, с палисадничками и огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, сбитыми неверной рукой моего дяди, — только здесь я и чувствовал себя дома.

И много еще лет после переезда я возвращался сюда каждую субботу и чуть не со слезами /а иногда и со слезами/ уезжал в воскресенье вечером. Именно так: уезжал — туда, а сюда — возвращался.

— Ш е н! — говорил Яков. — Уже! Он уже собрал свои вещи, и его уже нет. /Никаких вещей я, естественно, не собирал. Просто он пытался придать вес и значительность акту моего отъезда./ Дома ему плоха дома. Здесь его бьют палкой, и не кормят и не поят. Ему надо тратить деньги на дорогу и везти гостинец, подарок везти — а как же? — он же не может без подарка! Он уже заработал кучу денег, он гнет спину с утра до вечера и ставит голова, и рискует жизнь, и у него куча денег, и он везет своему дяде подарок. А дядя — ему что, ему разве плоха? Пусть приезжает пусть. Пусть приезжает и пусть везет подарки, дядя только доволен...

Никаких подарков я тоже, конечно, не вез. В свертке, который давала мне мама, лежала какая-нибудь старая дядина же собственная рубаша, трикотажная, скользкая, с двойными коричневыми полосками. Эту рубашу я привозил маме в прошлый раз и теперь, залатанную, зашитую, с перелицованным воротом, увозил обратно.

Я приезжал каждую субботу и оставался ночевать, а в одно из воскресений к деду приехал раввин.

Зима в тот год была неровная, с оттепелями, такие зимы были еще редкостью, не то, что теперь, когда и морозов-то настоящих никто уже не помнит. Зима была с оттепелями, все дорожки вокруг дома обледенели — на этом гололеде и сломал дед свою руку. Я вышел из дому, крутя на пальце ключ от сарая: надо было набрать дров для дедовой печки, — и случайно взглянул в сторону калитки. Такого зрелища я еще не видел: мне навстречу с той стороны забора медленно двигалась огромная серебряная борода.

Размеры бороды были просто фантастическими, и они казались еще больше, благодаря волнам серого каракуля, такого же серебряного, но несколько более тусклого, окружавшим бороду со всех сторон и тяжело нависавшим над нею сверху. Носитель бороды имел черное, длинное — до пят — пальто, опирался на толстую черную блестящую трость и двигался вперед медленными вращательно-колебательными движениями, подобно балансу в часах или игрушечному заводному медведю. Он был важен, толст, велик и сиятелен.

Шагах в шести позади него в том же направлении, с той же скоростью и тем же колебательным способом двигалась маленькая толстая женщина с незапоминающим лицом: обыкновенная старая еврейка, каких миллион на тысячу.

Мигом я влетел обратно в дом и ворвался в комнату деда.

— З е й д е ! * — закричал я, почувствовав вдруг необходимость хоть что-нибудь сказать по-еврейски. — З е й д е , раввин!

—Раввин? Что раввин? — переспросил дед. — Что ты кричишь, как сумасшедший?

Он стоял посреди комнаты в одной рубаше — пиджак его валялся на диване — и подтягивал штаны, перепоясывая их пестрой, связанной из нескольких кусков, веревкой, которая служила ему вместо ремня. Штанов было две пары, одни поверх других, да еще кальсоны — все это топорщилось толстыми складками, лезло сверху одно из-под другого, и этот узел с самим собой внутри он тщетно пытался увязать одной левой рукой: правая была у него в гипсе.

— Раввин идет! — орал я. — Приехал к тебе, идет сюда!

— Ты врешь! — сказал дед, и веревка выскользнула из его руки и повисла на отвороте брючного пояса, зацепившись за него одним из толстенных своих узлов. — Ты врешь, это большой грех — так обманывать старого человека...

Но я ничего больше не добавил, он и так понял, что это правда. Тогда он сел на стул и заплакал.

* Дедушка.

— Г о т ы н ю!*— причитал он, заливаясь слезами. — Г о т ы н ю, что же мне делать? Вот ты послал мне такую радость и такую великую честь — сам ребе приехал ко мне домой — и вот я должен принимать его в этом сарае, в этой конюшне, в этом борделе — чтоб она сгорела, эта мелиха, что довела меня до такого позора!..

Я успел завязать на нем его веревку и нацепить ему на шею относительно белую манишку, которую он надевал по праздникам, — и тут в дверь постучали и вошел раввин, неся впереди себя лаковую свою трость. Так дед и встречал его — в одной манишке, в подвязанных веревкой штанах, одну руку, сломанную, тянул для приветствия, а другой, здоровой, пытался зацепить с дивана пиджак. Я помог ему надеть его, пока раввин расстегивал свое необъятное пальто. Вошла раввинша. Дед показал мне на дверь. Выходя, я еще обернулся, взглянул в его взволнованное заплаканное лицо и подмигнул: мол, не дрейфь, дед, все будет о'кей!

5

— ...Так как же ты заплатил бы за лечение, — спрашивал я деда, — у тебя же нет ни копейки?

— О! Посмотрите на этого делового человека! Он спрашивает, где бы я взял деньги, он думает, что я всегда был таким нищим, что я родился где-нибудь под забором, — так его научили в школе, и так он и думает, — что я родился под забором, а не в порядочной и уважаемой семье. Он думает, что я был всегда босой и голодный, и меня угнетали капиталисты,— так ды думаешь, а? А теперь советская власть дала мне эти хоромы, и эти наряды, и эту счастливую жизнь — чтоб твои комиссары имели такую же!

Так вот, чтоб ты знал раз и навсегда, что твой дедушка был состоятельным человеком, не богатым, нет, но хорошему врачу я мог хорошо заплатить и у меня бы еще кое-что оста-

* Господи.

лось. И эти деньги я зарабатывал вот этими руками и вот этой головой /он показывал, какими руками и какой головой/.

Я был экспедитором на сахарном заводе, и ко мне приезжали со всей губернии и из соседних тоже, все знали Зильбера и никто не сказал про меня плохого слова — ни русские, ни евреи, ни украинцы, ни поляки. И даже немцы — у нас были и немцы — тоже относились ко мне хорошо. Может быть, это были другие немцы?.. Не такие, что убили бабушку?.. И твоего папу?..

Он начинал трястись и всхлипывать, я не знал, что надо делать, и выжидал, глядя в пол. Он сам останавливался, подсыхал немного и продолжал:

— У меня тоже был дом, и были лошади — не такие, как у Красовского, но на них тоже можно было ездить, — и была мебель, и кое-что из золота, но твои дружки, гори они огнем, отняли все, что у меня было, и дали мне эти хоромы — спасибо твоей маме, у меня бы не было и этого — и дали мне бесплатную поликлинику, чтобы глупая девка бесплатно выпивала мне бумажки!..

Приезжая и уезжая, я должен был с ним целоваться, это был мучительный момент, и я заранее прилаживал лицо так, чтобы не попасть губами на его вялые влажные губы, с нависающими сверху грязными нестриженными усами...

Но, конечно, в повседневном его существовании были и забавные для меня моменты. Мне нравились все его молитвенные операции: как он надевал т в ы л н *, серьезно, подробно и внимательно играя в эти детские, как мне казалось, игрушки, прилаживая коробочки, накручивая ремешки; как он набрасывал на голову т а л е с** и сразу же становился женоподобным, плаксивым и жалостливым; и весь его молитвенный бормот, вся эта непонятная мне монотонная скороговорка с неожиданно крутыми подъемами и резкими срывами, все это состояло, казалось, из одного плача, из жалоб, просьб и выпрашиваний.

* Молитвенные коробочки с ремешками, надеваемые на лоб и левую руку.

** Молитвенное покрывало.

Но была уже в этом для меня и определенная музыкальность, звуковое взаимодействие частей, завершенность фраз и периодов. Это ощущение многократно усилилось, когда он попросил меня помочь ему накрутить ремешок на левую руку: из-за сломанной правой он не мог справляться один. Там был необходим строгий порядок витков, чередование широких и узких промежутков, например: два витка — пропуск, три витка — пропуск, как черные клавиши у рояля. Возможно, впрочем, что порядок здесь был совсем иной, тут важен принцип, важен ритм, неизбежно приводящий к мысли о музыке.

И действительно, все здесь если не игралось — то пелось.

Пелись молитвы, в которых и слов-то, казалось, не было, одна заунывная мелодия; пелась азбука, которой он уговаривал меня учиться, так похожая на сказочное заклинание /"олеф, бейз, гимел, долед, — четыре буквы в неделю — разве это много? — и через два месяца ты будешь читать, как я, а потом приедут иностранцы — не всегда же будет так, как теперь, — приедут иностранцы, и ты, даст Бог, тоже поедешь в другую страну и сможешь сказать и написать, что захочешь: по-русски там не знает никто, а на и д и ш е* и л у ш н - к о й д е ш е** — всегда кто-нибудь найдется..."/; пелись притчи и истории из Священного Писания, которые он кстати и некстати, целиком и по частям пытался втемашить в дурацкую, всеми силами сопротивлявшуюся мою башку. Если я и слушал иногда — то только для того, чтобы вылавливать несуразности, задавать каверзные вопросы. В общем случае религиозность деда служила мне еще одним подтверждением его умственной неполноценности. К человеку, верящему в чудеса, нельзя было относиться серьезно.

6

Мы редко говорили с ним о Боге: он не хотел лишний раз выслушивать кощунственные мои речи, я же знал, что, хоть кол на голове теши — ничего ему не докажешь.

* Еврейский язык /идиш/, называемый еще жаргоном.

** Иврит; буквально — язык молитвы.

Но однажды, совсем уже взрослым балбесом, я влетел к нему в комнату в праздничном и воинственном настроении. Появился решающий аргумент, которым я собирался если и не уничтожить, то надолго уязвить его веру...

— Спутник, дед! — заорал я ему с порога. — Как тебе это нравится? Искусственный спутник — в Космосе!..

Тут я сразу же, вместе с читателем, испытываю легкую тошноту от банальности ситуации. Что-то такое, многократно виденное и слышанное, какие-то статейки в "Комсомольской правде", журнал "Наука и религия", институтская стенгазета, рубрика "Молодой атеист"...

— Здравствуй, — сказал он, вставая со стула. — Мы не виделись целый месяц, но ты не хочешь даже сказать мне "здрас-те".

Он уже с трудом передвигался, жить ему оставалось совсем немного.

— Здравствуй, — сказал я ему и притронулся рукой к его скрюченной, навсегда после перелома неподвижной ладони, и ткнулся подбородком во влажные его усы. — Ну что ты скажешь? Спутник запустили в Космос, на небо, и где же там твой Бог?..

— Ну, ну, — сказал дед, как обычно, делая вид, что не слышал. — Не спеши, не спеши, сядь, посиди, расскажи, как мама?

— Что мама?! Мама ничего, нормально...

— Нормально? А голова у нее болит? Болит. Это от желудка! Она не следит за своим желудком. Да, да, можешь смеяться, все болезни идут от желудка. Скоро это откроют твои ученые, меня уже не будет на свете, ты прочтешь и скажешь: О! Старый дедушка был-таки прав! Надо было мне его слушать. Если ты не следишь за желудком — у тебя болит не один живот, у тебя болит голова, и сердце, и геморрой, и для спины и для ног это тоже имеет значение. И настроение у тебя плохое, и ты злой, как собака, и говоришь плохо и делаешь плохо...

Наконец он сделал паузу, и я ворвался в нее, как бандит в приоткрывшуюся дверь.

— Дед, ты же любишь отвечать на вопросы. Вот и ответь мне на мой вопрос: где Бог?

— А что такое, — востропнулся он, — что случилось? Почему ты спрашиваешь? Бог там, где и был всегда, — на небе!

— Так, на небе. А где небо?

— Небо? Там /он показал всей рукой, ему трудно было шевелить пальцами/.

— Так хорошо. А что такое небо?

— Не говори глупостей. Небо — это небо. Ну, конечно, ты читал много всяких книг, и ты мне расскажешь, что это такое. Ну, что ты об этом думаешь?

— Да что же тут думать? Небо — это атмосфера, воздух, небо — это Космос, пустота, это, в общем, просто направление вверх, от центра Земли...

— Угу. Это ты в книжках прочел?

— В книжках, в книжках. Какая тебе разница? Да это в школе проходят, каждому дураку известно...

— Что ты говоришь! В советской школе?

— Нет, в немецкой... Не строй из себя дурачка.

— Я не строю дурачка. Я просто удивляюсь, что в советской школе тоже иногда говорят правильные и умные вещи. Я только усмехнулся.

— Ты же знаешь, дед, ты уже слышал: запустили искусственный спутник. Ученые давно уже рассчитали законы движения планет, и вот спутник вращается вокруг Земли, движется по тем же законам, его так и запускали, такую давали скорость, чтобы эти законы выполнить, и значит, они верны, раз он там летает.

— Ну-ну, ну-ну... Очень хорошо, пусть летает, разве я против? Только бы не было войны...

— При чем тут война? Я еще раз тебе объясняю: спутник движется по тем же законам, что и все планеты, а значит, для их движения и существования вовсе не нужен Бог — а только законы механики.

— А-а-а! — протянул дед. — Ты опять за свое. Ты молодец, много знаешь: планеты, законы... Я не спрашиваю тебя, кто создал эти планеты и Землю и все такое. Но скажи мне, кто установил законы? Кто, кроме Бога, мог их установить?

— Да никто их не устанавливал, они были всегда.

— Ты говоришь — никто, я говорю — Бог. Ты думаешь, что ты прав, я думаю, что я прав. И никакие твои ученые, даже самые умные — нас не рассудят.

— Ну, хорошо, Бог. Но почему же никто его не обнаружил? Ни в телескопы, ни в другие приборы... Сначала думали, что Бог сидит на высокой горе. Поднялись на все горы — нет его нигде. Стали летать на самолетах — ничего похожего. Поднимались все выше, почти уже за атмосферу — с Богом не встретились. Теперь вышли в Космос — уж куда выше — опять ничего не видно...

— Ну, ну, — покачал он головой. — Что мне делать, если ты всегда так торопишься? Ты так торопишься, что тебе некогда выучить л у ш н - к о й д е ш , и почитать священные книги. Хорошо, не надо л у ш н - к о й д е ш . Священное Писание есть и по-русски, я мог бы тебе достать... Но тебе некогда, ты хочешь, чтобы тебе сказали одно слово, и все стало ясно. Все не станет ясно от одного только слова. Хорошо, хорошо, не перебивай меня, я скажу тебе так, что ты будешь доволен.

Так вот, люди сидят внизу, на берегу моря, и не умеют подняться в гору — и Бог для них на горе. И это правда. Но проходят многие годы, может быть, сотни или тысячи лет, и люди поднимаются на гору, и Бога там нет, потому что он на небе. И это тоже правда. И проходят еще сотни лет, и люди придумывают самолет, и летят прямо на небо — и Бога там нет, потому что он много выше — как ты говоришь? — да, в Космосе /"Космес" — произносил дед/, но люди полетят в Космос, и там будет то же самое. Потому что — слушай, что я тебе скажу! — потому что Бог всегда над людьми, и как высоко ни поднимается человек — Бог на пятьсот лет пути будет выше!

— Ну-у-у... — протянул я разочарованно.

— А что же? Ты рассуждаешь, как советская власть: или то — или другое. А я говорю — и то, и другое. Всею на свете

хватает места: и Богу, и спутнику, и самолету. Всему есть место в Божьем мире: и твоей м е л и х е, чтоб она провалилась, и тебе, чтоб ты был здоров еще долгие годы, и мне, чтоб я умер без всяких мучений.

7

Он умер без всяких мучений. Дядя зашел к нему утром, окликнул. Он не откликнулся...

Шла пасхальная неделя, и съехавшиеся к вечеру родственники радовались наперебой, как удачно все получилось, какое вышло совпадение, не всякому так повезет. И хотя никто не мог объяснить мне, какие такие привилегии полагаются умершему в пасху, — в том, что это большая удача, также никто не сомневался.

Дед лежал на полу, накрытый белой простыней. Две свечи дымили и оплывали по обе стороны от того, что должно было быть его головой. Те несколько предметов, что составляли дедову мебель, были вынесены на террасу, венские стулья и обшарпанные табуретки рядком стояли вдоль голых стен, и каждый, кто входил и садился, тут же начинал вести свой собственный счет времени, терпеливо дожидаясь момента, когда удобно будет встать и выйти.

Несколько дней назад, а казалось, вчера /заманчиво было думать, что именно вчера/ — точно так же выносили мебель и расставляли стулья, и съезжались родственники, и дед был в центре внимания. Наступал первый с е й д е р*, день, когда вся м е ш п у х а собиралась вместе, и это был действительно большой праздник, праздник общего дела, день единения.

На месте общего дела помещался общий дед: каждый из нас чувствовал в этот день свое перед ним равноправие и равное со всеми право на него. Отсюда и возникало единение, радостное растворение во всеобщем взаимном расположении, чувство, не столь уж доступное в остальные дни года.

Всю небольшую комнату занимал тогда длинный стол, составленный из собственно стола, и еще тумбочки, и еще ку-

* Первый, главный день Пасхи.

хонного столика, и еще какого-нибудь ящика, поставленного на-попа и прислоненного сбоку — за него усаживали самых младших. Помещались все, сколько бы ни собиралось народу. Теснились, устраивались, кто как мог — но дед располагался с удобствами. Он возлежал на подушках у дальней, царской стены, и вся торцовая часть стола была предоставлена в его распоряжение.

Белая крахмальная пелерина покрывала его плечи и грудь, из рукавов праздничного коричневого пиджака высывались чистые полосатые манжеты, поблескивали стеклянные запонки. Пиджак, впрочем, был так же зашмальцован, как и всякая другая его одежда, но надевался он только по праздникам, а потому и выглядел празднично, несмотря ни на что. Черная ермолка обтекала голову деда, голова без привычного козырька казалась на удивление маленькой и голой.

Дед был похож на капризного ребенка. Сидел в своей пелерине, как в слюнявчике, за ним ухаживали, предлагали ему к у ш а н ь я, приносили, уносили...

И свечи — тоже горели. Два витых бронзовых подсвечника стояли по углам стола, две толстые свечи выпрастывали из них кривобокие жирные туловища, два язычка пламени, два пламенных дурачка, плясали и корчились в электрическом свете.

Эти подсвечники привез из Германии мой двоюродный брат, бравый штабной капитан. "Отнял у немцев", — говорили в доме, и мне мерещилась натужная рукопашная драка, такая, примерно, как в "Теркине": я видел, как вонючий неповоротливый немец размахивает тяжелыми подсвечниками — по одному в каждой руке, — пытаясь ударить моего бесстрашного брата. Не тут-то было!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Интродукция

Сочинение на аттестат мы писали в кабинете ботаники. Красочные портреты полезных и культурных растений заполняли всю заднюю стенку, бледные высохшие оригиналы торчали в плоских банках за стеклами длинных шкафов. Отцы и благодетели этих растений составляли святую троицу, украшавшую переднюю стену над самой доской. На доске были написаны темы сочинений. Образ Павла Власова... Патриотическая лирика Маяковского... Образы столичного и мелкопоместного... Ботаничка поставила мне годовую пятерку за домик Мичурина, который я по клеточкам срисовал из учебника на большой лист ватмана. Этот домик тоже был где-то здесь. Я покрутил головой — ага, вот он, на левой стене между окнами. Ботаничка жила с директором, все это знали, кроме, может быть, первоклассников. Директор на всех орал, но ее побаивался... Образ Павла Власова... Три темы, три портрета. Павел Власов — это был Василий Робертович Вильямс, кривой его рот мог свидетельствовать, например, о пытках в царском застенке. С патриотической лирикой получалось хуже, сусличья голова Лысенко не очень в нее влезала. Но, на худой конец, могло и сойти. Зато прекрасным олицетворением мелкопоместного дворянства служил портрет Мичурина, с его мирной хозяйственной бородкой. Правда, столичное оставалось за кадром, но уж это не велика беда. Решено — я пишу "дворянство"...

"Войну и мир" я, разумеется, не читал. В далеком детстве я прочел несколько назидательных сказочек — "медведь сказал мне: плох тот товарищ..." — этого оказалось достаточно, чтобы за версту обходить любую книгу Толстого. "Зеркало революции" и "идеолог крестьянства" довершили начатое. Ясно было, что это не для чтения.

Те мелкие дозы литературы, что впрыскивала в меня хрестоматия, были тоже рассчитаны безошибочно, вызывали стой-

кий, многолетний иммунитет. Все писатели разделились на великих — и хороших. Великих проходили, хороших — читали. Совпадений быть не могло, кроме одного: Тургенев. Однако, и тут его не было, совпадения. Тот Тургенев, что написал "Записки охотника" и "Отцы и дети", — был великим, а тот, что "Рудин" и "Вешние воды", — хорошим и даже прекрасным...

Впрочем, оставался еще "Герой нашего времени", странная книга, про которую мне мало что было понятно, но которую я читал взахлеб, не имея даже возможности вдуматься в смысл, но неотступно и замороженно следуя движению авторской речи...

Толстого же я не читал вовсе, но знал по учебнику все, что полагалось. "Образы мелкопоместного..." Интересно, подумал я, снимал ли когда-нибудь Мичурин свою шляпу или же ел в ней и спал, как мой дед?..

Литераторша, Маргарита Исаковна Крамер, ходила между рядами, останавливалась, опираясь на парту толстыми пальцами с красным маникюром, тяжело и сочувственно сопела над головой, "как дела?" — спрашивала многозначительно. Я с неприязнью смотрел на ее руку — она была лишней на моей парте. Все в порядке, Маргарита Исаковна! Я всегда был убежден, что и она, кроме школьной хрестоматии, ничего в своей жизни не читала, но в отличие от меня — действительно *н и ч е г о*, ни по программе, ни тем более вне программы. В русском языке она плавала, как последний двоешник, потому что вызубрила все правила, но не умела их применять. Чувство языка было чуждо ей в высшей степени. Помню, как она стояла у доски и, закрыв глаза, откинув голову, с нездоровым румянцем на щеках, выпаливала одиннадцать глаголов второго спряжения. "Вертеть, видеть, гнать, держать, дышать..." На толстых ее губах выступала пена, они усиленно артикулировали, обнажая кривые желтые зубы. Впрочем, была она доброй женщиной, никому не делала зла.

"Образы столичного и мелкопоместного..." Первая часть: Историческая обстановка в России в период... Третья часть:

Ленин о Толстом. Вторая часть: Образ Андрея Болконского. Образ старого князя. Образ Пьера Безу...

— Что ты наделал, Зильбер, что ты наделал?!

— Что случилось Маргарита Исаковна?

Я шел на экзамен по химии, она поймала меня на лестнице, схватила за руку, прижала в угол, задержала, зашептала...

— Зильбер, что ты написал в сочинении?!

— Что я написал в сочинении?

— Ты что, не помнишь сам, что написал?

— Вы шутите, Маргарита Исаковна. Там же шесть страниц, не могу же я пересказать вам каждую строчку. Вы лучше скажите, что случилось.

— Он еще спрашивает! Случилось то, что не видать тебе медали, как своих ушей! Ты написал — Боже мой, чем ты думал! — ты написал, что дворянский класс сыграл решающую роль в культурной жизни России!

— Ну и что, разве это не так?

— Зильбер, не строй дурачка, эти вопросы решаю не я. Тебе ничего уже не поможет. Не строй дурачка, Зильбер, надо было думать, когда писал. И ведь я ж к тебе подходила, спрашивала, все ли понятно! Где была твоя дурацкая голова!

— Кто же сыграл решающую роль, Маргарита Исаковна? Разве не этот... не дворянский?..

— Оставь, Зильбер, не надо говорить глупостей. Чему ты научился за десять лет? Во-первых, не класс, а отдельные выходцы, прогрессивно настроенные, порывавшие со своим классом. Во-вторых, — ты забыл разночинцев! Больше тройки не поставят — так мне и сказали в РОНО...

Ага, вот оно! Классы, выходцы, разночинцы... Я чувствовал, как весь покрываюсь испариной. Все, конец! Вряд ли я поступлю теперь в институт. В этом году для евреев прогноз был особенно мрачным.

Глава первая

1

Я увидел снова мою Тамару через несколько лет после окончания школы, в промозглый, холодный, ноябрьский вечер...

Я работал монтажником на странном предприятии. Это был цех при фабрике детских игрушек, и собирали в нем тензoeлектронные усилители — приборы для измерения механических деформаций. Организовал его Оскар Леонтьевич Кофман — предприимчивый и энергичный деляга, циник, бабник, умница и нахал. К игрушкам это имело лишь то отношение, что директор фабрики был мужем сестры Кофмана. Цех помещался за городом, в глухом подмосковном поселке, в ветхом жилом деревянном домике, купленном или снятом Оскаром Леонтьевичем чуть ли не за собственные свои деньги. В одной из комнат, самой большой, стояли рабочие верстаки; в другой, поменьше, гудели станки, два сверлильных и один токарный; в третьей, дальней, совсем уже крохотной, был как бы склад готовой продукции. Материалы хранились в отдельном сарае, с огромным ржавым замком на двери. В маленькой кухоньке сидел сам Кофман — это был его кабинет, контора и канцелярия.

Работало нас человек двенадцать, выпускали мы в день по два-три усилителя. Это были тяжелые, грубые ящики, покрашенные муаровой краской, с визгливыми чемоданными ручками, с кривыми надписями на лимбах, с разномастными, кое-как подобранными клеммами, с выпуклыми глазками оптических индикаторов, хрупких, выглядывавших опасно за края неровных отверстий. Пятнадцать — двадцать таких уродов грузили на телегу, зимой — на сани, и старая лошадь с большими ногами отвозила их на какую-то неведомую "базу"...

Я работал монтажником в этой шарашке, тыкал паяльником и пинцетом, почти не глядя, почти на ощупь, сорок три

сопротивления, семь конденсаторов — изо дня в день одно и то же, никаких изменений быть не могло. Иногда, на какой-нибудь час или два, мы менялись со слесарем Димкой Козыревым, он паял, а я сгибал шасси, сверлил отверстия, нарезал резьбу, ломая метчики и всласть матерясь. Делали мы это потихоньку от Кофмана — он стоял за узкую специализацию и не любил самоуправства...

Кофман был необыкновенно красив — основательной, надежной мужской красотой, и хотя ему не хватало роста, но зато хватало прочих достоинств, чтобы нравиться и женщинам и мужчинам. Широкие плечи, мощные ноги /правая была пробита осколком, но и хромота шла ему на пользу, прибавляла грубого обаяния/, прямой нос, крупные губы и ослепительные зубы, ровные и гладкие, как у Эдди Рознера. Голос у него был прекрасно поставлен, такой ритмичный, чуть поскрипывающий баритон, как размеренный шаг по утоптанному снегу.

Я часто задерживался после работы, благо торопиться мне было некуда, читал книжку или слушал радио, — здесь был хороший американский приемник; Кофман тоже часто оставался, ждал на кухоньке своих баб, они к нему приходили прямо сюда. Иногда ему устраивала проверку жена, толстая, рыхлая, потная женщина, но никогда он не попадался, каким-то чутьем угадывая заранее каждый ее прыжок.

В ожидании гостей он предлагал мне выпить: "Примем, Сашенька, по пять капель?" — я соглашался без колебаний. Он вытаскивал из сейфа бутылку, разбавлял из-под крана в граненом стакане, и мы пили теплую, едкую смесь и закусывали кусочком черствого хлеба. Я давился, но терпел — за компанию и для будущего хорошего настроения. Настроение не замедлило наступить. Мы сидели друг против друга, как старые друзья, он рассказывал мне свою жизнь — довоенные прелести, военные тяготы, послевоенные хлопоты — голос его звучал уверенно и достойно, и я испытывал к нему нечто вроде нежности и, кажется, понимал эту женщину, которая решается идти полтора километра от станции по темной узкой снежной тропе...

Он рассказывал спокойно, не торопясь, но на часы все же поглядывал, и раздавался стук в окошко, я вскакивал, пожимал его крепкую руку, хватал пальто и выбегал прочь, смущенно проборматывая невнятное приветствие входящей навстречу — высокой, стройной, молодой и прекрасной, с румяными щеками и опущенными ресницами...

Завидовал я ему смертельно.

2

Это был плохой период в моей жизни. Все уплывало от меня прочь, и казалось, что стоит мне опереться о стену, как она тут же брезгливо отодвинется. Дома и семьи у меня по сути не было никогда, но только теперь я осознал это в полной мере, и только осознав, — по-настоящему почувствовал. Бедная моя мама тоже — что-то в себе повернула, переоценила какие-то ценности, стала ругаться из-за меня с Яковом — но теперь это было мне совершенно не нужно. Я ни в чем уже от него не зависел, приносил в дом и имел при себе, и все, что за годы во мне накопело, обернулось теперь равнодушным презрением и полной отчужденностью от всего домашнего. Я давно собирался снять комнату, но мама со слезами меня отговаривала и я, едва заведя разговор, тут же сдавался и отступал. Для нее это было бы ощутимым ударом: полное одиночество, да и родственникам как объяснишь.

С Ромкой я виделся очень редко, он учился в Плехановском — устроили родичи, — был самодоволен, как тайный советник, гладил себя по отравившему брюшку и грозился, что станет "большим человеком". "Не дрейфь, Сашок, — говорил он, хлопая /ну, конечно!/ меня по плечу. — Мы еще возьмем, мы еще свое покажем! Именно так, Сашок, именно так: возьмем и покажем! — И он громко хохотал, откидывая голову. — Мне цыганка у Белорусского нагадала: будешь, говорит, большим человеком. И вот увидишь — буду!" — "Да, да, — вяло отвечал я ему, — обязательно будешь. А ты случайно не спросил у цыганки, что для нее значит "большой чело-

век"? Может, директор столовой? Или начальник отделения милиции?"

Он отодвигался, лицо его принимало какое-то особое, смущенно-нахальное выражение.

— Ну, что ж, для нас и это неплохо. Это ты у нас не от м и р а сего, а мы, брат, по земле ходим. Пусть будет директор столовой — я не откажусь...

Говорить мне с ним было не о чем.

Пусто, пусто, пусто! — было у меня на душе, полная откатка, теоретический, безукоризненный вакуум. Где-то на дальнем экране еще оставалось неясное воспоминание о Тамаре, скорее угадывалось, нежели виднелось, — бледная тень, тусклая проекция. Ничего не было, и любви этой детской тоже не было, даже такой, детской — все равно не было, а была выдумка, бред, сон, игра воображения, пустые мечты-с.

Взгляд мой был надежно отвернут в сторону от прошлого, обращен в настоящее и будущее, то есть — никуда. Однажды я пробежал через рынок в булочную — на той стороне был хороший магазин, с ночи привозили свежие батоны — и своей жесткой клеенчатой сумкой задел старуху — большую черную ведьму с клюкой, неподвижно стоявшую на рыночной площади. "Чтоб тебе пусто было!" — прокаркала она мне вслед. Я обернулся, поднял ее упавшую клюку — это оказалась блестящая лакированная трость с инкрустациями — и попросил у старухи прощения. Она взяла трость и, даже не взглянув в мою сторону, а по-прежнему уставясь прямо перед собой, повторила отчетливо и громко, выделяя каждое слово: "Чтоб тебе-пусто-было!" Часто потом я с суеверным ужасом вспоминал этот случай и никак не мог избавиться от мысли, что старуха меня прокляла, что слова — не простая ругань, что они сбываются буквально и точно, потому что было мне и действительно — пусто...

К Марине я больше не ходил, но как-то вдруг она зашла сама. Яков был дома, стрельнул глазами в ее сторону, что-то промывчал в ответ на приветствие, отвернулся и вышел в другую комнату. Я торопливо вывел ее за дверь, мы прошли че-

рез весь наш огромный коридор, накаляваясь поочередно на острые взгляды соседей, постояли минут пять во дворе, и я даже не стал ее провожать.

Но она пришла еще и еще, и стала ходить почти регулярно, раз или два в неделю; входила, садилась уверенно и спокойно, как дома, разговаривала с мамой больше, чем со мной, и даже с Яковом находила общий язык: задавала ему идиотские вопросы, например, по международному положению, и с идиотским вниманием выслушивала его идиотские ответы. При этом она сидела буквально раскрыв рот: у нее был хронический гайморит, полипы в носу и еще какие-то столь же романтические болезни, на которые она часто жаловалась моей маме. "Я вам скажу, это трудный вопрос, тот, что вы говорите, трудный вопрос, я вам скажу", — начинал свой разбег Яков и раскатывал ладонью хлебные крошки, и обдувал нижнюю губу, и поднимал глаза вверх — а она широко раскрывала рот и заранее с пониманием и готовностью трясла головой, и негустая темноватая челка распадалась у нее на лбу...

Это теперь мне ее жаль, а тогда было только противно.

Между тем отношения у мамы с Яковом все более с каждым днем ухудшались. Он кричал за ужином, что теперь не те времена, что гешефты кончились, что дальше будет хуже, что надо откладывать, а не тратить последнее, а тем более из того, что на черный день... "Я не могу тащить вас всех на себе!" — и короткими пальцами, вымазанными в картошке и соусе, он брал с тарелки кусочек мяса, аккуратно нанизывал его на вилку, продвигал, поправлял — и уже с помощью вилки засовывал в рот...

И вот, впервые за много лет мама устроилась на работу — и это действительно его успокоило, для меня же имело те последствия, что когда я однажды пролежал две недели с каким-то нудным дурацким гриппом, — то Марина стала появляться и днем, сразу после занятий. Она садилась на стул рядом с моим диваном — и говорила, говорила, говорила... Серые волны тоски наплывали на мою постель, захлестывали и топили утлую мою лодчонку. Рассказывала она в основном институтские новости, но самое страшное во всей этой бели-

берде было полное исчезновение второго плана, отсутствие чего бы то ни было незначительного, неважного, второстепенного. Все произносилось с полной отдачей энергии, с одинаково четкой артикуляцией, все интонационные веса распределялись с дотошным ученическим педантизмом.

Она не стала привлекательней, но все же изменилась к лучшему с тех наших детских хождений. Пополнела, покрупнела, появилась в ней даже некоторая женственность, о чем раньше и речи быть не могло. Веснушки остались, но не так назойливо выделялись на слегка округлившемся лице, зимой же, как вот сейчас, и вовсе не раздражали. Все бы, может быть, ничего, если бы не вечно раскрытый рот — опять-таки в прямом и переносном смысле /доконает меня эта двусмысленность!/. Совсем не слушать я все же не мог, надо было кивать, поддакивать, улыбаться, хмуриться...

И честное слово, порой мне кажется, что когда я обнял ее однажды — схватил ее за руки и притянул к себе, то сделал я это, чтоб она замолчала, а не из какого-нибудь другого желания...

Она легко и естественно пошла на сближение, видно было, что давно уже ждет, сразу как будто вся разогрелась, и на следующий же день проявила удивившее меня бесстыдство, позволяя мне все, что угодно, кроме... кроме.

Когда она одевалась, аккуратно проверяя перед трельяжем положение пуговиц и крючков, огромного банта на груди и своей неизменной челки, а я лежал в постели, измочаленный и изжеванный, я спросил ее, так спокойно, как только мог: "Послушай, а в чем, собственно, дело?"

Она не стала переспрашивать, не сделала вида, что не поняла, а подошла ко мне вплотную, тяжело и медленно наклонилась, поцеловала в губы, выпрямилась и сказала, глядя мне прямо в глаза /уместно было бы заметить, что она похорошела в этот момент; но нет, она не похорошела/: "Дело в том, Сашенька, — сказала она, — что ты меня не любишь. Понял теперь, в чем дело?.."

Тогда-то, выздоровев, я и взял за обычное как можно позже приходить домой — чтобы не видеть Марину, а вовсе не Якова, хотя, конечно, и его физиономия по-прежнему не доставляла мне удовольствия.

3

Обстановка в нашей шарашке была вполне домашняя, никакого сигнала к началу или к окончанию, естественно, не подавалось, и может быть, поэтому никто не опаздывал намного и никто особенно не торопился уйти. В поселковом магазине мы покупали картошку, колбасу, консервы и даже мясо, пиво, вино, а иногда и водку — если дела у Кофмана шли хорошо и он мог нам позволить профилонить полдня. /Что это были за такие дела, никому, кроме него, не было известно, я-то уж, во всяком случае, понятия не имел / Водки покупали одну бутылку — для разгона, для разогрева, дальше пили спирт, который на правах подрядчика в ы с т а в л я л нам добрейший Оскар Леонтьевич. Я, впрочем, пил обыкновенно мало, всегда давясь и борясь с тошнотой, пьянел от пятидесяти граммов, но уже любил это состояние, любил чувство общности и теплоты, которое возникало каждый раз среди чужих друг другу людей.

Мы должны были работать с девяти до шести, в действительности же в девять только начинали стягиваться, к работе приступали добро если в десять, в пять поднимались главные сачки — Левка Коротков и Сергей Сергеевич, а к шести уже не оставалось никого — кроме меня и Оскара Леонтьевича. Но на чем-то все же держалась наша банда — может быть, как раз на этой легкости отношений. Приборы мы, как ни странно, выпускали, делали ровно столько, сколько надо /перевыполнений не требовалось — тут у Кофмана были свои соображения/, и приборы эти работали не хуже других. Других таких, впрочем, никто не изготовлял — в этом и была вся штука...

Ребятам я говорил, что готовлюсь в институт, это встречало с их стороны безусловное понимание. История с моим сочине-

нием была рассказана многократно, как раз на тех выпивках. И про мое неудачное поступление тоже все знали: как срезал меня этот лысый гад на теории электролитической диссоциации, которую в школе-то и не проходили толком. /Выговорить эту электролитическую диссоциацию после полустакана водки мне никогда не удавалось, и ребята смеялись, соглашаясь, что да, сразу видно: в школе не проходили./

Но я не готовился в институт. Я писал рассказы.

Я начал писать от нечего делать — так мне по крайней мере казалось — от избытка пустого, мертвого времени, столь пустого и мертвого, что и чтение не могло оживить его и заполнить: так становятся графоманами старики-инвалиды.

И как втягивается старик-инвалид и не может уже без постыдной этой работы, так и я — втянулся и привык, и вскоре уже не мог равнодушно смотреть на пустой лист бумаги. О этот сладкий разврат, это ложное чувство власти, имитация акта творения, — когда водишь перышком, водишь перышком, подлежащее — сказуемое, дополнение — определение, причастный — деепричастный, звеня и подпрыгивая, — и глядишь, уже целая стопка листиков, и все исписаны мелким почерком, и не письмо тетке: "Как вы живете? Мы живем хорошо", а совсем отдельные люди, чужие тебе и тетке, никогда не бывшие ранее, и все в третьем лице, в третьем лице...

"Уважаемый товарищ Зильбер!

Мы получили Ваш рассказ, но напечатать его, к сожалению, не можем. Рассказ слаб как по форме, так и по содержанию. Вы пока еще плохо владеете литературным языком. Но главный Ваш недостаток — это надуманность. Вы пишете о людях, которых не знаете, о событиях, свидетелем которых не были. Надо писать о том, что Вам близко и дорого, о том, что Вас непосредственно волнует: о своих друзьях и знакомых, о своей учебе или работе, о Ваших комсомольских делах и туристических походах — и тогда Ваши рассказы станут живыми и интересными...

...И еще одно замечание. Почему Ваши герои называются полными именами: Сергей, Николай, Валентина, Елена, вместо: Сережа, Коля, Валя и т. д.?.. Желаю Вам дальнейших успехов.

С приветом

литконсультант журнала..."

Уважаемый гражданин консультант! Вы неправы по содержанию. Невозможно писать о том, что близко и дорого, а лишь о том, что дорого — и далеко. В юности же все дорогое — близко, и нет еще ни времени, ни пространства, чтобы было куда его отодвинуть, или, может быть, отойти самому — и увидеть глазами художника. Потребность же эта в дистанции заложена в самом процессе писания, возникает она у всякого пишущего, независимо от таланта. Вот отсюда, от этой потребности, — и Сергей, Николай, Валентина... Согласитесь, что это все-таки дальше, чем Сережа, Коля, Валя. А дорого — так же /или так же — дешево/. Рассказ же — какой тут рассказ! Не стоило разговора. Разве что платят за каждый ответ отдельно.

С приветом, гражданин консультант, с приветом...

Я сидел за своим верстаком, дымил паяльником, отдавал и брал, отвечал и спрашивал — и вчерашняя сладкая дрожь сидела во мне, притаившись, и я ждал и не мог дожидаться нового вечера, как ждет любовник молодой или как старый алкоголик, трясясь, ожидает поправки. Не сама работа была мне в тягость, но время, которое на нее уходило.

Последним, если не считать Оскара, отправлялся домой Дмитрий Козырев. У него были дети, мальчик и девочка, и скандальная жена, и ехидная теща, и кошка, регулярно приносившая котят, — словом, он не особенно торопился. Наконец, собиравшись и он, вслух перебрал по памяти все сегодняшние семейные поручения и аккуратно обматюгав каждое в отдельности. Затем, минут через десять — пятнадцать, заглядывая Кофман, в шляпе и макинтоше, или в шляпе и ратиновом сером пальто, в зависимости от сезона, — зимней шапки он не носил никогда. "Член у меня уже мерзнет, — говорил он мне, улыбаясь, — а уши пока еще нет".

Он прощался, помахивал ручкой, желал удачи. "Учись, Сашенька, грызи, не сломай только зубы. Я вот тоже много раз подступался, но плюнул — зубов стало жалко".

"Так ведь то — какие зубы, Оскар Леонтич!"

"Ну ладно, ладно, будь здоров. Не забудь обесточить. И кран закрути покрепче..."

Легким тройным хлопком с отскоком хлопала наружная дверь; я вставал со стула и оглядывался, блаженно потягиваясь. Теперь это был мой дом, мое хозяйство, мои владения.

Все вокруг отныне меняло свой смысл и свое назначение. То, что минуту назад было главным: станки, инструменты, коробки с деталями, мотки провода и хлорвиниловой трубки, — теперь отступало на задний план, становилось таким же фоном, как рисунок на рваных обоях. Главным же был теперь чистый кусок верстака, с которого я широко и решительно сгребал все постороннее, то есть попросту — все. И еще — настольная лампа, не моя постоянная инвалидка, плохо державшая шею и то и дело клевавшая носом, а новенькая красавица Сергея Сергеевича, блестящая кокетка в широкой зеленой косынке — я брал ее у него со стола, тщательно запоминая положение провода, чтобы точно так же потом поставить на место. У него же я брал и ковшик, открывал кран, включал плитку, ставил воду для кофе... Все это я делал уже теплея, уже оттаивая, переходя уже постепенно в иную субстанцию.

Я наливал кофе в граненый стакан, мыл ковшик, тщательно вытирал, ставил на место, подходил к столу, садился. Не тетрадка, нет — пусть в тетрадках пишут школьники, — листы гладкой белой бумаги лежали передо мной, и я должен был с ними что-то такое сделать. "Простор листа, простор холста, мы не оставим без помарок..." Эти стихи появились позже, но я их тогда уже как будто знал.

Самое трудное состояло в переходе границы между ничем — и чем-то. Вот это абзац — еще ничто, слова, предложения, сообщения, синие буквы с белыми пропусками. Но вот следующий — совсем другое. Живое существо, отдельное от бумаги, характер, повадки, звук и цвет. Никаких букв. Лите-

ратура. Но что выходило — то и получалось, а что не получалось — того и не было. Смысл этой границы был абсолютно мне не понятен, местоположение ее окутано тайной, она была неуловима и нереальна, как Китайско-Парижская граница у Сэлинджера. И все же она существовала, и чем дальше, тем четче определялась — не сама граница, но принадлежность к той или иной ее стороне. Никогда я не знал заранее, куда попаду, в Париж или в Китай, но зато окончательное, случившееся положение ощущал все более однозначно. Постепенно и письма из редакций изменили свой тон, то есть попросту потеряли всякую интонацию. В них уже не было ни советов, ни замечаний, а только одна или две строки чисто информативного содержания. Дорогой... получили... к сожалению... в настоящее время... с уважением.

4

Те раз или два в неделю, когда у Кофмана назначались свидания, я, естественно, не мог заниматься своими делами, а заходил к нему сразу на кухню, принимал положенные пять капель и сидел, болтал, то есть слушал и поддакивал, до самого того рокового момента, когда раздавался условный стук. Нет сомнения, что этого стука я ждал с большим волнением, чем Оскар. Он не торопясь договаривал фразу, гасил сигарету, улыбался, вставал, отодвигал стул, насколько это было возможно, и спокойно ждал, пока я произведу свои многочисленные лихорадочные действия: дернусь, вскочу, открою, выбегу... Главной моей заботой при этом было еще не смотреть на диван — узкий и длинный, с деревянными гнутыми подлокотниками, обитый пятнистой рыжей материей, — диван, занимавший большую часть пространства, оттого там и было так тесно, на этой кухне...

Какая-то идиотская, унижительная роль выпала на мою долю. Зачем я дотягивал до этого момента? Не знаю, мне так хотелось. Мне нравилось сидеть "под парами", когда мир был слегка расфокусирован, расплывчат и неясен, — но и сфокуси-

рован тоже, как бы стянут в узкое пространство, ограниченное вот этими стенами. Нравилось выслушивать доброжелательную болтовню Оскара: "Самое главное — не относиться к женщинам серьезно. Вся твоя беда в том, что ты слишком серьезно воспринимаешь женщин" — он был не глуп, этот старый бабник, попадал иногда в самую точку. Хотя точка эта была — размером с дом.

Но главное, для чего я, собственно, оставался, было, конечно, то самое мгновение, та никогда по сути не происходившая встреча, тот северянинский ветропросвист, когда она входила, а я — выходил.

Зачем мне был нужен весь этот... как бы слово найти приличней?.. Зачем? Не знаю, не могу объяснить. Но потом, когда я шел к станции, почему-то широким, торопливым шагом, хотя никуда никогда не опаздывал /я прочел у Макса Брода о гусиной походе вечно спешащего еврея и сразу узнал себя/, потом всю дорогу и еще пять минут на платформе и двадцать минут в электричке и долго еще, почти до самого дома, ощущал я в себе — да, да, где-то внутри — присутствие этих женщин, и не только той, что прошла сейчас мимо и была теперь у Оскара, но и тех, других, всех остальных, всех женщин на свете. Будто все они тяготели ко мне, с тем и ехали, с тем и шли, но по трагической случайности /закономерности?/ попадали к Оскару, к Димке, к Ромке — ко всем остальным, вполне посторонним мужчинам...

Но и Оскару, я видел, нравилось мое это полуприсутствие, создавало особую, что ли, пикантность...

За три года работы у Кофмана я видел у него четырех женщин /не считая, конечно, жены/, и хотя хорошо разглядеть ни одну не успел /кроме, опять же, жены/, но как-то сложилось у меня общее впечатление — молодости, свежести, красоты и, я бы даже сказал, непорочности. Во всяком случае, ни одна из них не подходила под разряд б а б — как я себе его представлял. Или, во всяком случае, не подходил под этот разряд сложившийся у меня обобщенный образ. Это меня удивляло, за-

ставляло как-то по-новому, по-иному думать о женщинах, как по-иному, было мне еще не ясно, по-иному — и все.

Оскар не предупреждал меня о готовящихся переменах. Каждый раз это бывало для меня сюрпризом. И для нее, для новой, по-видимому, тоже. Тут следовал испуг, удивление, "ах, а где же?.." — но я уже проскользнул мимо и исчезал в голубом тумане — то есть мчался своим гусиным шагом по грязной, пыльной или скользкой дороге.

Как-то раз мы сидели с ним в серых осенних сумерках: был субботний вечер, все ушли раньше, и еще не успело стемнеть. Говорили, в основном, о газетных статьях, появляющихся теперь почти ежедневно: верный сын, навеки в сердцах, доброе имя, ну и так далее. Оскар был, конечно же, членом партии, от него первого я и узнал сногшибательную эту новость — после закрытого письма ЦК, которое он доверительно мне раскрыл. Так, впрочем, поступали все без исключения, на этом общем грехопадении, видимо, и строился весь расчет: слухи и частные сообщения обеспечивали необходимую постепенность — и вот, удар уже был не ударом, а чем-то вроде легкого стука...

— Так твою мать! Доброе имя! — шипел Оскар, приглушая голос, хотя никто нас не мог услышать. — Доброе имя, так твою мать! Не-ет, я, конечно, тертый калач, знал, что у нас везде бардак, но что у нас т а к о й бардак — этого даже я себе представить не мог...

Я только молча кивал головой, не находя ни одного уместного слова.

— А! — он отмахивался. — Что тут скажешь? Давай о чем-нибудь более веселом.

— Насчет холеры в Одессе?

— Да, насчет холеры... Знаешь, я с Людмилой — все. Будьте здоровы и до новых встреч. Так что хочешь — могу дать адресок. У нее и телефон есть — на работе. А то ходишь ты какой-то неприкаянный, пора тебе бабу хорошую завести... Ну как, дать адрес? Или телефон?

— Дать, дать, конечно, дать! — закричал я, не раскрывая рта, а когда раскрыл, то сказал тихо и почти спокойно:

— Да нет, спасибо, зачем мне... Не надо.

— Почему же не надо? Хорошая девка. Лет на пять всего старше тебя. И ты ей очень даже понравился. Говорит, вот этот твой мальчик, твой... ну, твой адъютант, она сказала, который меня всегда встречает, — какие у него, говорит, глаза красивые. И умненький, наверно, чувствуется по взгляду. Ну, насчет глаз, говорю, — тебе виднее, а вот не дурак, это уж точно. Ну как, дать?

И опять внутри меня крикнуло: дать! — но опять я что-то такое промямлил... Он взял лист бумаги, написал, оторвал, сунул мне в карман:

— Не понадобится — выкинешь.

— А как же, — сказал я, — кто же... сегодня?

— А-а, — засмеялся он, — это у нас не проблема. Костюм хороший достать — проблема. С продуктами тоже трудности. А это в России пока еще не проблема. Вопрос решается в рабочем порядке...

Стук раздался не в окно, а в наружную дверь. "Я встречу сам", — сказал он и вышел первым. Я проскочил через коридор в свою рабочую комнату, чтобы выйти потом, когда они уже войдут. Но вышел я все же слишком рано. Они были уже в кабинетике, но рука Оскара еще лежала на ручке двери, готовясь ее прикрыть. Они оба еще стояли, он — в коричневом своем пиджаке, она — в бордовом осеннем пальто, он что-то говорил, широко улыбаясь, и не закрывал, все никак не закрывал эту чертову дверь... Я прошел мимо быстро, почти бегом, но все же медленнее, чем хотел. Или, может быть, я хотел еще медленней?..

Я дернул наружную дверь, открыл, закрыл, услышал тройной хлопок, слетел со ступенек, проскочил метров десять, постепенно теряя скорость, словно кто-то выключил во мне мотор, — и, наконец, остановился. Идти я не мог, я задыхался. Там, только что... у него в кабинетике... Там была Тамара.

5

Я присел на ящик, один из многих, валявшихся вокруг нашего "цеха". Сумерки приобрели уже некоторую вещественность и плотность, но вечер еще не наступил. В воздухе было влажно и муторно. Справа от меня по одной стороне улицы тянулись низкие деревянные домики, во всех окнах горел уже свет. Старуха в телогрейке и сером платке сидела на корточках над кучей песка и терла алюминиевую кастрюлю. Рядом с ней на тряпке лежали ложки и вилки. Прямо передо мной маячил лес, голый, как дворницкая метла. Он начинался сразу у последнего дома и медленно уходил вдаль тремя постепенно темнеющими уступами. А налево тянулась дорога, по которой я должен был отсюда уйти, и была она так грязна и непроходима, как только может быть дорога в России.

Дышать по-прежнему было нечем, но как-то я все же жил, не умирал. Быть может, это было ложное дыхание, как у лягушек?

"Надо подумать, — думал я лихорадочно, — надо подумать..." Но только это "надо подумать" — я и думал. Прошло несколько отчетливых мгновений, прежде чем я понял, что для того, чтобы не свихнуться, я должен сейчас, сию минуту, проделать нечто совершенно невозможное. Я должен был как-то соединить в одно целое: шестнадцатилетнюю девочку в черной майке с желтой нашивкой над грудью, с длинными белыми, не загорающими ногами, с тем с ума сводящим жестом, в котором, честное слово, успокойся, нет ничего такого, но который я буду помнить всю жизнь; эту девочку — и танцы у Ривы, те, что были, и те, которых не было, но которые я так отчетливо видел; и еще — Петровское кладбище, те самые похороны, не какие-нибудь, потом их было много, нет, те самые — песня по радио, и крики женщины и плач мужчины; все это я должен был соединить еще с двумя вещами: вот с этой старухой, которая нарочно так медленно водит мочалкой, чтобы сердце мое разорвалось от тоски, и вот с этим светящимся позади меня окошком, с тем, что происходит сейчас там, на кухне, за моей спиной, в кабинете моего обо-

жаемого начальника. / Что за начальник? Откуда начальник? Разве есть надо мной начальник?.. / Но соединить все эти странные части я должен был таким немислимым образом, чтобы в результате получилась объективная реальность, нечто действительно имеющее место, или, как говорил мой дядя, "имеющее место быть". И чтобы в этом "чем-то", имеющем место, нашлось бы еще место ящику из тонких прогибающихся досточек, скрепленных стальной ржавой проволокой и корявыми гвоздями, и чтобы именно на этом ящике, на этих самых гвоздях, сидел сейчас девятнадцатилетний дурак, обдирав пальто за пятьсот рублей, длинное и зеленое, как армянская селедка...

Однако такое количество условий не мог бы выполнить и сам Мефистофель. Это был единственный выход. Но его не было.

6

Я всегда вел скрупулезный счет своим радостям и достижениям, не таким мимолетным, как пятерка по физике или купленный с рук билет на вечерний сеанс, но тем, что имели ощутимое последствие, давали хотя бы легкую подсветку, хотя бы на несколько дней вперед. Не много таких событий накапливалось за год, пальцев одной руки достаточно было для счета, в этом году хватило бы двух или трех.

Во-первых, я научился плавать. Именно в это лето я побил свой личный рекорд, многократно перекрыв роковую дистанцию без помощи спасательного круга. Ненадолго мне этого хватило. Ненадолго. Все вокруг давно и несомненно умели плавать, об этом смешно было говорить. Одного сознания, что ты не урод, не достаточно, чтобы греть нас всю жизнь. /Хотя, по совести — должно было хватать и этого. Воистину беспредельна наша неблагодарность! Что делать Господу с неразумными нами, если мы не ценим того, что имеем, число же перемен к лучшему ограничено естественными законами?.. /

Во-вторых, была литстудия. Знаменитое на всю Москву литературное Объединение, воспитавшее и вырастившее и т. д. и т. п.

И еще иногда я ходил по журналам — понял, что нельзя посылать по почте — собирался с силами, отпрашивался у Кофмана и шел в какую-нибудь редакцию, туда, где я не был дольше всего. Это было ошибкой с моей стороны, потому что литсотрудники успевали смениться, и я выглядел каждый раз новичком.

"Я вас слушаю", — встречала меня, допустим, красивая пожилая армянка с низким голосом и дымящейся сигаретой, мужественно задвинутой в угол рта.

"У меня рассказ. Вот... Вот сейчас... Сейчас я вам..." — тянул я и мямлил, тщетно пытаюсь открыть портфель /не мог, идиот, вынуть рукопись раньше — в метро, в коридоре, здесь, в кабинете, пока она разговаривала с другим! /

Она деловито протягивала ладонь, но уставала ее держать и начинала копать в своих бумагах. Наконец...

"Вот этот абзац! И вон тот! И вот этот, внизу!" — подсовывал я ей мысленно, пока она перелистывала рукопись, подряд, подряд, страницу за страницей, нигде и секунды не останавливаясь, превращая в мимолетность и невесомость весь мой многодневный и мучительный труд.

"Хорошо, — говорила она, — оставьте. Вы печатались раньше?"

"Нет, — отвечал я с полным сознанием своего ничтожества. — Пока нет. /О, это идиотское "пока", худосочная насекомая гордость! / Не печатался".

"И не будете!" — говорил мне ее равнодушный взгляд.

"И не надо!" — отвечал я ей молча. Прощался и хлопал дверью. Тихонько.

Звонить я начинал через две недели. Еще не прочла. Через месяц. Нет, еще не успела. Через два. В командировке. Через три. Была в командировке, накопилось много дел, вы же знаете, как это бывает... Да-да, конечно, разумеется, знаю, так оно и бывает, это. Через четыре. Прочла! Ну, как? Отдала ответственному секретарю. Никаких "понравилось — не понравилось", оставьте эмоции рядовым читателям. Передала. Когда прочтет — неизвестно. Позвоните через...

И только однажды мне посчастливилось: я удостоился разговора.

Это был совсем молодой парень, не намного, может быть, старше меня, высокий, жирный, гладкий, румяный, с небольшими, жесткими темными усиками, точно определявшими центр лица, отчего оно становилось еще круглее. Он носил знаменитую фамилию: отец его был одним из вождей, из немногих, умерших собственной смертью.

— Послушайте, Саша, — сказал он однажды, высоким детски-обиженным голосом. — Мне, знаете, нравится, как вы пишете. Я бы хотел вам помочь...

Помочь! Я сразу же весь напрягся.

— Мне кажется, главная ваша ошибка — в чрезмерной узости ваших тем, в вашей, что ли, односторонности...

Так... Я сделал глубокий выдох.

— Нет, я понимаю, я все понимаю! — поторопился он меня предупредить. — Но то, что вы пишете, тем не менее, может быть интересно лишь близким вам людям, друзьям, родственникам, ну и прочим, кому заведомо интересны вы сами. Посторонний же, так сказать, нормальный читатель, ко всему этому останется равнодушным. Это хорошо понимают в редакциях, вот потому вас и не печатают.

— Но ведь вам же понравилось, вы же сами сказали...

— Да, мне понравилось. Но я, видите ли, — он мило улыбнулся, — я ведь, что называется, сноб. Мне достаточно чисто художественных достижений, я бы сказал даже — чисто технических. Ну, а для настоящей литературы этого, к сожалению, мало. Тут нужна еще тесная связь с реальностью, со всем тем, что происходит вокруг. Не кривитесь, это не пустые слова, если их понимать, как надо.

— Как же надо их понимать? — Он начинал надоедать мне.

— Так, ну что же, давайте конкретно. Вот у вас: "Филин ударил крылом" — безусловно, один из лучших рассказов. Написан сочно, написан трогательно, все так ярко себе представляешь... /Дурак, подумал я, "сочно и трогательно"!/ Но какому читателю он предназначен? Кому, скажите мне, инте-

ресен этот одинокий сумасшедший музыкант? Рассказ целиком висит в воздухе, ниоткуда не начинается и ничем не кончается, потому что никак не связан с реальной...

— Ну, а "Красный цветок", а "Палата номер шесть"?

— Ну что вы, что вы — "Палата номер шесть"! Там же такой социальный пласт! Там же постоянно ощущаешь за стенами всю сложность и противоречия...

"...Ночка начинается, месяц поднимается, филин уда-а-рил крылом", — пел дядя Лева, а потом, пропев куплет до конца, играл на трубе мелодию.

"А теперь представь, что это звучит вместе", — говорил он Фимке. Походило на разучивание песни по радио.

"Труба — плохой инструмент, — сказал однажды Фимка, — невозможно играть и петь одновременно. Лучше бы ты играл на гитаре".

Реакция дяди Левы была неожиданной и очень страшной.

Он весь покраснел и затрясся, затем закинул голову назад и цепкими костяными пальцами стал стягивать со стола ска-терть.

К счастью, была при этом бабушка, она схватила Фимку за плечо и увела в другую комнату, потом бросилась назад: усовестить дядю Леву. Все обошлось, только разбился стакан.

Вообще же дядя Лева был тихий, потому его и выпустили из больницы, и даже к дальним, вполне дальним родственникам. До войны он играл в Большом театре, в войну же, роковым стечением обстоятельств, попал в специальное подразделение, где учили собак бросаться под танк. С утра до вечера он вместе с несчастными собаками слушал непрерывный грохот танка. Собаки не были музыкантами, они мучались, но выдерживали. Дядя Лева сошел с ума. Он исчез, его искали и нашли в лесу, он сидел на поляне, прислонившись спиной к дереву, сидел и дул в тонкую веточку, нажимая пальцами на несуществующие клавиши...

Дядя Лева был тихий, и лечащий врач предложил его выпустить из больницы и даже — бывают же такие люди! — купил ему на свои деньги трубу.

Он был тихий, но не слушался никого. Если он стоял — то стоял, если же сидел — то сидел, и никто не мог заставить его переменить положение, выйти, войти или хотя бы подвинуться. Никто, кроме бабушки. Бабушку он иногда еще слушал. Она приходилась ему двоюродной теткой, остальные же — отец Фимки, мама, сестра — почти никем ему не приходились. Бабушка терпела дядю Леву, ухаживала за ним и готовила ему отдельно, потому что ел он страшно много, и если бы кормить его тем же, чем и всех, то просто нельзя было бы напасть. То есть он, конечно, ел то же, что и все, но это для него была капля в море, и ему еще давали геркулесовую кашу или огромную тарелку макарон. Несмотря ни на что, был он худ и изможден, и бабушка говорила, что это от трубы, которая высасывает из него все соки.

Все бы, может быть, так и тянулось, но однажды ночью он прокрался на кухню и съел всю еду, приготовленную бабушкой на два дня для целой семьи. На другую ночь бабушка его подкараулила и стала стыдить и увещевать. И тогда он повел себя, как пес Вулли у Сетона-Томпсона. Он страшно испугался, затрясся, забормотал и, видимо, со стыда и отчаяния, схватил бутылку с подсолнечным маслом и ударил бабушку по голове...

Фимка помнил, как много было в доме народу: милиция в синем, санитары в белом, разномастные родственники, никогда не виденные раньше. Некоторое время дядя Лева еще сидел на стуле в коридоре, руки у него были связаны веревкой, Он подмигнул Фимке и кивнул на дверь, за которой лежала мертвая бабушка. Потом вдруг запел тихим тоненьким голоском: "Ночка начинается, месяц поднимается, Ф и м а уда-арил крылом..."

"Эта песня — про тебя, понял? — сказал он серьезно. — Фима ударил, понял? Помни это всегда!.."

— Погодите, — он тоже поднялся с места, подошел поближе, приглушил голос. — Еще один, последний совет. Вы только правильно меня поймите... Видите ли... вы же русский писатель. А у вас чуть ли не половина героев... Ну... и последнее

самое последнее, это не обязательно, но очень желательно, пустяк, но... Возьмите себе псевдоним. Любой, ну хотя бы прямой перевод: Серебров, Серебряков, Серебряный...

7

Вот в таком состоянии /пусто!../ находились мои дела к тому самому моменту, когда я оказался сидящим на ящике, с неподвижным взглядом и застывшими мыслями. Но сидел я так не больше минуты, ну от силы, может быть, две. В сущности, просто присел и встал.

Вдруг старуха взглянула на кучу вилок и ложек, лежавшую перед ней на тряпке, выпростала из-под этой кучи большой кухонный нож и, неожиданно размахнувшись, всадила его в песок так, что скрылось полрукотки... Это был сигнал. Я встал и пошел.

— Что ты, Саша? — ласково спросил Кофман. — Забыл что-нибудь?

/Да, прошло не больше минуты. Ну, разве что две.

Он только что снял с нее пальто и теперь вот вешал его на гвоздик. На лице его была еще та, первая улыбка, он еще не сменил ее на другую, вторую./

Она сидела на диване, нога на ногу, курила и говорила что-то тихое, замолкла в тот момент, когда я вошел.

Да, волосы, что ж, действительно... Но и только, Господи, но и только! Как я мог нелепо так ошибиться!

— Что, Сашенька, что с тобой? Случилось что-нибудь?

Я стоял, молчал, стоял и улыбался, даже слюни распустил, как юродивый, — от полноты души...

Уже в метро я полез в карман за мелочью и вытащил листочек, который сунул мне Кофман. Все есть: телефон, адрес. "Здравствуйте, Люда, это говорит Саша, тот самый, который... ну, у Оскар Леонтича... Не помните? Ну как же... Ну, мы еще, помните, тогда... когда... Люда, у меня к вам просьба /или дело?/. Не могли бы вы с нами... Не могли бы вы со мной... За чем? А у меня к вам дело /или просьба?/..."

Не-ет, пронеси, Господи, только представить себе и то уже страшно.

Пропади он пропадом, этот телефон. Но вот адрес... Не этот именно, а вообще — адрес!

Я вернулся на привокзальную площадь и подошел к справочному киоску. "Наша-то, наша-то, Алексеевна..." — спасибо Марине, я знаю отчество.

— Заполнили? — спросила симпатичная женщина в зимнем пальто, накинутом на плечи. — Ну, теперь погуляйте полчасика...

Глава вторая

1

Интересно, что и сейчас, через пятнадцать лет, по этой улице ходит тот же самый трамвай. Конечно, прежним остался лишь номер, трамвай же теперь совсем другой. Теперь это мягкая чешская гондола, с тихим вкрадчивым шорохом подплывающая к остановке. Я проехался однажды, надеясь обновить воспоминания, но ничего ровным счетом не обновил, только надышал на волшебное стекло, прежде такое прозрачное, так что пришлось потом поработать, поползая мокрой ладонью, оттирая с противным свистом сегодняшней этот туман — устранять пресловутое воздействие наблюдателя на исследуемое явление...

А тогда это был наш русский тяжеловоз, багровый, литой, грохочущий. Со скандальным визгом и звоном вылетал он из за поворота и долго смолкал, останавливаясь, с трудом преодолевая инерцию. Он шел к вокзалам, на Комсомольскую площадь, и поэтому всегда был набит до отказа.

Я прицеливался еще издали и кидался с разбега, ввинчиваясь куда-то в несуществующее пространство между плечами, локтями, грудями, радуясь безразличию этих чужих неодушевленных предметов, безразличию, которое, я знал, в любой момент может легко перейти во враждебность. И когда неотвратимое ребро чемодана ударяло меня сзади, подгибая коле-

ни, и я падал вперед, на какой-нибудь необъятный колхозный мешок, успевая в последний миг ухватиться за поручень, — никаких я тогда не испытывал физических неудобств, но легкий бурунчик страха прокатывался по моей спине, постыдный бурунчик — век бы никому не сознался!

В остальном же — было мне хорошо, было мне празднично и тревожно, потому что я ехал к ней, и то, что к ней, а не куда-нибудь, — чувствовал ежесекундно. Я ехал к ней, когда ушибался и падал, ехал к ней, когда хватался за поручень, ехал к ней, когда передавал билет, и особенно — когда спрашивал, не выходят ли впереди. Я испытывал теплое чувство ко всем, сходявшим вместе со мной: это были ее соседи по улице, может быть, даже хорошо ее знавшие, или кто-то, кто едет к ее соседям, или к кому-то, кто с ней, возможно, знаком.

Этот дом я много раз видел и прежде и даже, кажется, подзревал, хотя, может быть, это теперь так казалось, все равно проверить было нельзя. Я входил под кирпичную круглую арку, шел, стараясь возможно мягче ступать по асфальту, чтобы не было гулких ударов, усиленных эхом; попадал в грязный и темный двор, освещаемый лишь отдельными горящими окнами, неожиданно просторный и длинный, теряющийся где-то в сумрачной глубине, в бесконечной толпе флигельков, сарайчиков и палисадничков; сворачивал круто направо, входил в подъезд с одной деревянной ступенькой — и чуть ли не лицом /а иногда и лицом/ наткнулся на огромную дверь, обитую черным пупырчатым дермантином. Я нащаривал кнопку звонка — на уровне головы, в сантиметре от правого наличника — и немедленно, сразу же нажимал, не давая себе отдышаться, ни минуты не дожидаясь, пока хоть чуть-чуть успокоится сердце. Я знал по опыту, что не станет мне спокойнее от такого ожидания, наоборот, разволнуюсь окончательно, до бесчувствия, до одурения.

Эта кнопка на какое-то, почти неуловимое, но неизменно повторявшееся мгновение напоминала мне Аврама Петровича и Марию Иосифовну — единственных моих знакомых, у которых был тоже дверной замок. Но и этих знакомых у меня

уже не было. Они умерли прошлой зимой, сначала он, потом она — с какой-то мистической неотвратимостью, с интервалом, в ничтожность которого невозможно было поверить, что-то семь или восемь дней, хотя она была гораздо моложе его и, насколько известно, никогда и ничем не болела...

Я нажимал кнопку, и мгновенно возникавшие в сознании их лица и голоса были единственным мне ответом, потому что толстенная эта обивка совершенно не пропускала звуков. До того момента, когда дверь, наконец, отворялась, я всегда успевал усомниться, исправен ли сегодня звонок. Но дверь отворялась.

Там, за дверью, в маленьком коридорчике, никогда не было слишком светло: крохотное окошко днем, двадцатипятиваттная лампочка вечером, — но отсюда, из полной почти темноты, так ярко вспыхивал дверной проем, что казалось — включили прожектор; и в широком его луче, не совсем по центру, а чуть в стороне, чуть ближе к правому косяку, возникал рисунок ее фигуры, безошибочно точный контур, весь охваченный легким сиянием. Это сияние как бы двигалось снизу вверх, становясь понемногу все ярче, так что черная ее юбка была почти абсолютно черна, но зато светились ворсинки длинного свитера, очень старого, доставшегося ей от матери; рукава его были изодраны, и она засучивала их до локтей, я видел волнующую эту границу между грубым, неподвижно скатанным валиком — и тонкой линией ее руки, легкой, живой, устремленной к кисти. И совсем уже ярко светились волосы, золотым, глубинным, собственным светом, так что даже ее лицо /о Господи, ее лицо!/ слегка проявлялось и обрисовывалось в окружении этого ореола.

— Ну что, — говорила она улыбаясь, — так и будем стоять? Входи, раз пришел...

Что решительно в ней изменилось с незапамятных тех времен — это голос. Он стал нервным, неровным, всегда возбужденным, покачивающимся на высоком гребне волнения, и эта неровность и это покачивание только усиливали впечатление женственности, подчеркивая его многократно. И не было

здесь никакого кокетства, вот уже чего совершенно не было, а было лишь естественное проявление личности, откровенное выражение сути...

В ожидании пока я сниму пальто и повешу его на крюк, засуну в отверстие рукава сначала скомканный шарф, а затем, совсем уже плотно, шапку, выну из кармана носовой платок, высморкаюсь, положу платок в карман брюк, потопчусь на тряпке у двери, вроде бы делая что-то нужное, — в ожидании, пока я произведу все эти сложные действия, она садилась вполоборота возле окна, на широкую лавку для стирки белья, скрестив руки под грудью, одной ногой упираясь в пол, а другой, свесившейся, легонько болтая. Я присаживался к ней, забирал к себе ее руку, причем она ощутимо сопротивлялась, и прикладывал теплую узкую ладонь к холодным своим щекам, заглубившим на морозе, и ласкался к этой ладони, и целовал ее бережно, одним уголком рта. Слезы выступали у меня на глазах — от нежности и не знаю еще от чего, я вытирал их этой же теплой ладонью, прежде чем взглянуть ей в лицо; я должен был увидеть его четко и ясно, каждая такая возможность была для меня бесценна.

С неизменным волнением и каким-то неясным страхом замечал я, как мутнел ее взгляд, как она расслаблялась и замирала на миг, но тут же как бы будила себя и меня, отнимала руку, вставала и говорила мягко, но решительно:

— Пойдем, пойдем, я тебя покормлю, ты же с работы, голодный, как черт...

У двери комнаты она останавливалась.

— И смотри, не смей с ним разговаривать, понял? Не смей, я тебе запрещаю. Пусть он болтает, что хочет, ты молчи, как будто не слышишь. Обещаешь молчать?

— Постараюсь, — отвечал я с улыбкой. — Ты лучше сама не волнуйся, не обращай никакого внимания.

Мы входили с ней в комнату, сначала она, следом я, в небольшую, обставленную, а вернее заставленную старой безликой мебелью — неудобной, грубой, тяжелой. Посреди комнаты стоял стол, квадратный, дубовый, незыблемый; рядом с две-

рю — сундук, покрытый дряхлой дерюжкой; справа, в простенке между узкими окнами — буфет, или комод, или черт его знает какое сооружение, с дверками, нишами, башнями и открытыми полками шириной в четверть доски, на которых, кроме разве солонки, ничего не могло уместиться; слева у стены возвышалась печь, за ней шла кровать, на которой она спала; затем, в углу — облезлый трехстворчатый шкаф; и, наконец, у дальней стены стоял широкий диван, и на нем, на какой-то грязно-цветастой постели, лежал, а вернее, валялся, раскинув ноги в кальсонах, — неопрятный, взлохмаченный рыжий старик.

"Привет, сынок! — выкрикивал он при моем появлении. — Бей жидов, сынок! Бей жидов — родина тебя не забудет!.."

2

Да, рыжий Герасим был отцом моей Тамары, не отчимом, а отцом, родным, законным, единокровным...

Здесь они и жили втроем, в этой комнате: он, мать и она. Но он был старше матери на семнадцать лет, да еще свихнулся после войны на этих своих жидах /"на этом самом, — говорила Тамара, — ну, ты знаешь..."/, да сверх того еще начал пить, да сверх всего еще — побираться. И мать добилась развода и комнаты от работы /"пусть у кладбища, пусть хоть на кладбище — только подальше от этого чучела!"/. С их переездом все обрывалось; он ни разу не был в их новом доме, боялся тюрьмы и психиатрички — мать сумела его запугать; но то ли нечаянно, то ли нарочно, все дни ошивался где-то поблизости, не рядом, но и не далеко. Много раз его порывались выселить — но тут он умел за себя постоять, бил кулаком по впалой груди, звенел медалями и орденами: он был тяжело контужен, он проливал свою русскую кровь, пока тут жида... и его оставляли в покое.

Никогда ничего у нее к нему не было, ни дочерних, ни просто теплых чувств — и все же она к нему приходила, ненадолго, всегда тайком от матери, прибирала, готовила — и уходила,

ла, не ответив на его idiotские выкрики... Так она и жила с этой тайной, с этой вечной тяжестью на душе, со стыдом и досадой — и с фамилией матери. Отчество же... Но тут-то и фокус. Потому что Герасим, бессмертный Герасим, по паспорту был совсем не Герасим — от таких же бродяг и нищих, как он, получил он свое знаменитое имя, "партийную кличку", как он выражался. А когда-то прежде он был Алексеем — в иной, далекой, забытой жизни, быть может, как раз до того момента, пока еще оставался отцом... Ей казалась спасительной эта подмена, хотя, конечно, с другой стороны, у нее не могло быть иного отчества, Алексей же — имя отнюдь не редкое, кто бы мог ее заподозрить?..

Вот такая высвечивалась история, и была она мне близка и понятна и даже, как будто, давно знакома. Я слушал ее с ослабленным вниманием, с болью сочувствия — но и с радостью. Даже эта путаница с именами не казалась мне чересчур удивительной, а скорее необходимой подробностью, как бы вынужденной из еврейского быта, где такое случалось в каждой семье, где имя не было чем-то незыблемым, данным раз навсегда от рождения, но менялось в зависимости от обстоятельств: для родных одно, для друзей другое, и третье, полузабытое — в паспорте...

Но вот мать ее вышла замуж — была она еще вполне ничего — за лихого майора, рубаху-парня, на три года моложе ее: так сказать, скомпенсировала свой девичий промах. Но видно, ничего нельзя скомпенсировать, и фальшивый купон путешествует по цепочке, как в том бесконечном рассказе Толстого. С первых же месяцев после свадьбы майор стал представлять к Тамаре... /Что мне делать, если жизнь состоит из банальностей! Но для вас — банальность, пустая деталь, а каким холодом наполнялось мое нутро, как мутилось мое сознание — от немыслимой широты, от прямо-таки бесконечной возможности, заложенной в этом слове!/. И когда он получил назначение в Минск, и они решили уехать вместе, а комнату матери сдать его другу, — она ни о чем не стала просить,

просто сказала, что не поедет, что не хочет бросать институт, что устроится в общежитии. Мать с радостью согласилась — она еще упивалась любовью майора — и не стала задумываться над тем, как это ее дочке с московской пропиской могут дать в Москве общежитие. И Тамара оказалась здесь, у отца — больше ей некуда было податься...

Жили они на ее стипендию, на его ничтожную пенсию и на то, что присылала ей мать, в каждом переводе предупреждавшая, чтобы деньги она тратила на себя. Герасим, между тем...

— Пстой, пстой! — она вдруг задумалась на минуту. — Как же так? Как ты здесь меня отыскал?

— Но ведь я же рассказывал: через справочное. Я принял за тебя ту девицу у Кофмана и понял, что никуда мне не деться, что я все равно без тебя не могу... Ну, а тут как раз попался мне адрес...

— Нет, этого не может быть!

— Как, почему?

— Ты забыл о прописке...

Черт! Действительно — как я мог упустить?

— Ну что ж, — говорю я, — какая разница! Ну, узнал у соседей, ну, встретил на улице... Важно не это, а то, что сейчас ты сидишь вот здесь, рядом со мной, ты живая, ты есть, ты существуешь. И все это существует — вот что важно!

— Ты уверен? — она слегка усмехается. Я не понимаю ее настроения.

— В чем? В чем я уверен?!

— В том, что все это действительно существует?

— Да! — говорю я как можно тверже. — В этом я абсолютно уверен.

...Герасим, между тем, становился все хуже, слабел и умственно и физически. Здесь была и своя положительная сторона: он почти перестал побираться. Лишь изредка, раз или два в неделю, выходил он утром "подсобрать на поправку", и тут уж невозможно было его удержать. Тамара его несколько

раз запирала, но он устраивал такой скандал, что соседям приходилось взламывать дверь, а однажды разбил окно кулаком, вылез и так пошел, окровавленный; потом хвастался тем же соседям, что ему еще охотнее подавали. Это были у него такие праздники, редкие часы душевного подъема. В основном же он лежал на диване, вертел рыжей своей головой, как бы проверяя исправность шейных позвонков — и бормотал непрерывно. Всякого входящего он приветствовал по-своему, но если не дожидался ответа — терял интерес и продолжал бормотать.

Соседи поговаривали о больнице, но Тамара упорно не соглашалась.

— Знаешь, я его не люблю, чаще всего — почти ненавижу, а туда — нет, все-таки жалко. Он ведь однажды там уже был, я видела, как с ними обращаются. А он мне отец, я всегда это чувствую, мы ведь с ним очень даже похожи...

— Ну уж! — тут я решительно возразил.

— Не спорь, не спорь, я знаю. Вот и глаза у обоих зеленые.

— Неправда! У него — желто-зеленые, а у тебя... Я знал, какие у нее глаза, но делал нарочно длинную паузу. Я мог теперь долго смотреть, выясняя, в другое время это было неловко: чего вдруг, ни с того ни с сего...

— ...а у тебя — серо-зеленые. У него маленькие и злые, а у тебя — большие и добрые!

— Скажешь — добрые! Какие там добрые... Просто ты ко мне хорошо относишься.

— Да, ты права, — говорил я серьезно. — Тут ты права — хорошо отношусь. Ты даже представить себе не можешь, как к тебе хорошо я к тебе отношусь!

3

Куда мы уходили из этого дома? Чаще всего — на каток. Я брал коньки с собой на работу и прямо с электрички мчался к ней.

— Есть будешь? — спрашивала она ласково, с неизменной кривотой своей улыбкой.

— Нет! — выпаливал я, запыхавшись.— Вместе! В столовой!

В комнату я старался не заходить — обходился без лозунгов старого идиота. Она кивала и шла переодеваться, но еще я успевал поцеловать ей руки и тянулся к губам, а она смеялась и уворачивалась, и — "в щеку, только в щеку!" — шептала мне на ухо. Я оставался сидеть у окна на лавке, снимал шапку, закуривал, ждал, а она, я знал, в это самое время распаивала шаткую дверцу шкафа, торопясь, раздевалась за этой ширмой, а рыжий старик гудел, как мотор, а я сидел на широкой лавке, весь в поту от жары и волнения, и чего я ждал, чем могло это кончиться — совершенно было не ясно...

Мне и вообще-то нравилось обедать в столовой, но с ней это превращалось в настоящий праздник, в целое приключение, в романтическую сказку. Она очень хотела есть, она безумно хотела есть, она просто умирала от голода — и я, кто же еще, добывал ей еду. Это было такое микрораспение, микроподвиг ценой в десятку.

— Нет, нет, — говорила она поспешно, — мне что-нибудь попроще. И первого не надо совсем...

— Брось, Томка, у меня же есть деньги, что ты мелочишься?

— Отдай их маме, ей, небось, пригодятся.

— Я отдаю, не волнуйся. Но еще остается. Я ведь рабочий, не то, что вы, интеллигенция...

— Да, это верно, это ты в самую точку... Вот возьми мне сосиски, я очень люблю сосиски. Ну, пожалуйста, ну не надо лангет, я же не умею обращаться с ножом!

— Что это тебе, ресторан? Будешь есть, как удобно. Возьми в руки и откусывай — кто на тебя смотрит?

— Да? Ты считаешь — никто?

Нет, я так не считал. На нее смотрели всегда и повсюду: в трамвае, в кино, в метро, на улице — и здесь тоже, конечно, смотрели. И так ощутимо материальны бывали эти мужские взгляды, что после них уже и она, казалось, не могла оставаться прежней, что-то должно было в ней измениться, то ли прибавиться, то ли отняться. И не защитит ее пытался — знал, что это вообще невозможно — но только что удержать ее ря-

дом, не отпускать ни на миг — чтоб не дать ей возможности, когда зазеваюсь, уплыть по этим невидимым нитям, притянуться к этим острым зрачкам...

Я обычно брал себе пива, она отхлебывала из моего стакана /я так любил, что из моего стакана, без спроса, взяла и пьет... Это было такое блаженство: протянуть руку за своим стаканом — и увидеть, что он у нее в руках, и сидеть, и чувствовать этот крохотный недостаток, ощущать через смехотворную эту жертву — ее присутствие, ее реальность, ее бесконечную власть надо мной.../, она отхлебывала и морщилась: "Не понимаю, что ты в нем находишь? Горько, невкусно. Водка — это еще понятно, а тут — ни то ни се..."

Мы слегка торопились, старались успеть, пока в парк не набилось много народу, хотя, признаться, будь моя воля, не пошел бы ни на какой каток. Катался я гораздо хуже нее, и самое страшное, порой чувствовал, что бывает ей за меня неловко, особенно — когда встречает знакомых. Да и та постоянная умозрительная опасность, что ее уведут, заберут, отнимут, — здесь, на катке, становилась вполне реальной. И стоял ли я в очереди в раздевалку с ее и своим пальто, упиравшись коньками в изрубленный пол; или протискивался в буфет, чтобы принести ей булочку с маком; или даже просто, отвернувшись в сторону, разговаривал со старым своим одноклассником, черт бы его побрал со всеми его потрохами, — никогда я не был уверен, что, вернувшись с номерком или вернувшись с булочкой или отвернув голову от проклятого болтуна, — я застаю ее на прежнем месте, да и вообще увижу ее когда-нибудь снова, мою Тамару!..

Это был тот самый парк, где я сколько-то лет тому назад познакомился с Мариной.

— Я знаю, — сказала она. — Ты рассказывал. Да и она мне что-то такое...

— Да? И что же?

— Это неважно. Но только, знаешь, зря ты с ней так...

— Как? Я с ней — никак.

— Вот и зря. Она была бы хорошей женой.

— Что значит — хорошей женой? Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Да, — сказала она задумчиво и даже прикрыла глаза, — мне кажется, я понимаю...

Я начинал кипятиваться.

— Да это же глупость, пустая формула! Если у мужчины — никаких талантов, про него говорят, что он хороший организатор. А про некрасивую женщину говорят, что она была бы хорошей женой...

— Не смей так говорить! Не смей! Тебе не идет быть нахалом.

— Это интересно! А кем мне идет?

Она взяла мою руку, положила себе на талию и легонько прижала локтем. На ней был плотный жакет, надетый поверх свитера, но мне казалось, я чувствую ее тело; мне хотелось так почувствовать — и так оно, значит, и было...

— Ты хороший, — сказала она серьезно и мягко. — Ты хороший — и всегда таким оставайся. Никогда, ни для чего — понимаешь? — ни для чего не надо быть плохим!

— Ты со мной... как с ребенком, — прошептал я невнятно, только чтоб как-то прикрыть свое смятение, чтоб хоть немного приглушить эту нежность, от которой я задыхался...

4

Однажды, уже в конце зимы, даже, пожалуй, в марте — лужи стояли на льду, коньки глубоко зарывались и снежные брызги летели в стороны — да, в марте, мы сидели в раздевалке, разминали блаженно ноги, разговаривали неторопливо, собирались идти домой. "Вился легкий вечерний снежок, я робел, заходя за тобой", — пел динамик нежным, порхающим голоском, эту песенку ставили через три на четвертый, и она неизменно меня волновала, создавала тот самый мерцающий фон, на котором все вокруг приобретало свой подлинный, не заметный с первого взгляда смысл. Меня всегда поражало соответствие и даже единообразие человеческих чувств, которое обнаруживали книги и песни — нет, в первую очередь пес-

ни! Тут была необязательна подетальная точность, а вполне достаточно было намека, общих слов, не несущих нагрузки, но так или иначе отражающих... Я не уставал удивляться тому, что и у других все так же, как у меня, не совсем так — но все-таки так же. И от этого другой, например, парень, сидящий напротив с другой девушкой, вовсе не становился мне ближе — наоборот, вечной тревогой сквозило от этого грубого сходства, больно было мне сознавать коллективность моего душевного мира, нечеткость и размытость его границ, через которые так беспрепятственно, так легко и нежно, как эта песенка, могут перепархивать потаенные чувства и единственные отношения...

"И туда, где сияют огни, ты с другим убежала вперед, — догони, догони! — только сердце ревниво замрет..."

Тамара сидела рядом, никуда не убежала, она хорошо ко мне относилась, — но это и был для меня предел. Я не видел за собой никаких этапов, никаких ступеней, границ, гарантий. Все было неопределенно и страшно.

Там был еще в конце такой утешительный куплет — я всегда его ждал с нетерпением, и он неизменно меня разочаровывал: "Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!" — нет, нисколько не успокаивала эта наивная подтасовка. Здесь чувствовался явный маскарад, переодетая, угадывалась прежняя горькая строчка, та же самая боль и тревога. И даже если закрыть глаза на все и принять эту строчку за новую — все равно уверенности нет никакой. Пустое обещание, даже скорее желание, оно ведь существовало и раньше и вот, каждый раз, — оканчивалось ничем. Нет, только полная определенность могла принести мне покой: догнал, схватил, держу, моя...

И вот, под эту милую песенку, тревожную, чистую, прозрачную, легкую...

Первого парня я знал, его звали Борька, но имелась у него еще кличка "Мужик" — вся округа его боялась и старалась обходить подальше. Был он невысок и без шеи, как жаба, но

широкоплеч необыкновенно — так угрожающе широкоплечи бывают иногда горбуны. Второй мне как-то не очень запомнился: совсем молодой, полноватый парнишка, лицо круглое и румяное, хотя теперь, после всего, трудно его таким и представить... Он все не мог зашнуровать ботинки коньков, гнилая тесьма то и дело рвалась, он надвязывал — она снова рвалась, и уже по несколько узелков скопилось на каждом конце.

Мужик спокойно сидел с ним рядом, высоко задрав тяжелые локти, опираясь о спинку деревянной лавки на одном уровне с лягушачьей башкой. Ни угроз, ни даже легкого спора нельзя было различить в их тихом общении: Мужик говорил, совершенно не двигаясь, круглолицый слушал, рвал и надвязывал, лишь иногда поворачивал голову, взглядывал и кивал утвердительно...

И вдруг я увидел следующий кадр. Я увидел, с каким-то тупым удивлением, что Мужик стоит на одной ноге /как я мог не заметить, когда он встал?/, стоит, держась рукой за спинку, на которую только что опирался, а другая нога поднимается вверх, махом вверх, и огромный блестящий конек — невозможно! немисливо! не бывает! — врезается снизу в лицо соседу — прямо туда — в середину, в мякоть, в нутро...

Голова мотнулась вместе с ногой, но нога не дала ей опоры, высвободилась, уже окровавленная, и пошла теперь сверху вниз — черный чугунный ботинок и белый стальной конек — и так ходила она вверх и вниз, методично, как сечка, и рубила, рубила, кровь лилась на колени, на руки, на пол, и была она неестественно яркой, как на той картине у Репина...

Наконец это кончилось. Мужик стоял на обеих своих кандаках — одна была белая, другая красная — и откуда-то сзади "Саша, Сашка! Сашка же!" — звал меня голос Тамары. "А?" — коротко спросил Мужик, и я оцепенел под его изуверским взглядом. С ужасом я обнаружил, что стою на полдороге между своей и его скамьей /Зачем? Что я, собственно, собирался делать?/. Несчастный парень был жив, сидел молча, зажимал лицо окровавленными руками, и лоскутья кожи виднелись между пальцами. Все вокруг тоже — сидели молча,

никто и не вскрикнул, кроме Тамары. Да и я не мог произнести ни слова. Но все сидели, как положено, я же почему-то стоял. Это был непорядок. "А?.." — спросил Мужик, и в следующий момент невозможно длинная, телескопическая рука выросла из его прямого плеча, железные щупальца сгребли мою грудь — не куртку, а именно грудь — и вот уже я полулежал на прежнем своем месте, с болью в затылке, с серыми пятнами в глазах. "Скажи спасибо своей сучке, в другой раз — убью!.." — и он медленно и спокойно пошел на лед. Не домой, не в толпу, не в укрытие — на лед: развлекаться, кататься, кадрить девочек — на э тих самых коньках!..

"Догони, догони..." Вот еще одна страшная песенка.

5

Так естественно получилось, что этот раз был последним, весна избавила меня от катка — один вид собственных коньков вызывал у меня ужас и отвращение. Человека можно убить и вилкой. А тем более — покалечить. Что ж, если бы я увидел такое, то, возможно, стал бы бояться вилки...

Каток кончился вместе с зимой, но ничего не появилось взамен, и пронзительный весенний воздух, беспокойно трубя и настойчиво зазывая, не указывал, тем не менее, никакого направления. Мы мотались по пьяным московским улицам, нашагивали бесчисленные километры и прощались у ее дома, отмечая разочарованно полную неуместность любых побуждений, кроме жажды тепла и отдыха. Мы встречались чуть ли уже не полгода, но все та же неясная тревога стояла у меня за спиной, и никакого иного имущества не нашёл я за эти месяцы. Несколько запретных прикосновений на последнем ряду в кинотеатре, снисходительно терпимых, унизительно-нелепых в очевидной своей безысходности; несколько затуманенных взглядов, природа которых была несомненна, но и безлична, но и опасна, поскольку не обязательно мне могли они быть предназначены; несколько торопливых поцелуев в темном дворе — сведенными холодом, бесчувственными гу-

бами; "ты меня любишь?" — дурацкий вопрос, всегда одинаково пустой и неуместный, кроме разве обоюдного взлета страсти... "Да", — отвечала она безо всякой интонации, бросала мне очередное "пока" и исчезала за своей необъятной дверью, выпустив ко мне на минутку нещедрую порцию света и сразу же забрав ее с собой в узкую полумглу коридорчика и дальше — в душное замкнутое пространство, заполненное старым тряпьем, гниющим деревом и бессонным бормотанием сумасшедшего старика...

Я быстро шел к остановке трамвая — никуда я не торопился, но и медленно двигаться тоже не мог, мчался, чтоб как-то себя растрясти, оторвать, выпрямить, перестроить — и думал о том, что вот, казалось бы, вся она у меня на виду, а ведь ничего-ничего я о ней не знаю, не многим больше, чем тогда в лагере, а может быть, и меньше — если соразмерить с потребностью. Она и вообще-то говорила немного, о себе же — и совсем чуть-чуть. Все, что мне удавалось узнать, я вытягивал буквально по слову, а там, где не знал, что вытягивать, — там и осталось ничего не известно.

Правда, она бывала точна в ответах или редких своих замечаниях, а если учесть еще голос, неизменно меня волновавший, то станет понятным, что каждая ее фраза была для меня особым событием, целым маленьким праздником женственности и гармонии. Но промежутки, промежутки — из которых одних и состояла, в сущности, ее речь! — я заполнял их своим воображением, своей неусыпной тревогой, своей подозрительностью: вечным своим ожиданием худшего.

Неуловимый дух катастрофы холодом дышал мне в затылок, абстрактный этот образ мигом принимал конкретную форму, стоило мне услышать из ее уст любое мужское имя. Так мало слов она в общем произносила, что удельный вес каждого возрастал непомерно, и какой-нибудь Коля или Слава, упомянутый мимоходом, казался уже центром внимания, героем повести, действующим лицом. А было их достаточно много: она училась в МАИ, в "мужском" институте, и женских имен почти не произносила. А встречил!..

— Подождем вот здесь, у киоска.

— Зачем? Кого?

— Т о л и к должен принести мне конспект.

Ждем. Идет Толик — высокий, широкий, с ежиком, с галстуком, нахал, спортсмен и красавец. Впрочем, все они такие, исключений нет. Руку я, конечно, ему пожимаю, но улыбнуться у меня уже не хватает сил. Они разговаривают, я смотрю в сторону. Ну что ж, у них с в о и интересы, а у меня — ... а у меня — ихние же. Но я посторонний. Не слушаю, не слышу, не надо. Сколько слов. Господи, сколько всяких слов! Суцзя мура, круговые студенческие сплетни, но никогда со мной не бывает она так оживлена. Толик, столик, алкоголик, ролик, нолик... И когда он уже наконец уходит — мне кажется, что она ушла вместе с ним и только по доброте душевной оставила со мной свою тень: поддержать меня под руку, успокоить, утешить, когда буду биться в истерике...

Она добра ко мне, этого не отнимешь.

Ну-с, что же дальше?

6

Чересчур затянувшееся мое детство проходит еще одну камеру пыток. Изошренные орудия развлечений развешаны по ее высоким стенам, расставлены по столам, рассажены по стульям, собраны в живописную группу на отдельном особом возвышении. Ресторан — не столовая, сюда приходят не есть, сюда приходят п р о в е с т и время. Высшая мера удовольствий. Два раза в месяц я себя к ней приговариваю, это называется "могу себе позволить". К чему же это я так стремлюсь, какого же дозволения добиваюсь?

Я даже не хочу здесь описывать все те утонченные приемы, с помощью которых крушит мою личность упомянутое учреждение. Или будь своим, то есть нашим, или катись к чертовой матери. Что ж, я бы катился, братцы, но я не один, со мной женщина... Впрочем, вот уже первая вам уступка: ж е н щ и н а — это здесь так говорят. Ресторан не столовая, vedi себя, как хочешь, если хочешь именно так, как надо. Зна-

менитая наша русская свобода выбора: целых три дороги и камень с надписью. Можешь ехать куда угодно, выбирай же сам, что терять: жену, коня или голову. Свобода!

И пока официант у меня перед носом работает со своими тарелками, а я придумываю, куда деть руки и что изобразить на лице /не прищурить ли глаз, как советовал некогда Ромка?/, и пока в это время моя Тамара ходит туда и сюда вдоль прохода в обнимку с совершенно чужим мужчиной, пожившим морским офицером /не таков ли был ее отчим, не так ли клал ей руку на спину?/, а равнодушно-остервенелые парни дуют в свои скрипучие дудки, чтобы даже вблизи я не слышал, о чем они там говорят, — пока я вот так на своем коньке еду сразу по двум дорогам, теряя жену и голову, — две-три странные мысли посещают меня внезапно, вырастают, как чудища, среди мутного хмельного озера.

Я думаю, что жизнь наша вовсе не непрерывна, как кажется с первого взгляда, что она не течет, "как река", но образует отдельные сгустки. И как редка жизнь в пространстве, в космосе — один крохотный островок на сколько-то там десятков световых лет — так редка она и во времени: одно мгновение жизни на часы и дни промежутка. После пяти рюмок водки это кажется мне откровением. Все люди, думаю я замутненно /мне-то кажется — озаренно!/, длят и тянут свои промежутки ради этих редких мгновений жизни, прошлых и будущих, и хотя сами вспышки кратки, как молнии, но ощущение жизни сразу не исчезает, заряд ее падает по экспоненте, и можно тешить себя мыслью, что, как бы он ни был мал, а все-таки никогда не достигнет нуля, хотя бы теоретически. А тут, быть может, подоспеет новая вспышка, и так, глядишь, до конца и протянешь. Жизнь!..

Так естественно подхожу я к своей обиде, к простой и несправедливой мысли, что у всех-то людей — мгновения, сгустки и вспышки, у меня же — сплошной промежуток. Пустота, ноль, одна только видимость... Где-то я выбрал не ту дорогу, какую-то надпись не так прочел, не здесь, не у камня, а гораздо раньше, на позапрошлой развилке, давным-давно, быть может, еще до рождения...

Я уже не пью, но пьянею все больше, и когда мы, наконец, отсюда уходим, и я оглядываюсь в последний раз, ища подтверждения своим гениальным выводам, — то самих выводов уже нет у меня в голове, а лезет вдруг идиотская мысль, что вон та, например, девица в зеленом платье, у которой держит руку на колене ее пьяный, как я, дружок /на колене — это здешняя норма, но я-то вижу, что выше.../, эта яркая девица — непременно член партии, партбилет лежит у нее в той коричневой сумочке, и там, внутри, на маленькой карточке, погашеной, как почтовая марка, она выглядит иной, аскетичной и строгой, такой, будто нет у нее коленей, будто вся она тут, поместилась на карточке...

"Дурак! Он лучше бы напился — тогда бы не было сомнения..."

Свой законный приз я все-таки получаю: захмелевшая Тамара, неохотно возвращенная мне этим славным почтенным борделем, теперь близка мне, как никогда. Я чувствую это сразу, помогая ей одеваться, проводя, тыльной стороной пальцев, как бы случайно, по ее плечам, с пьяной заботливостью выпрастывая ее волосы из-под черного воротника пальто. Но когда мы идем с ней по пустым полутемным улицам, и она не просто держит меня под руку, а сцепив свои руки в кольцо, слегка повисает на сгибе локтя, и вдруг останавливается на затемненном перекрестке и целует меня — сама! — живыми и нежными губами, и я захлебываюсь этими поцелуями и, — вот она, моя вспышка! — как безвестный любовник Клеопатры, завтра же утром готов умереть /до утра далеко, далеко еще до утра.../ — но и в эти мгновения, ну, может быть, чуточку позже, шепчет мне дьявол на ухо вечные свои сомнения: а ты уверен, что это ты, что это т е б е? А быть может, и с другим?.. А с другим-то как раз несравненно бы лучше — это точно, это я тебе говорю! И она это знает — вот ведь какой кошмар!..

Мы встречались в скверике, у Самарского переулка, всегда в одно и то же время, если не было чрезвычайного случая. Разумеется, я приезжал задолго, выходил на остановку раньше, шел пешком мимо ее дома, потом возвращался — опять мимо дома — и еще минут за десять до срока садился на всегдашнюю нашу скамью или вставал у чугунной решетки, перебирая пальцами литые ее изгибы, все в чешуйках шелушащейся краски. Там, у ее занавешенных окон, я принимал свой первый заряд: представлял себе, как она одевается за шаткой зеркальной дверцей, поскрипывающей коротко, когда толкают ее локтем или коленом; как причесывается и красит губы, плотно сжимая их вместе, так что рот превращается в жесткую тонкую линию; как резко щелкает сумочкой и вешает ее себе на руку; и как вот теперь, когда я иду обратно, стоит у двери вполборота и что-то брезгливо-строгое выговаривает Герасиму.

И конечно, я всегда чересчур торопился, мысленно обгонял события, воображая уже в скверике, что тогда она еще не стояла у двери, иначе сейчас была бы уже здесь. Но и ждать ее мне тоже нравилось, и иной раз, честное слово, хотелось, чтоб она не приходила подольше. И не только по той всем известной причине, что предвкушение радости есть высшая радость, но еще и потому, что в эти минуты я был полностью свободен от всяких страхов. Мне было хорошо ожидать ее в скверике, только хорошо и больше никак. С нею же всегда — и хорошо и плохо. Она была больше со мной, пока ее не было, никаких огорчений не доставляла, и никто не мог ее у меня отнять. Она шла ко мне — этого, для начала, мне было достаточно. Но проходило еще минут двадцать, и я терял все свое благодущие, начинал метаться между сквериком и углом ее улицы, переходил дорогу и возвращался назад, ежесекундно оглядываясь и пятясь. Девушки, которых я издали принимал за нее, приближались поочередно, проявляя удивительное разнообразие черт, поражая меня каждый раз бесконечной воз-

можностью не быть ею. Но вот — о Господи! наконец! — уже рядом, уже на углу замечал я ее фигурку, в черном пальто, тонко обтягивающем талию, или в черном жакетике с узкими рукавами, или в сером платье, или в белой блузке /всегда одевалась только в черное-белое-серое — простые цвета фотоснимков и снов/ — и сразу же удивлялся, как мог принимать за нее других, так это было теперь немислимо, и тут же говорил себе, что и не было, что и не путал, а только нарочно себя обманывал...

Она шла легко, но не торопясь, изредка поглядывая себе под ноги. Зимой и во всякую холодную погоду она носила простые чулки в резинку, это придавало детскую незавершенность вполне женской форме ее ноги — и бесконечно меня умиляло. Старые туфли на низеньком каблучке с расслаивавшимися задниками я сам чинил многократно, все хотел купить ей новые — вместо двух, например, ресторанов — и не мог, не решался, не чувствовал права...

Она подходила, улыбалась по-своему, подставляла мне щеку, брала под руку... Если не было сыро, мы садились с ней на скамью: она — глядя прямо перед собой, нога на ногу, руки в рукава; я — весь обернувшись к ней, весь устремившись и цепко держась. Говорил, в основном, разумеется, я: сразу отмечал ее настроение, старался поддержать, если было хорошее, старался развеять, если плохое.

Рассказов моих она не читала, да я и не писал теперь почти ничего, так и болтались несколько прежних, да еще обрывки начатой повести. Она была в курсе — но не просила. Я был горд — и не предлагал. Лишь однажды /в тот самый день/ она заметила — легко, без всякого интереса:

— Почему рассказы, почему не стихи?

Я удивился:

— А что ты имеешь против?

— Да нет, что ж, мне все равно. Но мне кажется, никто не пишет рассказов, а все — только стихи.

— Как это — все? Кто это — все? Откуда же, по-твоему, берется проза?

— Ну, так то — настоящие писатели...

А! Старая дрожь в локтях и коленях:

— А ты уверена, что я не настоящий? Ты же ничего моего не читала!

— Ну, ну, не надо, не заводись, — снисходительно-грустный взгляд и эта ее улыбка... — Не надо, Сашенька, брось. Я ведь так... я и книг-то почти не читаю...

Но я уже почувствовал укол вдохновения, так важна и редка была для меня эта тема, так много всякого здесь накопилось, так хотелось кому-нибудь это высказать, и чтоб кто-нибудь понял и разумно кивнул и радостно согласился — и особенно ей, и особенно, чтоб она!..

— Нет, ты пойми, тут дело не во мне, тут важна общая закономерность. Вот ты говоришь, почему не стихи /ничего она больше не говорила, сидела молча, вполне безучастная, я же гнал свое, думая, что приближаюсь к ней и захватываю, в то время как удалялся и упускал/. Действительно, кто же не пишет стихов? Но на самом деле стихов-то никто и не пишет. Тут, понимаешь, происходит накладка. Потому что формальные признаки стиха гораздо более четки и различимы...

— Саш! — сказала она тихо, теперь уже опять на меня не глядя. — Ни к чему это, а? Не надо. Я ведь здесь все равно ничего...

— Ты поймешь! — заторопился я. — Ты поймешь, это очень просто! Я быстро, в двух словах. Ну вот, а поэзия-то вовсе не в этом, совсем не в этом, далеко от этого.

— В чем же поэзия?

— В г а р м о н и и! В гармонии — и только в ней. А уж это вещь непонятная, необъяснимая...

— Ну вот видишь, необъяснимая...

— Ну что ты, что ты, чудная ты, Томка, именно в этом-то все и дело, это и есть самое важное: понимать необъяснимость гармонии, принимать иррациональность поэзии и не лезть со своими дурацкими рифмами, если не чувствуешь Высшего Дара. Это просто позорно — писать стихи, человек со вкусом никогда не станет ...

— И ты?..

— Всерьез — никогда. Разве так, безделушки для стенгазеты...

— Значит, высший дар. А у тебя какой?

— Нет, ты не смейся /она не смеялась/. Я думаю, поэзия выше прозы потому, что главный ее результат, ну, понимаешь, то, ради чего все и делается, — есть не столько даже отражение жизни, сколько новое, не бывшее ранее качество...

Я спешил, я был переполнен словами, и все казались мне равнозначными, мешали друг другу, теснились у выхода — оттого и вырывались такими уродами. Я пытался выстроить их хоть по росту, придать им плавный, разумный ход — и терял окончательно ее внимание.

— Ну вот, — говорил я, — а с другой стороны, если взять формальные признаки прозы, то они совсем не столь очевидны, и поэтому...

— Я хотела тебе сказать...

— ...и поэтому не так уж много охотников...

— Ты знаешь, послезавтра я уезжаю.

— ...браться за это неблагодарное...

Я замолк, наконец.

— В пионерский лагерь. На Черное море. Вожатой...

Ну что ж, никуда мне от него не деться, этого следовало ожидать. Теперь, когда я вышел из подвластного ему возраста, он исхитрился мучить меня на расстоянии. Он усыпил мою бдительность, подарив мне Тамару, и сам же теперь у меня ее отнимает — изощренная пытка, ловко придумано! Неважно, что это уже другой, в другом лесу, по другой дороге, с другим забором, другими детьми — ах, да, не в лесу — на море, за две тысячи километров — все это одно многоликое чудовище, безграничное в пространстве и времени. На две только смены. Что ж, достаточно и двух. Разве я — и она — разве мы не знаем, чем занимаются вожатые в лагере? Первое же, что пришло мне в голову, был укромный, специально выстроенный шалаш, где застукали ребята нашу пухлую Веру с вожатым второго отряда Славой. Потом все ходили по лагерю и хором — хватало же наглости! — повторяли с ходу придуманное приветствие: "Слава Вере! Слава Вере!" — и в паузу, несколь-

ко тише, но так, чтобы было слышно, добавляли мерзкое, подлое слово...

Ничего я, конечно, ей не сказал, только спросил, как она оставляет Герасима. "С тетей Полей побудет", — ответила она в обычной своей манере, как будто я должен был знать, что еще месяц назад приехала какая-то тетя Поля, дальняя родственница из Новосибирска, старая дева, которая чуть ли не с детства тайно любила Герасима и теперь вот, кажется, наконец решилась и хочет "соединить с ним судьбу".

"Хорошее выбрала время, — сказала Тамара. — Он как раз в женихи поспел!"

Но я не смеялся над бедной женщиной, я-то вполне ее понимал.

Глава третья

1

Странная вещь — я почувствовал облегчение. Это было как бы затяннувшееся ожидание в скверике, где я часто теперь сидел в одиночестве, листал свою записную книжку, что-то снова пытался писать. Я еще боялся себе признаться, но кажется, перерыв пошел мне на пользу... Я работал в скверике у Самарского, если было сухо и не очень холодно, — этим словом р а б о т а я чуть ли не вслух называл теперь странное свое занятие. Был какой-то суровый покой в этом слове и не яркая, но неизменная радость — как бы чувство здоровья и физической силы...

В цехе я старался не оставаться: встречи с кофмановскими пассивами не доставляли мне теперь удовольствия. Иногда лишь, в плохую погоду, и если точно знал, что Кофман уходит...

И еще я ездил в Серебряный Бор. Рядом, в поселке, был чистый пруд, и ребята купались после работы. Но я предпочитал путешествие через город, не такое, впрочем, уж длинное: троллейбус от Белорусского, двадцать минут — и уже другой мир, ни города, ни поселка, ни работы, ни знакомых, тех, по

крайней мере, знакомых, которые на работе. Я шел в Татарово через лес, торопливо раздевался на пустеющем пляже и с ходу, еще не остыв, кидался в воду. Вот еще одна, можно сказать, стихия, где я чувствовал себя, как дома. Впрочем, дома я себя так не чувствовал... Отчего никогда мы не ездили с ней купаться? Я бы мог показать себя далеко не с худшей, а главное, не с безразличной ей стороны. Ну да, у нас ведь еще не случилось лета... На том берегу была деревянная набережная, витые, разноцветные ступенчатые спуски и безлюдные просторные раздевалки: то ли дача Булганина, то ли дача Фурцевой. Случайные пляжные мои приятели склонялись к тому, что именно Фурцевой, и довольно красочно изображали, как сюда, в тихую лунную ночь, в шаткой гондоле приплывает Хрущев, в сопровождении гитаристов и скрипачей, — петь серенады обожаемой Кате... Пока же, до сумерек, до скрипачей, здесь сновали лодки со стукачами, чтобы ни один простой человек не вылез на позолоченный берег. Я пытался их обмануть, подныривал под лодку, появлялся на поверхности уже с той стороны, а на окрики отвечал, что устал, — утону, не смогу дотянуть обратно. Но этому полуголому дундуку с непременной русалкой на правой руке было решительно наплевать. "Тони, тони, — кричал он мне хрипло, — тони, я тебе не спасатель!" И чувствовалось, что и вправду, спасать бы не стал, а тонуть — так может еще и помочь. Я уворачивался от весла и нехотя плыл обратно...

Я ложился влажной спиной на песок, сохранявший остатки дневного тепла, лежал, подрагивая всеми мышцами, смотрел в небо, в даль, в бесконечность, и не думал ни чуточки о Тамаре — то есть думал о ней непрерывно...

И вот однажды пришло письмо... Я не ждал никаких писем, я ждал ее возвращения — оставалось уже не больше недели. Полная была неожиданность. "Тебе письмо!" — сказала мама, ясно, громко и отчетливо, так что было слышно и понятно в отдаленнейших уголках нашей необъятной кухни. Наши тетки и бабки оторвались от лото и хором на меня посмотрели. Письмо лежало здесь целый день, и все они читали обратный

адрес. Я схватил его молча и сразу же отвернулся, ушел, исчез, провалился сквозь землю. Я читал во дворе, прислонившись спиной к глухой безоконной стене тамбура — так называли у нас пристройку с лестницей, ведущей на второй этаж. "Милый, милый мой Саша, здравствуй!" — это чеховское обращение сразу же меня резануло, что-то в нем было ненастоящее, неискреннее, не ее... "Плохо", — подумал я, дрожа, как в ознобе. Но дальше шло нечто, совершенно мне непонятное. Каждой своей клеткой я ощущал бесконечную важность написанных слов, но что они именно для меня означают: радость или несчастье — никак не мог оценить. "...Мне так плохо здесь без тебя — зачем ты меня отпустил?.. /Радость: ей тоже плохо, и я, оказывается, мог не отпускать!/. Я поняла, что никто мне так не близок и ни с кем мне так не хорошо, как с тобой... /Радость: я близок и со мной хорошо. Несчастье: ни с кем, и значит с кем-то тоже, не так хорошо, но было... Что? С ума можно сойти!/. Но, видно, нам с тобой не судьба... /Что? Почему?! Почему?! Что?!/. Так случилось... Когда ты получишь это письмо, все уже будет кончено... /Да что же такое, Господи! Нельзя же так издеваться над человеком!/. Я уже не буду прежней твоей Тамарой. И вообще не буду твоей... /Несчастье, несчастье, несчастье!/"

2

Ну зачем в одиночку, давайте посмеемся вместе. Это же так просто. С чего начнем? "Когда ты получишь... все будет кончено..." Вот. Обхохочешься над двусмысленностью этих слов. Дальше. "Я уже не буду прежней..." — тут еще кое-что добавить — и просто помереть можно со смеху. Ясно же, о чем — нам-то с вами теперь-то! — ясно же, о чем идет речь!..

Но знаете, нет, что-то мне и теперь не смешно. Не смешно и все, как хотите. Более того, мне грустно. И еще того более — тоска меня берет, свежая, цепкая, сегодняшняя как будто. И сердце жмет, и левая рука вот тоже... Это уж, видно, старость. Становишься чувствительным, как опереточный дядюшка, и слезливым, как пролетарский писатель. А это плохо, это ни-

куда не годится. Трезвость — главное в нашем деле, трезвость, трезвость и трезвость!..

Зачем-то я вернулся обратно в дом, прошел, так и держа письмо в руке, через весь бесконечный коридор, открыл дверь, вошел в комнату. Там сидела Марина и читала книгу. "Черт знает что, непонятно, кто к кому пришел..." — эта привычная мысль не вспыхнула, как всегда, а едва проявилась на краю сознания, там дрожала, как тусклое отражение, и даже, кажется, — справа налево.

Она резко подняла голову, просияла мне навстречу, как-то неловко и некрасиво открыла рот — но я уже выскакивал обратно, хлопал дверью, летел на улицу... Куда? — Туда. Далеко. Или просто "ко!" Я теперь, как младенец, изъяснялся одними слогами.

Я был как-то по-пьяному озабочен, шел пошатываясь, но торопясь, будто и вправду хотел куда-то успеть. Был конец августа. Серые сумерки, так меня раздражающие, быстро превратились в ночь: тень стала тенью, огни — огнями, эта определенность несколько успокаивала. Было прохладно, и это мне тоже нравилось. Иногда становилось почти совсем хорошо. Тогда я вытаскивал из кармана письмо и перечитывал на ходу, еще больше шатаясь и наталкиваясь на прохожих. Без этой подпитки боль моя уходила из сердца, но зато заполняла мозг. Я терял всякое чувство реальности, хотя сам этот факт потери довольно четко осознавал, и это понимание собственного сумасшествия было еще страшнее боли. Ровные строчки, красивый почерк, прямые, почти чертежные буквы. Не рейс-федером ли написано?..

— Ого! — сказал Ромка. — Привет! Бывают же совпадения. Я его ищу, а он — вот он. Где это ты успел хватануть? На работе небось скинулись? Ты ведь у нас теперь работяга, гегемон, ничего не скажешь!.. И что, часто стал закладывать?

Лицо его выражало радостное сочувствие.

И вообще весь он был радостный, деятельный, боевой — принес же черт на мою голову! Институт он уже закончил, ра-

ботал директором магазина /"большой человек" — не ошиблась цыганка/, торопливо вступал в партию и готовился лезть в гору.

— Слушай, ты еще можешь соображать? Это ведь не ты мне, это я тебе нужен, понял? Помнишь, ты просил узнать насчет комнаты?

Да, насчет комнаты, конечно... Зачем она мне... теперь?... А напиться, и верно, было бы хорошо. Как это мне сразу не пришло в голову? Вот он для чего пригодится, старый-то дружок! Я почувствовал даже некоторое к нему расположение.

— Ромка, — я взял его за руку, — давай напьемся? То есть, я хочу сказать, выпьем? Да нет, ты не думай, это я просто устал, могу дыхнуть, если не веришь...

Он посмотрел на меня внимательней.

— Да-а, вид у тебя какой-то... Странный ты человек, Сашок, очень странный ты человек. Не пойму я тебя. Может, и вправду нам выпить, а?

— Да, да, выпить, выпить!..

— То был в классе самый способный, а то — рабочим работаешь...

— Я же не прошел...

— Да знаю я, не прошел. Другие, глупей тебя, проходили же. И евреи тоже. Вот я... Все устроены, только ты один такой.

— Я тоже устроен. Кончай трепаться.

— ...И с бабами у тебя тоже как-то...

— Кончай трепаться!

— Ну ладно, не буду. Скоро придем. Вот еще один квартал — и как раз этот дом. Это у меня продавец такой есть, Федя, хороший парень, только чокнутый от рождения. Идиот, но добрый и честный, я на него могу хоть миллион оставить...

— "Федя" — таких имен сейчас не бывает, — сказал я тупо, ни о чем не думая, что само по себе было уже хорошо. — Последними Федями были Сологуб и Шаляпин. Нет, еще Гладков и Панферов. Ну, этих можно не считать... Теперь это имя для детских стихов. Так же, как, например, Фома. Очень удобно

рифмуется. Особенно в родительном падеже. У Федя — медведи — соседи — беседе...

— Это я не понимаю, что ты там говоришь. Федя его зовут и все. Так его папа с мамой назвали. А недавно он женился. Век бы не поверил, что он женится, но вот — женился-таки. Жена у него — баба хитрющая, противная, но здоровая, и думаю, вряд ли у них что-нибудь там получается, и пошла она за него совсем для другого...

— Для чего же?

— А у него родители богатые, отец всю жизнь профессором работал.

— Ну, слушай, наследство, что ли? Это ж девятнадцатый век!

— Х... тебе девятнадцатый! Самый что ни на есть двадцатый. А Федя парень толковый, хоть и идиот. Книжки читает не меньше твоего...

— Спасибо.

— ...в оперу ходит, на концерты... теперь вот он комнату хочет сдать, а сам переедет к жене. Это не сейчас, с первого октября, но договориться надо заранее, чтобы он других не искал. Комната — во! В самом центре, возле Маяковки...

— Постой, — сказал я. — А с водкой к ним можно?

— Можно! Он меня с чем хочешь примет.

— Тогда зайдем в магазин.

Не перестаешь удивляться собственному хитрому устройству, гибкости организма, многослойности психики. Только что было мне — хуже некуда, не на грани, а по ту уже сторону, и вот — сижу за столом, как ни в чем не бывало, пью водку с Ромкой и Федей, не забыл, но и как бы не помню, говорю, слушаю, пью — живу! "Мне нельзя", — говорит Федя и покорно подставляет стакан. Он, кажется, действительно, неплохой парень, высокий, широкий и плоский, как вяленый лещ, с длинными залысинами, переходящими в пологий шизоид-

ный лоб, с большими влажными губами и оттопыренными ушами, — но с хорошими глазами, чистыми и почти умными.

— Вы не беспокойтесь, — говорит он мягко и обстоятельно, — соседка Фира Матвеевна вас не стеснит. У соседки Фиры Матвеевны есть на кухне свой столик, а у меня есть свой столик на кухне, и вы этим столиком сможете пользоваться, потому что вы ведь будете жить в моей комнате.

Он произносит небное "л", его "с" похоже на английское "th", да и все другие согласные как бы выписываются в воздухе уродливыми, кривыми, покалеченными буквами.

— Вот, — говорит он, — шкаф трехстворчатый, диван почти новый, приемник "Урал", магнитофон "Днепр", проигрыватель "Концертный"... Всем этим вы можете пользоваться, я вам вполне доверяю, потому что вы друг Романа Евсеевича, а Роману Евсеевичу я доверяю вполне...

— Ну, порядок, — говорит Ромка. — По рукам. Триста рублей в месяц, с первого октября. А сейчас мы пойдем по домам, скоро и жена твоя придет, ты тут прибери, чтоб она не ругалась. Она у него вечерами к тетке ездит, понял? К тетке — понятно? И давай-ка, спой нам на прощание. Знаешь, как он поет! — он подмигивает мне и тихонько добавляет: — Упишесь!

Федя смущен.

— Может, я включу магнитофон? Я записал на магнитофон это свое исполнение...

— Какой магнитофон? Не-ет, ты сам спой, это же совсем другое. Не стесняйся, артист не должен стесняться! Верно, Сашка?

По своим меркам я выпил довольно много, мое плавающее внимание выхватывает из окружающего то одну, то другую деталь, игнорируя все остальное, и когда Федя встает над столом, в голубой майке, с широкой белой безволосой грудью, то я вижу сперва эту майку, потом банку камбалы в томате на заставленном чем-то еще столе, а затем уже его рот, красный и влажный.

Забывшие стихи приходят мне в голову:

**...Веревкой черной подпоясан,
Белесоглазый, власолобый,
Слюняворотый идиот...**

Я их гоню от себя, потому что это обидные, нехорошие стихи, а Федя — замечательный парень, что бы мне такое для него сделать...

Во рту у Феде что-то булькает, и только когда он уже начинает петь, я с опозданием понимаю, что это он сказал "Глюк". "Глюк", булькает Федя и начинает петь:

**Потерял я Эврикиду,
Нежный свет моих очей.
Рок суровый, беспощадный!
Скорби сердца нет сильней...**

Господи, что же это со мной происходит?! Никогда меня не трогала эта ария. То ли я бывал трезв, то ли просто в другом настроении, то ли исполняли ее известные тенора — сытые, здоровые, нормальные мужики. Здесь же... как бы это передать? У него был отличный слух, он хорошо чувствовал все изгибы мелодии, но ему не хватало дыхания, и голос его тонко дребезжал на этих изгибах, и уродливые буквы проталкивались бочком, жалуясь и прося сострадания. И была в этом правда, недоступная никакому тенору. Весь этот дурацкий оперный пафос, вся бессмыслица неуклюжего перевода, с нагромождением родительных падежей: то ли скорби, то ли сердца, то ли нет, то ли есть — все это в федином фантастическом исполнении становилось возможным и даже единственным. Да, именно так: рок суровый!.. Да, смешно и жалко. Но если жалко — то уже не смешно. Да, пусть родительный — но и пусть именительный: скорби сердца... Сколько их накопилось, этих скорбей, сколько еще впереди?..

Передвинув свой взгляд вместе с головой, я вижу Ромку. Он сидит слева от меня, упираясь локтями в стол, прикрывая ладонями смеющееся лицо. Я отворачиваюсь. Я не хочу на него смотреть. Нехороший, чужой человек. Мы с Федей —

одно, а он — другое. Пой, Федя, пой, не обращай внимания.

**Потерял я Эврикиду,
Нежный свет моих очей...**

Шепелявые буквы, тоненький голосок...
Пьяные слезы текут у меня по щекам.

4

Она загорела, это удивительно. Никогда раньше не загорала. "Так то здесь, а то — на юге. Там — хо! — там загорись!" Страшная бездна неведомого "там" открывается мне в этих ее словах. Там все иначе, там другая жизнь, не имеющая ко мне никакого касательства. Да что, Господи, достаточно простого соображения: сколько времени надо пролежать полуголой на пляже, под мужскими дотошными взглядами, чтобы ей, незагорающей, так обуглиться?! И кто пройдет мимо, не заговорит, не заденет? Разве такой же слюняй, как я... Да — дети, пионеры... Но дети не помеха. Даже наоборот. Я не раз замечал, что дети создают некий тревожный, будоражащий фон, их близость вносит добавочное волнение...

"Томка, — говорю я, решившись, — скажи, что случилось?"

Это обращение сегодня звучит фальшиво. Я не чувствую ее близости, даже той, что была до отъезда. Какая она мне Томка, дай Бог еще, если Тамара!

"Ничего не случилось". — Она смотрит на меня ласково /Точно ли? Кажется, да.../, но и как-то строго. Не надо, не надо больше спрашивать, но я проскакиваю уже по инерции:

"А письмо? Как же письмо? Что, все неправда?"

"Почему неправда? Правда, что было мне плохо".

"А теперь?"

"А теперь хорошо..."

Вот и весь разговор.

Мы сидим в электричке, едем в Текстильщики на какую-то вечеринку, к ромкиным близким знакомым. "Видел я твою бабу, — сказал мне Ромка /всех-то он видит/. — Ничего не ска-

жешь — перший класс! Значит, та самая? Докопался? Стоило! Молодец. Завидую. Ты бы пришел с ней как-нибудь вместе, у нас компания — во! Все свои, и парни и девки, весело, по-домашнему..." Я был уверен, что Тамара откажется, но она с готовностью согласилась. Никогда ничего я не знал про нее заранее!

И вот мы сидим в электричке, народу полно, и двое нищих входят в вагон. Один — слепой, рябой, с плотно сомкнутыми веками, с большим немецким аккордеоном. Второй — без ноги, на костылях, с опрокинутой кепкой в руке. Он весь зарос бородой, как Герасим, но борода у него темная, почти черная, вид страшный.

Они весело проговаривают свой эстрадный речитатив, деля его на периоды, произносимые поочередно.

— Дорогие товарищи!

— Уважаемые граждане!

— К вам обращаются два несчастных калеки

— Два инвалида

— Проливавшие кровь за вас

— И за ваших детей!

— Дорогие граждане!

— Уважаемые пассажиры!

— Не оставьте калек помирать от голода

— Окажите последнюю милость

— Помогите вашей трудовой копеечкой

— Пострадавшим в жестоких боях

— За нашу родину

— И за ваше безмятежное счастье!

— Не смей! — она хватает меня за руку. — Ничего не давай.

Я их всех ненавижу! Сейчас насобирают и пойдут пьянствовать; и над тобой же еще посмеются.

— Ну и пусть пьянствуют, что им еще остается? Мое дело подать, а уж как они эти деньги истратят... И потом, не у каждого такая дочь...

— Я не хочу, чтобы ты говорил об этом. Мне это больно, понимаешь?

— Понимаю. Прости меня.

— Прощаю. И не надо мне твоих комплиментов. Я и его ненавижу. Я бы всех их заперла куда-нибудь и держала...

— В тюрьму? Это сейчас и без тебя делают. Уж не знаю, как эти-то уцелели.

— Специально для тебя оставили. Радуйся!

— Я и радуюсь. Ты не знаешь, что такое тюрьма. Ты бы послушала моего Якова — стала бы радоваться за каждого, кто туда не попал.

— Ну, тебе-то, например, не грозит ничего такого...

— Почему же это не грозит? От тюрьмы и от сумы — знаешь?..

— Болтовня. Не люблю я эти пословицы.

— А Яков любит. Только он считает, что сума — это сумма, или сумка с деньгами. От тюрьмы и от сумы — не зарекайся...

— Болтовня. Если ты честный человек...

— А 37-й? А все остальное?

— Господи, так то когда было!

— Ничего, и теперь кое-что найдется. Еще передачи мне будешь носить. По восьмым числам — на букву "З".

— Перестань, не надо!

— Хотя нет, не будешь. Обрадуешься, сразу же выскочишь замуж...

Впервые в разговоре с ней я произношу это чужое, странное, постороннее слово. Медленным мягким движением она забирает мою руку, кладет ее себе на ладонь, накрывает другой ладонью.

— Не надо так говорить, хорошо? Никогда так больше не надо, ладно? Не будешь так со мной говорить?

Не буду, хочу я сказать. Никогда. И еще какую-нибудь такую клятву, в чем-нибудь таком, навсегда, навеки... Но вот — как мало мне надо! — тугой комок уже подкатился к горлу, и я только молча киваю: "Все будет, как ты захочешь!"

А слепой играет, а безногий поет, и вот они стоят уже против нашего купе и смотрят прямо на нас. То есть смотрит, ко-

нечно, зрячий, но и закрытые веки слепого направлены точно сюда же. Зрячий трогает локоть слепого, аккордеон неожиданно замолкает.

"Тимохфей! — громко взывает безногий в полной почти тишине. — Тимохфей, посмотри сюда! Да, я знаю, Тимохфей, ты не можешь смотреть, подлые фашисты в смертельном бою выбили твои ясные очи. Не жалею об этом ни капли, это я тебе говорю, твой друг Михаил! Потому что я знаю твое чувствительное сердце. Если бы ты, Тимохфей, был зрячим, как я, ты бы снова ослеп сейчас, глядя на эту невиданную красоту!"

"Сволочь!" — шепчет Тамара, отворачиваясь к окну.

Тянутся головы — разглядеть невиданную красоту. Кое-кто встает с места. Слепой Тимохфей неподвижен, как камень, молча ждет окончания репризы. Я делаю шаг к безногому Михаилу и протягиваю ему трехрублевую бумажку. Но он — увы! — не торопится ее взять. Так я стою с протянутой рукой — не он, а именно я! — он же продолжает говорить, уютно повиснув на костылях, патетически вытянув руку над высоким, неестественно вздыбленным плечом.

"Ты не видишь, Тимохфей, но я-то пока еще вижу. Мои глаза, Тимохфей, — это твои глаза. Что же видят твои глаза, Тимохфей? Они видят сердечного друга этой красавицы, лучшего в мире парня. Все, что имеет, он отдает несчастным калекам. Но что поделывать, Тимохфей, если нет у него ничего за душой, кроме этого жалкого трешника?!"

Весь красный и потный, я начинаю уже делать обратное движение, когда жалкий трешник вдруг выскальзывает из моей руки и легко впархивает в кепку безногого.

"Что ж, — говорит он, вздыхая. — И на том спасибо!"

Все. Его роль исчерпана. Он замолкает и гаснет, как выключенный приемник. И тогда с той же электронной неотвратимостью оживает слепой. Аккордеон его звучит, как шарманка, — механически ровно и монотонно, безо всяких вариантов от куплета к куплету. И поет он чистым и ровным голосом, и в точности следует за мелодией, не опережая и не запаздывая, и если бы не движения губ, то казалось бы, что и слова песни извлекаются им из того же аккордеона.

**Ниночка, моя блондиночка,
Подруга дней моих суровых на войне.
Ах, Ниночка, моя блондиночка,
Родная девушка, ты вспомни обо мне...**

"Будь здоров, сынок! — говорит, встрепенувшись, безногий. — Будь здоров, сынок! — говорит он голосом Герасима. — Береги ее — она у тебя одна. Поверь старику Михаилу — такую два раза в жизни не встретишь!.."

И они уходят дальше, уходят дальше, направляясь в другой вагон, и слепой все поет и играет, уже не громко, уже вполголоса, не так уже, кажется, механически, а чуть ли не для себя.

**Ах! Где ж! Ты! —
Ниночка, моя блондиночка,
Родная девушка, ты вспомни обо мне!
Родная девушка, ты вспомни обо мне...**

5

Зря я поддался на ромкины уговоры. Очень скоро я понял, что не надо было мне приходить. С Тамарой — ни в коем случае. Нет, совсем не то, что вы думаете. Там была вполне семейная атмосфера, все закреплены друг за другом попарно, никаких нарушений, разве что танцы. Танцевали, пили, болтали, шушукались — все, как в культурных домах. Но тут при мешалось одно обстоятельство... Такая сложилась компания... Слишком, что ли, семейная атмосфера... Как бы это сказать?

Вот уж, действительно, исцелился сам! Сколько раз, как провинившийся школьник, я должен написать это проклятое слово, чтобы приучить к нему, наконец, осторожное ухо и стесненный язык, чтобы оно звучало естественно и просто, как, к примеру, — не скажу "англичанин", но хотя бы — "литовец" или "узбек"? Сколько раз — миллион, миллиард? Жизни не хватит...

Так вот, такая сложилась компания, что хотя никто из них толком не знал языка, тем не менее все избегали говорить по-русски, находили хромые эквиваленты, кое-что действитель-

но вспоминали, лепили артикли и нейтральные формы. Так сказать, подъем национального сознания...

/Мне тяжело об этом писать. Я не чувствую ритма собственной речи./

Мы пришли позже всех, и я ни за что не ручаюсь, но они могли успеть сговориться. Нас окружили особой заботой, особым насмешливым вниманием. Буквально окружили — водили хороводы, пели и танцевали, оставляя в почетном центре, не приглашая к участию. Несколько раз пытались нас разделить, оттереть меня во внешний круг, оставить в центре одну Тамару. Словом, было несколько постыдных моментов, когда мне хотелось крикнуть, как Герасиму... И потом каждый раз я не столько им, сколько себе самому в этой ситуации ужасался.

Эту тонкую пытку придумал, конечно, Ромка, и я вполне представлял себе его хитрые, далеко идущие планы. Но так здорово все было сочинено, что и придраться ни к чему не возможно. А то, что они надрывались и лезли из кожи вон, и мычали, как глухонемые, вспоминая нужное слово, и в конце концов, в дурацких своих хороводах повторяли один и тот же круг, ограниченный тремя десятками приевшихся слов, — это еще надо было осознать, понять, доказать, сформулировать! Мне было не до формулировок.

Поначалу Тамара, как купринская Олеся, старалась быть терпимой и доброжелательной, принужденно улыбалась и даже кивала, проявляла необходимую широту. Мне было больно на нее смотреть: она выглядела жалко и одиноко. Но потом она поняла, погрузилась и затаилась, пересела в угол и велела мне принести ей водки.

"Мы т ы н з, м ы т ы н з!"* — завопил Ромка, вырывая у меня бутылку.

"Пошел вон, дурак!" — сказал я ему отчетливо. — я надеюсь, ты еще понимаешь по-русски?". Он оглянулся на девушек и отступил.

*С нами, с нами.

/Как неуютно на этой странице, скорей бы она уже кончилась! Там, впереди, воссияет свет — но здесь я еще не знаю об этом. И вот — тяжело, тяжело мне писать, будто мыло режу ножом.../

Мы выпили с ней по полстакана в своем углу, причем все как-то погасли и отступили, наблюдали за нами издали. Потом, пошуршав, пошептавшись, уселись за стол — продолжать отдельное свое веселье. Тамара встала, мы вышли с ней в коридор, и едва затворили дверь, как услышали словно бы общий вздох, словно все впервые глотнули воздуху, и легкая русская речь посыпалась вперебивку; они галдели, как дети, едва научившиеся говорить, впервые почувствовавшие вкус этого чудесного способа общения...

Я вдруг настроился благодушно, не испытывал уже никакой досады, вот только не мог разыскать плащи и все тискал сноп висевшей одежды, обрывал чужие вешалки, поднимал, нацеплял за петлицы на едва обозначившиеся крючки, ронял, поднимал и ощупывал снова. Я был пьян, и Тамара, видимо, тоже. Наконец мы их все же нашли: они висели поверх остальных, мы ведь пришли последними. Но зато дверей оказалось удивительно много, весь коридор состоял из дверей, хотя была это отдельная квартира, и соседей, вроде бы, не ожидалось. Я ткнулся в одну в поисках выхода — она была заперта наглухо, безо всяких следов, только темная скважина под самой ручкой. Тамара толкнула другую — и это был выход, но не тот, что мы искали, а гораздо лучше...

"Поди-ка сюда, — сказала она тихо, — как ты думаешь?.."

Там была кладовка, или чулан, или что-то другое в этом же роде, какая-то большая подсобная комната, с висячими полками и узким окном. Оцинкованное корыто, банки, ящики, деревянные гнутые санки; старые стулья, вверх ножками, друг на друге; плетеное дачное кресло-качалка... Зацепившись пружиной за шпингалет, висела рваная раскладушка. Сероватое тусклое свечение обрамляло ее закругленный контур: начинался рассвет — так много прошло уже времени...

"Ну как?" — она взяла мою руку, положила под свою, как

под крылышко, я слегка касался ее груди и видел ее замутившийся взгляд, и весь заходил от того и другого, и, Господи, губы ее — неужели я мог их поцеловать? — и то ли трезвел, то ли пьянел еще больше, но прежним уж точно не оставался...

Мягко, одними пальцами она оттолкнула мое лицо.

"Заманчиво, а?.. — сказала она. — И задвижка есть изнутри..."

Как светло в этом городе! Холодно и светло...

Мы с ней медленно идем по улице, по ее улице, к ее дому, вот он уже показался издали. "Осень, прозрачное утро..." — напевает она тихонько. Как же так, думаю я, как же мир разумно и просто устроен! Вот нас двое на свете, и никто нам больше не нужен, и ничто нам не нужно, ниоткуда и ни от кого. Каждый из нас за высшее в мире блаженство платит другому таким же блаженством, и вот эта гармония и есть, наверное, счастье — если это слово вообще хоть что-нибудь означает...

Так я говорю себе, вполне искренне и убежденно, и ловлю себя вдруг на том, что мне надо так говорить, что без этого — мне и теперь не будет покоя. С удивлением я обнаруживаю, что тревога моя, хоть и правда чуть притупилась, но совсем не исчезла, по-прежнему тут, со мной неотступно. И уверенности — того, чего больше всего я желал, — уверенности по-прежнему нет никакой!

Угол, арка, двор, поворот, ступенька — и огромная необъятная дверь.

Какое-то болезненное, истерическое состояние охватывает меня. Я чувствую, как весь сотрясаюсь, и слезы — не скупые мужские, а постыдно-обильные, детские, — застилают мне глаза, заливают лицо, капают на ее холодные руки, которые я выцеловываю исступленно...

— Господи! — говорит она с удивлением и испугом. — Неужели ты так меня любишь?!

— Да! — отвечаю я глухо, почти неслышно. — Да, т а к!..

— Ну, вот, — говорит симпатичная женщина в наброшенном на плечи пальто. — Вот вам адрес вашей знакомой.

Она подает мне в окошко исписанный мною бланк. На свободных строчках чужим красивым почерком, яркими красными чернилами выведен адрес: Стрелковая, 18, квартира...

— Нет, — говорю я, это не то. Там она уже не живет, она переехала...

— Других сведений не имеется, — говорит симпатичная женщина. — Не могу вам ничем помочь. Может быть, поспрашивать у соседей?

Немного кружится голова. То ли ложная память, то ли и вправду все уже было?

— Ничего, — говорю я, — не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ладно, ничего...

Но и сам я, странная вещь, не могу сказать, что волнуюсь. Мне грустно, это верно, но как-то спокойно грустно. Я как будто знаю нечто такое, помимо справочного бюро. Я знаю, что дело сейчас не в адресе. Ну спрошу у соседей, ну встречу на улице... Я решил, я выбрал, вот что главное, все дальнейшее — не о т в р а т и м о . А так ли это будет, как я представляю, так ли, как буду потом вспоминать, или, может быть, как-то еще иначе,— этого мне все равно не выяснить, ни теперь, ни потом. Потому что всякая память — ложная память. Вот ведь что-то со мной случилось важное, сейчас, в текущем еще мгновении, а уже я не помню, что, а если и помню, то не так уже ясно, чтобы в точности рассказать...

Я иду по улице, широко распахнув пальто. От дождя не становится прохладнее, наоборот, такое чувство, будто это мой собственный пот льет с высоты, добавляясь к испарине.

Черт знает, что, думаю я. Черт знает, что! В пиджаке уже холодно, в пальто еще жарко, как ни крути, а плащ покупать придется. Может, мама подбросит сотню-другую из тех, сэкономленных по мелочам, специально для меня утаенных от Якова?..

Последняя глава

— Что это вы кофе вздумали, на ночь глядя? — спрашивает соседка Фира Матвеевна. — Или, может, у вас ночная работа? Язва, до всего-то ей дело.

— Да, — бормочу я, — работа. Тут... кое-что надо... чтобы успеть... А то, знаете...

Я вхожу в комнату, держа кофейник за ручку, обмотанную носовым платком. Марина уже проснулась...

Марина проснулась, и я тороплюсь изобразить улыбку.

— Отвернись! — говорит она с кокетливым смущением. Я с готовностью отворачиваюсь, ставлю кофейник на стол, сажусь.

— Какой сегодня день? — спрашивает она, шелестя и пощелкивая за моей спиной. — Вторник? Вторник. Значит, завтра среда, послезавтра четверг...

— Логично, — стараюсь я не раздражаться. — Если сегодня вторник, то конечно... Что вы знаете о причинности, мадемуазель?

— О причинности? Да что-то помнится по диамату... Если после события А... как-то там В...

— Если после события А непременно следует событие В, то событие А есть причина события В, так?

— Кажется так...

— Ну вот, значит среда бывает по причине вторника, а день — по причине утра. Верно?

"Иди ты... со своими дурацкими парадоксами!.. Тысячу раз изжевано до тебя. Нашел тоже время..." Но нет, она так не скажет.

— Верно, — говорит она нерешительно. — Хотя нет, конечно, неверно. А как же?.. Можешь смотреть!

Я не реагирую. Чего я там не видел?

— То-то и оно, что неверно. Потому что не в том вовсе дело, какое событие за каким. Причиной прошлого может быть и настоящее, особенно если смотреть из будущего...

— Не понимаю.

— Ну, к примеру, человек был счастлив в прошлом, но принял это только сейчас, в настоящем. Значит, только в настоящем стало реально это прошлое. Понимаешь? Сегодняшняя тоска — причина вчерашней радости. Ну, или наоборот, сегодняшняя радость...

— А у тебя — так или наоборот?

— Дело не во мне, это я для примера.

— А все-таки?

— Дело не во мне! Прошлое в нашей памяти не предшествует настоящему, они существуют одновременно. Что раньше чего — это вопрос схоластический. И мы никогда не поймем самих себя, если будем выстраивать события в линейный последовательный ряд...

— А если не будем — поймем?

— Не знаю... Это вопрос таланта. Возможно, кто-нибудь и поймет.

— Ты, например.

— Не я, успокойся.

— Я спокойна. Можешь обернуться, я тебе ра зрешаю .

Она стоит возле шкафа, причесывается перед зеркалом. Не могу смотреть, как она вынимает застрявшие волосы из расчески... Я подхожу к магнитофону, включаю, жду, когда прогреется, и пускаю пленку — все ту же, всегда стоящую наготове.

**Потерял я Эврикиду,
Нежный свет моих очей, —**

поет идиот Федя.

"Нежный свет!.. — бормочу я себе под нос. — Не надо оглядываться — вот и вся мудрость. Предоставьте прошлое — прошлому..."

— Что такое? Ты мне?

— Нет, нет. Не обращай внимания...

"Не надо оглядываться. — Я снова приглушаю голос, так, что и сам уже не уверен, то ли я это говорю, то ли что-то во мне... — Не оглядывайся! — вот и надпись на камне. И не в

том дело, куда идти, направо, налево — какая разница! Живи без оглядки — и будешь удачлив и весел, и будет все твое при тебе. А оглянешься — пеняй на себя. И жену потеряешь, и коня потеряешь, и сам превратишься в соляной столб... Но кто же это такой супермен?.. Нет, боги играют с нами в беспроигрышные игры. Они не предостерегают, они пророчествуют. "Не оглядывайся, Орфей, не теряй!" — значит: оглянешься, потеряешь..."

— Тебе не надоело? — спрашивает она. — Если ты так любишь Глюка, я могу подарить тебе пластинку. С Козловским — хочешь?

— Нет, не хочу. Я люблю Федю. И предпочитаю именно в его исполнении.

— Как знаешь. — Теперь она красит губы, подрисовывает искусственный бантик поверх природного узкого контура. — Да, я хотела тебе сказать, мама уедет в пятницу...

— Да?..

— Уедет на два дня к тете Гале, и я смогу у тебя остаться.

Ты рад?

Нет, она не такая дура, просто ей любопытно посмотреть, как я вру. Это создает, по ее мнению, некий необратимый пейзаж, удобный интерьер для нашего с ней сосуществования. Сейчас я совру — и добавлю еще один мягкий пufик или там какую-нибудь скамеечку для ног...

Я выключаю магнитофон, подхожу к ней вплотную, беру за плечи, заглядываю в лицо.

— Кавалеров, — говорю я тихо и ласково, — Кавалеров, я скажу вам приятное...

Шуточки. Литературный аттракцион. Я уверен, что она не читала "Зависть". Но она читала. И где только взяла — не издавали же тысячу лет...

Следует небольшой скандал. Она уходит навсегда. Придет в пятницу...

"Сука, — говорю я себе в зеркало. — Сука ты, больше никто. А еще хороший человек..."

Но меня тут же передергивает от этого спектакля.

Кофе пить не хочется, и так уже на сердце стопудовая гиря, с каждым вдохом и выдохом я тащу ее вверх и вниз.

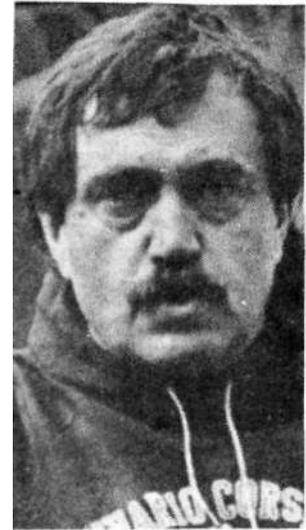
Молоком, что ли, разбавить? Но идти просить у Фиры Матвеевны... Можно, конечно, и вовсе не пить, но ведь надо же чем-то себя занять. Спирт весь кончился, да и не могу я один... Работать, писать?.. Не-ет, только не это! Что бы такое придумать, чтобы вовсе ничего не делать, но чтоб время все-таки шло?

Я перематываю пленку, останавливаю, включаю /совершенно нечем дышать/.

**Потерял я Эврикиду,
Нежный свет моих очей.
Рок суровый!
Беспощадный!
Скорби сердца нет сильней...**

Шепелявые буквы, тоненький голосок...
Все.

1974-75.
Москва.



Вас. АКСЕНОВ

ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ

/РАССКАЗ ДЛЯ БЕЛЛЫ/

Всякий раз, подъезжая к Помпее, вы думаете: вот райский уголок! От этой банальности не убежать. С верхней точки дороги, перед тем, как нырнуть в собственно помпейские пределы, вы озираете чудесно вырезанную линию берега, белые дома, поднимающиеся от бухты уступами среди вечно зеленой флоры, саму эту флору, в буйстве клубящуюся над городом и подступающую к отвесной ярко-серой стене горного хребта, защищающего город и берег от северных ветров, и всякий раз когда "все эти дела" (по современному выражению) появляются перед вами, вы ощущаете мощный подъем духа, некий полузабытый восторг, целесообразность вашего здесь присутствия, и в машине между ветровым стеклом и вашим собственным лбом проносится банальная мыслишка — "вот райский уголок!"

В тот год, в начале весны, я направлялся в Помпею с серьезными намерениями. Не менее месяца собирался я провести здесь вдаль от римской суеты и слякоти, надеясь завер-

шить трехлетний труд, отшлифовать капитальное сочинение по своей специальности. Книги и рукописи были детально подобраны и уложены в багажнике, там же находилась и одежда на всякие случаи помпейской жизни. Что касается этих "всяких случаев помпейской жизни", тут, надо признаться, я слегка сам с собой лукавил. Никаких "случаев помпейской жизни", строго говорил я сам себе, когда укладывал чемоданы. Утром — бег, днем — работа, вечером — прогулка, перед сном — радио. Кроссовки на толстой подошве, пишущая машинка, транзистор. Увы, с приморским этим городом в прошлом у меня было связано столь много так называемой романтики, такое количество вполне безобразных поощдений, что я почти инстинктивно, как бы и не замечая, набросал в чемодан изрядно фирменного барахла "на всякие случаи помпейской жизни", опознавательные клановые знаки нашего круга.

В те годы в нашем кругу принято было с первого взгляда казаться иностранцами, но со второго взгляда обязательно не-иностранцами, принято было слегка презирать как своих, таких уж явных не-иностранцев, так и иностранцев, таких уж отъявленных не-своих.

Итак, набрасывая в чемодан разные там лондонские фуляры и джемпера, я сквозь всю строгость своих намерений как бы допускал, что Помпея меня все-таки "засосет", однако, набрасывая все это небрежно, не глядя, я как бы говорил себе, что если и засосет, то ненадолго, что это будет всего лишь р а з р ы д к а посреди трудов праведных.

Номер мне был забронирован в старинной интуристовской гостинице "Ореанда" окнами в пальмовый палисад. Среди пальм почти невидимая с набережной стояла крашенная под бронзу гипсовая скульптура Исторического Великана. Странная фантазия уpekла его сюда, во внутренний двор гостиницы, где широкие массы не могли насладиться его созерцанием. Да и сама фигура, если отвлечься от того, что она в себе воплощала, выглядела довольно странно: в тяжелом пальто среди лиловых цветов иудина дерева и листьев магно-

лии, под пальмовой сенью стоял псевдобронзовый господин и держал перед собой свою правую руку ладонью вверх, будто взвешивал на ладони арбузик или поддерживал титьку какой-нибудь молочницы.

Забавно, я нисколько не был раздражен этим соседством, напротив — фигура, скрытая от всех, за исключением меня, да еще нескольких постояльцев "Ореанды", показалась мне вдруг симпатичной и даже в чем-то близкой. Я отделил этого с в о е г о Исторического Великана от многих миллионов других его изображений и вообразил его себе гипотетическим собеседником, оппонентом и оценщиком в трудах праведных.

"Ореанда" стоит на набережной, прямо над морем. Бросил чемодан и марш — акклиматизироваться. Традиционный процесс "акклиматизации" творческого человека в Помпее. Вы сидите с манускриптом своего заветного опуса на гальке в трех метрах от Средиземного моря, смотрите на страницу, где начертано что-то вроде такого "к выводу, основанному на теории возмущений, можно подойти и с другой точки зрения, применив его к распаду системы, происходящему под влиянием каких-либо возмущений, где E_0 есть уровень энергии системы при полном пренебрежении возможностью ее распада", повторяете чеканные эти строки, в то же время соприкасаетесь с извечной прародиной, слушаете, как волна перебирает гальку, вбираете запахи вечной бодрости и отрады.

Старайтесь отвлечься от набережной с фланирующей толпой отдыхающих варваров, от фасада гостиницы, одетого в леса, по которым таскаются бухие маляры, не поглядывайте и на кафе, в огромном окне которого на втором этаже восседают знакомая римская компания.

В компании этой, разумеется, верховодили и платили за всех два-три грузина, провозглашавшие непрерывные тосты за Арабеллу.

— Ара-белла! — говорит грузин, держа свой бокал навесу над столом.

Все смотрят на бокал, словно на шарик гипнотизера.
— Ара-белла!

Забавно, что "ара" в грузинском языке частица отрицания, и, провозглашая нашу знаменитую Арабеллу, грузины как бы пьют за какую-то свою таинственную Не-беллу.

Арабелла за столиком кафе встала и протянула мне стакан вина. Мы с ней были отдаленно знакомы, и вот теперь она с тихим приветом протянула мне то, чем была богата в этот момент — свой напиток. Рука ее прошла сквозь стекло и, высунувшись по запястье, предлагала мне сейчас что-то хорошее.

Впоследствии, если пойдет речь, обязательно объясню, что с того ракурса, в котором я находился в тот момент, из той плоскости, которая меня в тот момент пересекала, я просто не мог увидеть ни Арабеллу, ни тем более стакана с вином.

Тем временем к окну кафе по лесам непринужденно приблизился маляр, взял из руки стакан и бойко поклонился. Он оставил было уже мизинчик, чтобы благородно употребить благородный напиток, как вдруг прервал волшебную процедуру и заорал куда-то могучим голосом:

— Николай, ложь кирпич! Приказываю — ложь кирпич! Ложь кирпич взад, стрелять буду!

Стрелять ему было решительно нечем. Впоследствии это обстоятельство широко обсуждалось на набережной. Чего ж он кричит — стрелять буду, когда стрелять нечем. Орет, понимаете, стрелять буду, а чем ему стрелять. Вот народ — кричит: стрелять буду без всякого огнестрельного оружия, что ты будешь делать, какие хвастуны.

Гуляющие посмотрели, кому это маляр так слишком громко кричит, и все увидели еще одного маляра в заляпанной спецовке, который, стоя вблизи на лесах, малярил балкон третьего этажа. Малярил за милую душу, вяло и грубо, сморкался в рукав, ничего не подозревая. Над ним, над этим вторым маляром, между тем на балконе стоял третий, который и целился кирпичом своему сотоварищу в темя.

Притянувшееся мгновение.

Раз) Первый маляр держал стакан хорошего вина. Второй маляр держал кирпич, целясь третьему в темя. Третий маляр держал кисть в слабой и пьяной руке.

Два) Второй маляр обрушил кирпич на голову третьему маляру. Третий маляр упал с лесов на асфальт и там раскинулся. Первый маляр выпил стакан вина.

Три) Первый с пустым стаканом в руке бросается куда-то — то ли жертву спасать, то ли хватать преступника. Второй, со спящей улыбкой, заливающей лицо, вторым кирпичом добивает третьего. Третий, дернувшись, поворачивается на спину и вновь раскидывается широко и свободно.

Растекается темная лужа.

Набережная взорвалась криками:

— Это он его за бабу, за бабу, за бабу свою!

В дверь на балконе ломались отважные. Убийца, залитый спящей улыбкой, перелез через перила. Кувырком вниз полетело его тело, ударилось о балкон второго этажа и рухнуло мешком на асфальт рядом с жертвой. Тут же начала растекаться вторая темная лужа.

За бабу, за блядь, за парикмахершу Светку, из ревности, как в опере Бизе, два хороших специалиста, среди бела дня, и не сильно выпимши даже.

Уравновешенно шумела толпа отдыхающих под надзором дружинников. Подъехала надлежашая машина. Соответствующий персонал погрузил трупы. Машина медленно тронулась.

Из парикмахерской на набережной выскочила виновница событий. В распахнутом белом халате разнузданной плотью мельтешил ярчайший полистер.

Говорят, что и деток у них было двое, употребляет кто-то прошедшее время, будто и детки сплыли у Светки вместе с папашами.

Парикмахерша цапала руками "скорую помощь", рыжее чучело ее головы как будто катилось по крыше машины. Черные отпечатки пальцев. И такими руками они нас броют.

Впоследствии мне казалось, что именно с этого момента и началась гибель Помпеи. Будто бы этот фатальный инцидент и начал разруху курортного города со всеми его санаториями, ресторанами, скульптурами трудящихся и Исторического Великана. Будто маляр с кирпичом дал сигнал вулкану. Будто бы только тогда и появились завитушки дыма над скалистым отрогом, висющим в золотистом небе.

На самом деле, скорее уж если и была между этими явлениями какая-нибудь связь, то обратная. Дымок появился много раньше. Его никто долгое время не замечал, потому что жители и гости Помпеи, как ни странно, мало наблюдали природу. Они наблюдали в основном друг друга, ибо только в человеческом коллективе видели источник своих наслаждений, или, как сейчас принято говорить, "кайфа".

Замечать дымок стали только тогда, когда он, собственно говоря, стал уже *дымом*, однако приезжие полагали, что это просто местная достопримечательность, а местные думали, что это просто там в горах происходят просто какие-то эксперименты просто-напросто наших вооруженных сил. Военная мощь нашей республики как бы исключала возможность стихийной беды.

Никому, конечно, и в голову не приходило искать связь между розоватым дымком в горах и волной странных поступков, захлестнувшей побережье. Вспышка страстей в малярном цехе была лишь одним эпизодом в череде многих.

Рассказывали, например, такое.

Якобы, ранним утром на каком-то перекрестке был замечен инспектор дорожного надзора, который, сидя на крыше патрульной машины, брился перед огромным круглым зеркалом, установленным здесь для усиления безопасности движения, но отнюдь не для бритья.

Будто бы в баре "Карфаген" дружинники-фарцовщики как-то вечером поколотили голландского туриста. Они, видите ли, слушали старинную музыку, а он, понимаете ли, мешал, то ли товар какой-то предлагал, то ли с девочкой просил познакомиться. Этот факт в череде многих был, пожа-

луй, самым невероятным, учитывая особые отношения между голландцами и помпейской народной дружиной.

Ну, вот еще нечто. На танцах в клубе деревообделочного комбината какая-то пара разделась донага, продемонстрировала коитус и была не только не побита, но шумно одобрена танцующей молодежью.

Далее. Директор этого клуба, когда его вызвали на проработку в горком, явился туда с букетом горных маков. Замечательно, что букет был принят.

В тот же самый горком позвонил как-то режиссер римской киногруппы, снимающий здесь фильм из заграничной жизни, и предложил превратить весь город в съемочную площадку, то есть практически реставрировать в Помпее капитализм.

Пенсионеру-активисту Карандашкину, торгующему на набережной билетами государственной лотереи, какие-то злоумышленники надели на голову цинковое ведро. Из ста тысяч билетов, отобранных негодьями у пенсионера, не выиграл ни один. Между тем, Карандашкин направил открытое письмо ко всем честным людям планеты, а газета "Кузница здоровья" это письмо опубликовала. Завязалась нелепая полемика, остановленная только по прямому приказу идеологической комиссии.

Рекордом бессмысленной жестокости в те дни оказалось нападение каких-то бродяг на тигриный цирк. Огнетушителями они выгнали из клеток насмерть перепуганных зверей. Тигры эти уже в десятом поколении были цирковыми артистами и прыгали в обруч без всякой тренировки, просто по генетическому зову. Рассыпавшись по городу и столкнувшись со странными нравами помпеян и гостей курорта, они, естественно, одичали. Громоподобный рык этих несчастных тварей слышался в Помпее вплоть до ее последнего дня.

Происходили, впрочем, и какие-то маловразумительные акты добродетели. Как-то глухой ночью повара санатория "Родина" Матвея Тряпкина взяли за грудки какие-то трое и спросили — есть у тебя 50 рублей? Откуда у пьяного пищевода такая сумма? Налетчики обыскали бедолагу и, убедив-

шись, что не врет, подарили ему полусотенную ассигнацию.

Какая связь существует между поступками людей и состоянием огненной внутриземной магмы — прямой или обратной, косвенной или непосредственной? Никто не знает, все запутались. Розовая шапка над вулканом с каждым днем увеличивалась.

Ах, как мне работалось в те дни! Утром в пружинящих кроссовых туфлях я выходил из гостиницы и начинал бег по асфальтированному подъему из нижнего парка в верхний. В предрассветные эти минуты, когда темно-синяя гряда на востоке обозначает свой край с предельной четкостью, потому что вот-вот из-за нее выскочит солнце, у меня и башка варила отлично — страницу за страницей я озирал свой опус "Резонанс на квазидискретном уровне"; и весь мой паровоз быстро, ловко и синхронно разогревался — молочная кислота из мышц уходила во внешнюю среду, помолодевший гемоглобин расправлял опавшие альвеолы и эстетическая железа не дремала, а, напротив, просыпалась радостно и все с восторгом воспринимала — и кусты чайных роз, тайно и нежно зовущие в сумеречных углах под каменной кладкой, и сокровенное, слегка порочное шевеление набухшей персидской сирени, и восторженно-наивный запах мокрой от росы глицинии. Какие строки мне тогда удавались, какие строки! "Система, склонная к распаду, не обладает, строго говоря, дискретным спектром энергий. Вылетающие из нее при распаде частицы уходят на бесконечность". Такие строки!

Я завтракал прямо за рабочим столом, съедал заготовленную заранее пару холодных яиц, пил растворимый кофе и читал свои фразы в окно своему Историческому Великану. Он как обычно щурил свои варварские глазки, странная смесь степного кочевника и швейцарского клерка, взирал на меня совершенно неопределенно, но мне казалось, что все-таки снисходительно одобрял: пиши, дескать, пиши, чего, мол, тебе не писать золотым-то Монбланом по бумаге верже, пиши, но не забывай и о тех, кто свою писательскую страсть удовлетворял тюремным молочком и хлебным мякишем.

Бесчисленные изображения Исторического Великана делаются на два вида: величественный и человеческий. Мой, упрямый в цветущую помпейскую флору, не был ни тем, ни другим; какой-то особенный. Безмянный ваятель схватил его как бы в момент бессмысленного эмигрантского променада. Случались ведь, наверное, и у него в исторической жизни такие пустые дни: движение буксует, распадается на дурацкие фракции, долги у зеленщика и в мясной растут, однако брезжит, хоть малый, но луч света в темном царстве — издательство "Кнопф" обещает аванс, а в Риме подстрелили полковника центурионов, пустяк, но все-таки приятно, во всяком случае можно спокойно прогуляться с соседом-дантистом Грубером и показать ему волжской ладонью: да-да, герр Грубер, не поверите ли, вот такая архиокруглая грудь, эдакий увесистый арбузик... Этот мой ИВ как бы и не был великаном, просто слегка раздраженный, слегка нездоровый, немного недомытый словоохотливый господин, сосед как сосед, нормальный ситуайен. Я читал ему:

" — ...в результате релятивистских эффектов уровень с данными L и S расщепляется на ряд уровней с различным значением J..."

Он выслушивал без особого восторга, но и без возмущения, как бы подлавливая паузу, чтобы вклиниться со своим арбузиком.

Однажды райским утром (расценивайте эпитет с точки зрения вышесказанного) я увидел на ладони Исторического Великана тонкостенный стакан с хорошим вином. На постаменте, свернувшись калачиком и положив голову на исторические ботинки, спала Арабелла. Мой взгляд ее разбудил.

— Доброе утро, — сказала она. — Вы знаете, что Помпее грозит гибель?

— Когда? — спросил я.

— Три дня вас устроит? — спросила она.

Я прикинул.

— Три дня? Это немало.

— Может быть и меньше. Поторопитесь.

— А как вы здесь оказались, Арабелла?

— Случайно наткнулась в кустах на этого господина. Он поразил меня. Бедное заброшенное дитя истории! Он долго рассказывал мне об астраханских арбузах и, как всегда, ужасно преувеличивал. Однако я слушала его ночь напролет. Он ведь несчастный, так и не понятый никем, кроме своей бедной жены. Мы ведь с ним слегка родственники по половецкой аристократической линии. Увы, европейский наш ствол расщепился в слишком отдаленные века. Их сучья засохли, наши плодоносы до сих пор. Кто в этом виноват? Я предложила ему все, чем была богата. Видите, стакан на ладони? Видите, он благороден — не тронул, оставил мне до утра, как это мило, нет-нет, в частной жизни он определенно был не понят.

Она встала и потянулась. Белые брюки ее и блуза были в бронзоватой пыли — Великан слегка линял.

Любимица Рима, мифическая Арабелла! Всякий раз, когда встречаешься с нею, думаешь, что это фокусы телевидения или новоизобретенная голография. Обезьянкой она вскарабкалась вверх по Историческому Великану, ловко укрепляя босые ступни в изъязвах скульптуры, достигла стакана.

— Доброе утро!

Закинутая голова. Большие глотки. Огромный мускул горла споро проталкивал настоявшуюся за ночь в звездном бродиле влагу.

— Это что же, по вражескому радио передали? — спросил я.

— О нет, я сама ему на ладонь поставила, — испугалась притворщица Арабелла. — Это мое вино, клянусь вам!

— Я не о вине.

— О чем же?

— О новости. О гибели Помпеи.

— Ах, об этом! — она весело болтала ногами, свисая с руки ИВ. — Да-да, то ли ангел пропел, то ли радио набрехало. Я стал надевать свои кроссовки.

— Как вам пишется? — спросила Арабелла. — Прочтите пару строк из "Резонанса".

Я прочел.

— Bravo! — сказала она.

— А как вам поется? — спросил я.

— Надоело, — засмеялась она. — Вам хорошо — сидишь, как червяк и пишешь. Пение по телевидению — отчаянная скука!

— Однако, публика... — начал было я.

— Знаю-знаю, — отмахнулась она. — Я пытаюсь найти другой путь, чтобы ободрить их к существованию. Вы, кажется, собираетесь бегать? Возьмите меня с собой.

Мы побежали вместе ровно и ритмично в винном облачке ее дыхания, но, повернув однажды голову, я не нашел ее рядом. Обернувшись, я увидел в удаляющейся с каждым шагом перспективе цистерну с пивом. Вокруг нее толпились маляры и киношники. Арабелла, протягивая вперед ладони, ободряла дремучий наш люд к дальнейшему существованию.

Вечером на Помпею стал падать пепел. Мутный лунный свет освещал гребень хребта, над которым поднималось мутное розовое свечение. Кое-где по лесистым склонам ползли уже змейки пожаров.

Иностранные радиостанции на все голоса предвещали гибель курорта. Столица наша мощно и спокойно опровергала клеветнические слухи.

В тот вечер я поставил точку в манускрипте и отправился в парикмахерскую. Что-то захотелось резко переменить во внешнем виде: то ли подбрить виски, то ли подкрутить усы — короче, ноги несли меня в парикмахерскую.

Представьте себе меня в тот вечер — огромного роста рыжий детина с огоньком в глазах. Благие порывы забыты. Забыты и красивые фразы из "Резонанса", начисто выветрились. Отчетливо понимая, что Помпея и на этот раз "засосала", бодро двигаюсь к центру "засоса" — в парикмахерскую. Хлопья пепла красиво парят, слетаются к свету ранних фонарей, опадают на толпу варваров, как всегда жаждущих "кайфа".

Прямо у набережной ошвартовался греческий лайнер. Там играет музыка. Все время повторяется новый шлягер "Любовная машина". Вокруг лайнера бурлит толпа. Фарцуют

все, кому не лень: и пионеры, и пенсионеры, и лабухи, и даже центурионы в своей форме, и даже, между нами говоря, центурионы в штатском. Кажется, даже конечный смысл фарцовки уже потерян, забыты принципы первичного обогащения, идет какой-то беспорядочный алчный обмен, охота за одеждой, напитками, разной японской мелочью, табачком.

Вот и парикмахерская: над входом держат венок дореволюционные наяды, слева от входа мемориальная доска в память о подпольных заседаниях помпейской ячейки нашей пасеки, справа мемориальная доска в память о пребывании "великого летописца эпохи сумерек общественного сознания". Остается вопросом, долго ли он здесь пребывал и что делал, пребывая: усы ли подкручивал, подбривал ли виски?

Впрочем, в эпоху сумерек здесь вроде бы и не было парикмахерской, здесь как будто бы как раз и помещался гигиенический дом терпимости. Конечно, может быть, и это брехня, городской миф с ухмылочкой: обыватель про летописцев обычно распространяет ехидную похабщину, а истину установить сейчас невозможно — архивы уничтожены, история полностью искажена пропагандой.

Итак, я вхожу в большой зал, отражаюсь сразу в двух десятках зеркал: внушительная картина — прибытие в парикмахерскую целой топлы огромных рыжих мужланов. Два десятка кресел, соответствующее количество мастериц — толстенные, тоненькие, грудастенькие, жопастенькие, в помятых и испачканных халатах, все в равной степени пьяные. Полный комплект клиентов. Один буйно хохочет, дрыгая в кресле руками и ногами, другой обвисающим телом клонится долу, вяло водит над полом рукой, будто в поисках подводных сокровищ, третий вращается в кресле, обхватив бригадиршу цеха за ягодицы и напевая вальс "Робок — не смел". Остальные более-менее бреются.

Каково настроение вошедшего рыжего гиганта? Всю бы эту шваль хлыстом из брадобрейного храма, и разом плюхнуться во все двадцать кресел, все двадцать баб почему-то

безумно нравятся. Постыднейшее, конечно, настроение.

Пристыженный, вижу — здесь, оказывается, и очередь еще отдыхает, мужланов пять-семь; чем я их лучше?

Ничего не поделаешь, вот с этой пьяной швалью нам и жить, заикающееся содружество людей, отравленных мерзкими портвейнами, рублевым пойлом с осадком химической слизи, так называемой "бормотухой". С такой швалью, как мы, не только Помпея, год-два и сам Рим качнется, но вот с ними, с нами, нам и жить, с ними и гибель встречать, а эмиграция — это прогар, как внешняя, так и внутренняя.

Очередь покачивалась, пьяная и сырая, с бессмысленно улыбающимися глазами, с лицами, перепачканными вулканической сажей. Никто из присутствующих и не подозревал, что совсем недалеко, на другом берегу темного маслянистого моря, в "странах капитала", сотни парикмахеров проводят время в благостной тишине, в почтительном ожидании благородных клиентов. Впрочем, везде, в каком-то смысле, такая же вонь, если не хуже, сказал я себе, присоединяясь к собратьям.

— Везде такая же вонь, если не хуже, — ободрил я вслух своих собратьев.

— У нас в металлургическом, бассейне хуже, — сказал один улыбающийся.

— Чего смотришь? — спросил второй улыбающийся.

— А вот смотрю, — сказал третий улыбающийся.

— Он смотреть хотит, — сказал четвертый улыбающийся.

— Нехай смотрит, — сказал пятый улыбающийся.

— Хотишь, смотри, — сказал шестой улыбающийся.

— Смотри, мне без разницы, — сказал седьмой улыбающийся.

Рыжий гигант не без ужаса смотрел на пропортвеенную компанию. Один определенно выделялся из улыбающихся дегенератов: могучая лепка дурацкого старого лица, полковник почетного легиона в отставке. У этих, наследников цезаризма, хоть что-то в лице сохранилось, подумал я, незыблемость бездарной величественной эпохи, хоть к ним, что ли, пристать, к последним надолбам общества.

Громовый раскат медленно прокатился над Помпеей. Озарилось на миг исковерканное море. Качнулся пол в парикмахерской. Потрескался дореволюционный кафель.

Быть может, только и осталось, что присоединиться к цезаризму, подумал рыжий гигант. Единственные столпы, что, может быть, не подгнили. Он предложил полковнику сигарету "Мальборо".

— Вот по телевизору говорят, что за граница гниет, — сказал полковник, вдыхая голубой дымок. — На самом же деле, у нас тут помойка, а у них экономические достижения. Причина?

— Какая? — спросил рыжий.

— Порядка нема, — охотно пояснил полковник. — Критиковали маршала Тараканкина и это была правильная критика, согласен. Однако забыли, что маршал был голова. Как он указывал? Задерживать демобилизацию личного состава каждому на количество штрафных суток. Вот так.

— Почему тут сортира нет? — удивился один улыбающийся. — Товарищ мочится без наличия сортира.

— Все хотят писать, но молчат, — сказал другой улыбающийся.

— Приехал маршал Тараканкин на нашу триеру, — рассказывал полковник. — Демобилизация. Всех проводили с оркестром, а матроса Пушинкина оставили на сто пять суток, потому что и накопилось у него сто пять суток губы за три года службы. Все вернулись к созидательному труду, а матрос Пушинкин сто пять суток шатался без дела по всем отсекам триеры и совершенно обовшивел.

— Какая связь, простите, между этим фактом и экономическим отставанием? — спросил рыжий гигант.

— Забыли о порядке, — пояснил полковник. — К тому же компания борьбы с космополитизмом нанесла урон нашей науке. Взгляните вокруг — нынешнюю колбасу коты не едят.

— Экий кисель у вас в голове, — рыжий гигант не без растерянности отступал из мнимо спасительных колоннад цезаризма.

Еще один удар. Порыв горячего ветра одним махом согнул все пальмы на набережной. Рухнула и раскололась одна из дореволюционных наяд. Со звоном обвалилась стеклянная дверь парикмахерской. Хлопья пепла и гадкий мусор общественного курорта влетели в салон. Грязные халатики облепили донельзя желанные туловища двадцати ужасных шлюх.

Мгновение, два — перед нами пустыня катастрофы: багровые сполохи, пальмы, согнутые железной метлой ветра, вспученное море с неуклюже сползающими в прорву военноморскими силами — не на одной ли из этих триер служил бедолага Пушинкин? — брошенный на асфальт торс наяды. Запомни хоть это, если уж все забывается, запомни хоть это.

Компания молодежи с хохотом, с песенкой "Любовная машина" прошла, переступая через наяду, один лишь поставил на нее ногу, чтобы зашнуровать ботинок. Все нормально, течет мимо незапоминающаяся жизнь, стихийными бедствиями занимаются соответствующие организации, прогноз хороший, и Рим незыблем.

Вдруг разом вышли из салона семеро гладко выбритых и подстриженных граждан.

— Следующие, проходите! — прорычала бригадирша: радиосистема здесь, оказывается, еще функционировала.

Рыжий гигант упал в кресло, прямо в жадные женские руки. Как можно сохранять подобную неопрятность, служа по цеху общественной красоты? Пальцы с обломанными ногтями, с облупившимся маникюром шустро шныряли по груди, животу и в паху рыжего клиента. Жадный большущий рот с размазанной помадой хохотал над ним. Титьки вываливались из разнузданного полистера, мокрый подол прилип к торчащим подвздошным костям, а все, что ниже, напоминало глубоководную агаву, известную своей страстью к подманиванию, засасыванию и проглатыванию невинных рыб. Так вот кому достался рыжий гигант — городскому позорищу Светке, вдове двух маляров,

— Так вот кому я досталась! — хохотал похабный рот. —

Рыжему, рыжему, нахальному, бесстыжему! Пойдем-ка, рыжий, отседа, на фиг. Я тебя на пляже поброю! Забирай все это хозяйство! Я тебе на пляже по классу "люкс" сделаю!

— Позвольте, но сдаётся мне, что это супротив всяких правил, — пролепетал рыжий гигант, тем не менее распахивая по карманам пудру, кремы, резиновый пульверизатор с шипром и помогая Светке снимать со стены старинное зеркало в золоченом багете.

— Завтра же будешь уволена за блядство, Сенькина, — сказала бригадириша.

— Как бы ты сама не вылетела, Шмыркина! — заорала Светка. — У нас тут не частная лавочка, у нас местком! Сами блядуете за шторкой, а клиенты недовольны!

По потолку прошла кустистая трещина. Вулканный ветер кружил в салоне, поднимая самум обстриженных волос. Две бабы быстро пролаяли друг дружке в лицо что-то совсем уже оскорбительное и невнятное.

Рыжий гигант потащил зеркало на пляж. Светка тащила за ним заляпанную простыню.

— Ой, мама-родная, ну и клиент попался, ой-да-ой, — покрякивала Светка.

Рыжий гигант сжимал в ладонях ее мослы, но голову отворачивал, чтобы не видеть ужасного лица.

Серая галька лежала на пляже волнами, и во всех ее складках слышались покрякивания и повизгивания. Везде вершился грех, и на все скотство падал пепел.

В нашем случае грех усугублялся дурацким зеркалом. Оно стояло в головах совокупающейся пары, и всякий раз, подняв голову, рыжий гигант мог видеть свое лицо, до странности невозмутимое.

За лицом моим с каждой минутой багрово просветлялось море — над Помпеей все ярче разгорался вулкан, затем в зеркале появились две девки в обтягивающих джинсах. Они стояли, свесив лошадиные лица и покачиваясь, одна держала у другой руку на лобке, другая сжимала подруге грудь.

— Во, Галка, смотри, как работают кадры, — сказала одна, как бы икая в нашу сторону. — А мы с тобой еще кайфа ищем...

Тут они рухнули в какую-то ямку и заматюкались оттуда: ну, я пиздыкнулась, ну, я хуякнулась, ой Галка, ой Томка, смотри, какое небо звездное, смотри, звезда летит, летит звезда...

То, что они принимали за звезды, были раскаленными вулканными бомбами. Началось мучительное, толчками, изнуряющее до мычания извержение.

— Ну, клиент, ты дал шороху, — высказалась Светка. — С тех пор, как Николай с Толей друг друга поубивали, такого не кушала.

Сажа была размазана по ее лицу, глаза благородно сияли.

Я смотрел на себя в зеркало — куда пропал рыжий гигант? Лысоватая голова оплывала, как свечка, тело раздувалось, как тесто из дурной муки.

Раскаленный камень свалился на пляж, подбросил вверх фонтан гальки, закрутился волчком и скатился в море, где и погас с шипением в облаке пара.

Я встал и пошел прочь, с трудом переставляя свои слоновьи ноги. Пуговицы на рубашке оборвались, свисал немисливо вдруг раздувшийся мохнатый черный живот.

Крыши домов вдоль набережной трещали под ударами валунов. Сыпались окна. Уцелевшие кое-где неоновые буквы читались абракадаброй. Внутри магазинчика с кокетливым названием "Сластена" бушевало могучее пламя. Рядом, однако, спокойно стояла собравшаяся еще утром очередь в соседний гастроном. Ждали подвоза фантастической буженины, хотя ни о каком подвозе и речи быть не могло: все перевалы над Помпеей были окутаны дымом, охвачены огнем.

Повсюду играли оркестры. "Любовная машина" гремела из подвалов, из-под тентов открытых ресторанов. Публика всех возрастов неистово танцевала. Неслыханная во времена

цезаризма свобода движений, выпученные глаза, похотливые рты, жуткая помпейская трясучка. Социализм, подражающий капитализму, социалистичен до слез.

Из всех, кому в горящей Помпее было хорошо, мрачному толстяку, со свисающими по бокам лысого лба грязными темными патлами, было всех хуже. Слоноподобный надменный толстяк слабо и бессмысленно поворачивался в толпе, пока не увидел будку междугороднего телефона. Из нее можно было сразу включиться в столичную телефонию, но, странное дело, она была пуста: никому, как видно, не было никакой нужды звонить в Рим. Толстяк зашел в телефонную будку.

— Вы знаете, что мы горим? — спросил он первого, к кому удалось дозвониться, коллегу по институту.

— Старик, на ночь глядя философские вопросы! — игриво хохотнул коллега, нормальный, в принципе, мужик, который ничем, по сути дела, не отличался от меня — такой же лукавый раб поглотившей нас всех коммунальной системы.

— Да не в философском смысле вовсе, — сказал толстяк. — Помпея гибнет. Вулкан взбесился.

— Ну, это не телефонный разговор, — сердито произнес коллега.

Все понятно, теперь меня в провокаторы записали. Я повесил трубку и увидел через стекло Арабеллу, которая, подтанцовывая и раскачивая ладонями, возглавляла развеселую компанию. Все там кружились, подтанцовывали. На плечах у Арабеллы мягким кольцом вокруг шеи лежала тихая травоядная змея.

— Эй, выходите! — крикнула мне Арабелла. — Что это вы там пухнете, в телефонной будке? Господа, посмотрите, как этот типус распух!

Пара веселых грузин вытащила толстяка из телефонной будки и предложила ему бутылку великолепного вина.

— Где вы такое вино достаете? — удивился я. — Где вы вообще все такое хорошее находите? — простодушно спросил я. — Как это, вообще, вы, грузины, умудряетесь жить довольно чудесно среди всеобщего убожества?

— Нет проблем, — весело ответили грузины.

Раскаленный кусок скалы угодил в телефонную будку и мгновенно стер ее с лица земли. Лицо же земли разъехалось под нашими ногами трещиной шириной в полметра. Мы перепрыгнули через трещину и пошли по набережной вдоль алчущих кайфа очередей и веселящегося внутри горящих кафе люда.

Маленький умный мальчик "юннат" шел по пятам за Арабеллой и хныкал.

— Тетя, отдайте мне желтопузика. Я взял его на время для изучения из зоологического уголка.

— Дитя! — всплеснула руками Арабелла. — Неужто ты хочешь разлучить нас? Неужто ты не видишь, как нравится твоему желтопузику висеть у меня на шее? Дитя, мы любим друг друга! — она взяла головку желтопузика в свои ладони и поцеловала ее в уста. — Дитя, признаюсь, я и сама — основательный желтопузик, и если ты настоящий юный натуралист, ты должен изучать нас обоих.

Что-то вроде шаровой молнии пролетело над набережной и зависло над главной площадью Помпеи, над зданием горкома и над самой могучей и величественной скульптурой Исторического Великана.

— Мы все желтопузики! — восторженно закричала вся наша компания: магнетическая Арабелла!

То, что зависло вдали над площадью, висело недолго — шарахнуло и рассыпалось мириадами искр. Затем на миг возник фосфорический свет, озаривший главную площадь. Видно было, как падают статуи разных эпох: пограничник, трактористка, танкист, космонавт..., и как начинает валиться основная, самая могучая статуя. Она так и застыла в памяти — в наклонном падающем положении, потому что фосфор погас, а грохот ее падения заглушил нарастающий гвалт Помпеи — оркестр, крики, смех и треск пожаров. Мелькнула мысль — а мой-то как там, мой личный ИВ, что с ним?

— Жертв нет! — вскричал тут один из Арабелловской свиты.

— Исключительное явление природы, товарищи! Извержение вулкана без человеческих жертв. Противовес нейтронной бомбе — материальные ценности уничтожаются, личности остаются! Я так и сообщил в Рим по вертушке: жертв нет, стихии противопоставлено мужество!

Всем своим видом человек этот, одетый в официальную пару и со значком нашей пасеки в петлице, должен был как бы олицетворять стабильность нашей всеобъемлющей администрации, но на лице у него дергался малый мускул, а из кармана пиджака торчала початая бутылка коньяку.

Арабелла ободрила его своей мягкой ладонью от щеки до щеки через аккуратную шевелюру.

— Бедное дитя, заброшенное среди огненной стихии! Еще утром вы царили в своем горкоме, а сейчас вы — одиноки! Мы не оставим вас! Мужайтесь!

— Я мужаюсь, — секретарь доверчиво смотрел на Арабеллу.
— Я так и передал, успел сказать по "вертушке": стихии противопоставлено мужество...

— Тетя, отдайте желтопузика! — взмолился юннат. — Ему есть пора!

Приблизился некто с чертами утраченной тайной власти, с бутылочкой пепси-колы и стаканом.

— Твое пресмыкающееся, оно жрет пепси-колу? — спросил он юнната, глядя на него все еще пронизывающим взглядом.

— Оно не пробовало, — пробормотал юннат, — но я... лично я, товарищ полковник, ем пепси-колу с удовольствием.

Полковник в штатском, шеф местного отдела центурионов в штатском, стал наливать в стакан пузырящуюся пепси-колу и угощать юнната и змею. Мальчик жадно глотал чужеземный напиток, в то время как желтопузик лишь деликатно поклевывал коричневую влагу, свешиваясь с плеча Арабеллы.

Компания наша разрасталась и превратилась уже в толпу. Шли мужчины и женщины, юноши и старики, прыгали дети и собаки, шмыгали кошки, тащились, словно овцы, тигры из местного цирка, — и все это двигалось за любимицей всего

нашего народа, метрополии и варварских областей, телевизионным миражом Арабеллой.

Некогда она пела выразительным голосом по чердакам и подвалам Рима и была известна лишь чердачно-подвальной элите, как вдруг явилась среди суконных, рыл на ТиВи, странное существо с гипнотическим голосом, и весь наш дикий народ, уставший от своих завоеваний, не освистал ее, но возлюбил. Какое чудо внедрило ее в телесеть, и не было ли это одним из первых симптомов нынешней тектонической бури?

Куда мы шли? Почему-то в гору, поближе к огоньку. По узким горным улочкам Помпеи, мимо горящих домов, мы поднимались ближе к пеклу, на Холм Славы. В домах взрывались самогонные аппараты, лопались трубки телевизоров, плавилась зеркала, но жители почему-то как бы не замечали гибели имущества, все торопились поймать хоть какой-нибудь "кайф" и присоединиться к нам.

— А вы опять помолодели, дружище, — сказала мне Арабелла. — Где ваше лохматое пузо? Где ваш мутный взгляд?

Я и впрямь чувствовал какую-то странную молодую легкость. Все легче и веселее я перепрыгивал через струи раскаленной лавы, растекающиеся по брусчатке. Однажды в каком-то осколке стекла среди десятков лиц мелькнуло и мое отражение — таким я, кажется, был лет двадцать пять назад, в студенческие времена.

Странные возрастные изменения происходили во всей процессии: юннат, например, в своих коротких штанишках напоминал теперь большую зануду-доцента, а шеф тайной службы — дровичу-гимназиста из тех, что вечно торчат в школьных туалетах.

— Остановитесь! — вскричал вдруг секретарь горкома. — Вот база спецснабжения!

Перед нами были тлеющие руины ничем не примечательного особняка. Рядом с ним ярко полыхал черный лимузин "Тибр".

— За пять минут до гибели горкома я отдал распоряжение

Ананаскину произвести здесь полную инвентаризацию, — волнуясь объяснял секретарь горкома. — О, нет, Арабелла, уверяю, мне лично ничего не надо, просто любопытно, каковы результаты.

В "Тибре" взорвался бензобак — пастораль на фоне огненного урагана. У базы спецснабжения отвалилась дверь и на крыльце появился Ананаскин, сгибающийся под тяжестью огромного копченого осетра.

— Вот все, что удалось спасти, — прохрипел он.

— Милый Ананаскин! — воскликнула Арабелла. — Скромный секретный снабженец, тихий распределитель по труду! Ты дрожишь, Ананаскин? Мужайся! Поцелуй желтопузика и присоединяйся к нам!

Охающий Ананаскин приложился к змеиным устам. Тут же кто-то пришел к нему на помощь, потом второй, потом и третий добровольно подставили свои плечи под бревно осетровой туши.

Мы приближались уже к вершине Холма Славы, где среди разрушенных барельефов трепетала ленточка Вечного Огня, такая трогательная в буйстве Огня Невечного.

— Не для нас рыбка плавала, не для нас ее и коптили, — кряхтел Ананаскин. — Человека ждали! Теперь уж чего темнить — самого проконсула! К счастью не прилетел...

— Как это не прилетел? — сказал человек из-за его спины. — Кто же тогда помогает вам в добровольной переноске осетрового бревна?

Человек оказался тем, кого с трепетом уже вторую неделю ждала вся помпейская администрация — проконсул из Рима. Оказалось, что самолет его сел прямо в лужу из магмы и влип, как муха; авто не подали, охрана по парикмахерским разбежалась. Теперь проконсул шел среди всех и старался не выделяться.

За ним под бревном шествовал пенсионер Карандашкин с цинковым ведром на голове. Замыкал четверку добровольцев мой гипсовый с жалкими следами позолоты Исторический Великан из "Ореанды".

— По плечу ли вам наш осетр, товарищи? — спросил Ананаскин.

— Именно такой труд высвобождает народы от ставших привычными форм эксплуатации, — высказался Исторический Великан.

— Куда идем-то? — спросил из ведра Карандашкин. — Где рыбу-то есть будем?

— Не понимаешь? — удивился грузинский танцующий артист. — Ара-белла нам сейчас петь будет с холма!

— Во кайф! — громко крикнул пенсионер.

— Во кайф! — откликнулась вся процессия.

"Да как же мне бросить их, этих любимых чучел? — с тихой улыбкой думала Арабелла. — Как мне лишить их себя? Что у них без меня-то останется? Сафо? Жорж Занд?"

На вершине Холма мы все расселись. Горели вокруг сухие травы, плавился алебастр, рушились барельефы героических деяний. Внизу в грохоте своего джаза коллапсировала Помпея.

**Все разгораясь и грубя,
Там пир идет, там речь груба...
О, девочка моя, Помпея,
Дитя царицы и раба... —**

пропела Арабелла и чуть-чуть прокашлялась.

— Я давно не пела, но сейчас спою вам все от начала до конца, или от конца до начала, или из середины в обе стороны.

Вулкан ревел, как все радиоглушилки времен цезаризма и наших дней вместе взятые, но слабый голос певицы был все-таки слышен.

— Чаво она поет? — спросил очумевший от невиданной за всю жизнь осетрины Карандашкин.

— Свое поет, не наше, — вяло объяснил проконсул, отдавая редкой рыбе привычную дань.

— Удивительная нечеловеческая музыка, — задумчиво проскрипел Исторический Великан.

Потоки магмы, обтекая Холм Славы, низвергались на Помпею. Сверху казалось, что все уже кончено, но все новые и новые толпы поднимались на Холм.

Шли наши трудящиеся и отдыхающие, ловцы современного кайфа, сторонники максимального удовлетворения своих постоянно растущих нужд. Все были уверены, что идет прямая трансляция с участием Арабеллы, и потому никто не думал о гибели Помпеи, ибо телевидение вместе с правительством знают, что делают, а чудес на свете не бывает.

Так с этой верой в неверие мы все и заснули на Холме Славы. Блаженно и бесповоротно мы забывали каждый свое. В моем, например, засыпающем разуме забывались строфы из "Резонанса", горделивого моего труда, призванного завоевать умы человечества, и думалась мысль о суете сует, которая тут же и забывалась.

Никто не очнулся и с началом дождя. Потоки воды низверглись с милосердных небес и утихомирили вулкан. Мы спали в клубах горячего пара, а потом под все усиливающиеся порывами чистого северного ветра. Ветер разгонял пар, остужал оседающую лаву, но мы все спали.

Наступил новый прохладный и ясный день, когда мы все проснулись. Тысячи легких и чистых существ сидели на Холме Славы и не помнили ничего. Вокруг нас простирался ландшафт, незнакомая и спокойная география. Мы все смотрели друг на друга — автор "Резонанса", и ручные тигры, кошки, собаки, и маляры, киношники, музыканты, и Арабелла, и грузины, и Светка-парикмахерша, и ее бригадирша, и отставной полковник, и полковник тайного сыска, юннат, секретарь горкома, Карандашкин и Ананаскин, проконсул и лесбиянки, и Исторический Великан, и все вчерашние троглодиты материализма — мы все смотрели друг на друга, не узнавая никого и каждого любя. Тысячи глаз озирались вокруг с надеждой уловить цель нашего пробуждения.

Наконец мы увидели на верхушке Холма малый язычок огня и рядом с ним горячий каравай хлеба, голову сыра и

кувшин воды. Это был наш завтрак. Потом мы увидели узкую тропу, которая петляла меж скал и поднималась к перевалу. Это был наш путь. Еще один миг, и на крутом отроге вулкана появилась белоснежная длинношерстная коза. Это был наш поводырь.

Вот так случилось в Помпее в тот год, в начале весны. Впоследствии во время раскопок ученые удивлялись, что в разрушенных зданиях не было обнаружено никаких следов человеческих тел. В одном лишь здании, чем-то напоминающем школу, в лаве была найдена извилистая пустота, говорящая, возможно, о том, что когда-то она была заполнена тельцем небольшой безобидной змеи. Это позволило археологам сделать предположение, что жители Помпеи держали в домах ручных травоядных змей, именуемых "желтопузиками".

VI-VII. 79

*Записано
в тетрадь,
подаренную
Беллой
весной
Метропольного
года.*

Единственный сборник оригинальных стихотворений Семена Липкина, — известного многочисленными переводами, — появился в "Советском писателе" в 1967 году; семь лет спустя, в 1974 г., его же выпустило Калмыцкое книжное издательство в городе Элиста. Это маленькая книжка, чуть более ста страниц. Многие вещи Липкина остались за ее пределами: те, что показались редакторам "Советского писателя" слишком уж невеселыми или, возможно, идеалистическими. Как может поэт предстать перед "нашим" читателем с почти мистическими стихами о втором рождении, о золе, некогда бывшей человеком — и теперь, снова обретя человеческий облик, призрак бредет по послевоенной Баварии с вопросом к прохожим немцам, — вопросом, завершающим это удивительное стихотворение: "Меня сожгли. Как мне добраться до Одессы?". Или как допустить до печати стихи о молдавском языке, в котором дышит не высокая латынь имперского Рима, а вольная речь каторжан, — "ломовая латынь"; и этот вульгарный язык народа противостоит грозному сенату, как в наши дни лагерная "блатная музыка" — чистой литературной речи, которая официально признана не только единственно правильной, но и единственно возможной.

В предлагаемой читателям подборке мы соединили несколько стихотворений из книги "Очевидец" с другими, неопубликованными; дело в том, что стихи, увидевшие свет в Советском Союзе и оставшиеся в давнишнем, весьма малотиражном сборнике, — углубляются и трансформируются, оказавшись рядом с другими, в Советском Союзе к изданию не допущенными, фактически запрещенными стихотворениями. Соединив те и другие вместе, мы теперь представляем нашим читателям, уже знающим Семена Липкина как автора эпических поэм, другую грань его таланта, — он оказывается одним из крупнейших лирических поэтов современной России.

Е. ЭТКИНД

Семен ЛИПКИН

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Эlegantный варшавский портной.

Издалека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок незначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:
Коневод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

1948

Токмак

ВОРОБЫШЕК

Заколочены дачи. Не едут машины.
Лишь бормочут во сне ближних сосен вершины,
Прочным снегом лесок подмосковный одет.
Так чему же ты рад, мой поэт воробьиный,
В сером джемпере жгучий брюнет?

Медно-красного солнца сиянье сухое
На тропинке легло, задрожало на хвое,
Обожгло беспредельных снегов белизну,
Ядом счастья вошло в твое сердце живое,
И почуял ты, бедный, весну.

И тебе показалось, что нежен и розов
Небосвод, что уж больше не будет морозов,
В толщу снега проникла горячая дрожь,
Даже в дальних, знакомых гудках паровозов
Ты веселую весть узнаешь.

То-то прыгаешь ты среди зимнего царства
И чирикаешь вечную песню бунтарства.
Ух какой озорной! Вот взлетел на забор,
И суровых, тяжелых снегов государство
Охватил твой мятущийся взор.

Белка, хвост распушив, постоит перед елкой,
Иль вдали ты заметишь монтера с кошелкой,
Говоришь себе: "Скоро приедут жильцы,
Это все не случайно. Запой же, защелкай,
Чтоб тепла встрепенулись гонцы!"

Мой дружок, ты обманут, не жди ты веселий.
Этот огненный шар, что горит между елей, —
Он снегов холодней, он тепла не принес.
Если хочешь ты знать, он — предвестник метелей,
И в него-то ударит мороз.

Ну куда тебе петь! Скоро стужею дикой
Будешь ты унесен по равнине великой.
Впрочем, больно и стыдно тебя огорчать.
Песни нет, а настала пора, так чирикай,
Потому что труднее молчать.

И, быть может, когда ты сидел на заборе,
Впрямь весна родилась, и пахучие зори,
И свобода воды, и ликующий гром, —
Ибо все это было в мятущемся взоре
И в чирикании жалком твоём.

Март, 1953

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,
Акулину Ивановну бьют.

Лупит внук, — не закончил он, внук,
Академию разных наук.

"Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводить!"

Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:
"По решетке скучаешь, бандит?"

Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюде дрожит.

На исходе десятков восьмой,
А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!

"Нет, не Ванька, а я тут виной.
Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: "Беда,
Слишком ты, Акулина, горда.

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос".

1960

СРЕДИ СУЕТЫ

Там, где смыкаются забвенья
И торный прах людских дорог,
Обыденный, как вдохновенье,
Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепья
Отверженного иль жреца,
Ни язв, ни струпьев, ни отрепья,
А только сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен,
Когда б умели различать
Прямую мощь избитых истин
И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали
Среди всемирной суеты
Его настойчивой печали
И сумасшедшей правоты.

1961

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

В центре города, где назначаются встречи,
Где спускаются улицы к морю покато,
В серой будке звонит городской сумасшедший,
С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,
Битый час неизвестно кого вызывая.
То ли плачет он, то ли товарищей кличет,
То ли трется о трубку щетина седая.

Я слышал, что безумец подобен поэту...
 Для чего мы друг друга сейчас повторяем?
 Опустить мы с тобою забыли монету,
 Мы, приятель, не те номера набираем.

1965

ДВЕ НОЧИ

Смятений в мире было много.
 Ужасней всех, страшней всего —
 Две ночи между смертью Бога
 И воскресением его.

И ужас в том, что в эти ночи
 Никто, никто не замечал,
 Как становился мир жесточе
 И как, ожесточась, мельчал.

Верблюжий колокольчик звякал,
 Костры дымились вдалеке,
 А мертвый Бог уже не плакал
 На местном древнем языке.

Но мир по-прежнему плодился
 И умножал число вещей...
 Я тоже, как и вы, родился
 В одну из тех ночей.

1962

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Степь шумит, приближаясь к нощлегу,
 Загоняя закат за курган,
 И тяжелую тащит телегу
 Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
 Это римские речи звучат.
 Сотворили-то их каторжане,
 А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблестал Капитолий
 И не стало победных святынь,
 Только ветер днестровских раздолий
 Ломовую гоняет латынь.

Точно также блатная музыка,
 Со словесной порвав чистотой,
 Сочиняется вольно и дико
 В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
 За окурочек от чьих-то щедрот,
 Представителям каторжной банды
 Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
 Гениальный болтун-чародей,
 О бессмысленном апартеиде
 В резервацыи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
 О грядущем своем далеке?
 Будут изданы речи и песни
 На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
 И недаром теперь мне дано
 На рассвете доесть мамалыгу
 И допить молодое вино.

1962

ЗОЛА

Я был остывшею золой
 Без мысли, облика и речи,
 Но вышел я на путь земной
 Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв,
 И прежней смерти не оплавав,
 Я шел среди баварских трав
 И обезлюдевших барачков.

Неспешно в сумерках текли
 Фольксвагены и мерседесы,
 А я шептал: "Меня сожгли.
 Как мне добраться до Одессы?"

1967

* * *

Когда болезненной душой устану
 От поздней и мучительной любви,
 Под старость лет пушусь по океану,
 Как Иегуда Галеви.

Заблудится ль корабль и рухнет в бездну,
 К разбойникам я попаду ли в плен,
 В толпе ли пилигримов я исчезну,
 В пыли, у глинобитных стен? —

Я твердо знаю, что исчез я прежде,
 Что не было меня уже тогда,
 Когда я малодушно жил в надежде
 На близость Страшного суда,

А между тем служил я суесловью,
 Владея немудренным ремеслом,
 И слово не хотело стать любовью,
 Чтобы остаться как псалом.

1976

* * *

Я сижу на ступеньках
 Деревянного дома,
 Между мною и смертью —
 Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
 То ли тень водоема,
 То ли давняя дрема,
 То ли память погрома.

В этом странном понятии
 Сочетаются травы,
 И летающей братьи
 Золотые октавы,

Белый камень безликий
 Трансформаторной будки
 Там, где кровь земляники
 Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
 Шепоток за стеною,
 Между смертью и мною,
 Между смертью и мною.

1978



Анри ВОЛОХОНСКИЙ

СЛЕПЯЩИЕ ТУГИЕ ПИСЬМЕНА

АВВАКУМ

Бывает так — уставятся скотом
Дойдя до гребня выпренного тына
Но многие ли ведают о том
Насколько эта истина пустынна

И в самом деле — что такого в ней?
Давно известно: крыльями не машет
Она, и не поет как соловей
И что ей даже в лучших песнях наших

И в самых мыслях — там где песен звон
Чеканит грань разваренного бубна,
Ей слышится наверно — это стон
Глупца, что ночью с паперти не убран

Нет истины в цветах пока живешь
А как умрешь — тогда все будет проще:
Там соловей среди востока роз
Певучим пеплом канет в серой роще

СЛЕПЯЩИЕ ТУГИЕ ПИСЬМЕНА

149

Тогда иди — тарашь свои бельма
Упреком голося к верховной яме —
Слепящие тугие письма
Вдруг заблестят в неполоте бурьяне

И этих букв невыполненный гул
Нас гонит здесь навстречу стрел и игл.
Шел Аввакум от холода сутул
И от мороза ноги еле двигал.

Псы околели и окоченев
Деревья оседали в мутной склянке
Он шел один почти окостенев
И нес сквозь наст почти уже останки

И вся Москва бессмысленных палат
Была забыта им. Едва гудели кости
По-нищенски глядели из заплат
Его глаза железные как гвозди

Глядело солнце в черный запад — Русь
Где правил голод угольные крылья
И где молитвы плавали как ртуть
И где для казни сами ямы рыли

И где дела двуперстных стариков
Держал в земле холодный створ — Архангельск
А главы человеческих грибов
Вопили гимны словно бы на праздник

Какие головы! Одна из них на нем
Пока еще пускает пар из устья
Глухого рта. Другие стали пнем
Пока их почва мерзлая не впустит

И не сожмет землистых темных губ
 Над маковкой ощеренного карла —
 И пес привычный тщетно скалит зуб
 И все ворчит, что вот она пропала...

Шел жуткий лик шагал как нож сквозь лед
 Поленья ног вбивая в ямы рытвин
 Юродивые вправлены вперед
 Стояли льдины круглые в орбитах

Он шел один единственный как перст
 Чугунный перст сквозь грызь пустыни черствой
 Под хрусталем нелюбящих небес
 Влача весь срам страны стотысячверстной

И эта твердь не гнулася над ним
 И гребень леса не смыкал зигзага —
 Лишь в воздухе стоял холодный нимб
 Лишь на снегу не видно было шага

И ветер ветер в толоконный лоб
 Идущему и бился и мяукал:
 Откуда ты бездонный протопоп
 Куда куда остеклянел и утл

Чего тебе, прозрачный человек
 Отчаянный и ангельски пернатый
 Какие речи в странной голове
 Еще звенят в котле твоём невнятно?

Гляди, гляди — тебя уже и нет
 Смотри смотри как сведено пространство
 Зверь новый на засаленном рожне,
 Ты повернись — ты видишь: — в мире красном

Столичный смерд дрова тебе срубил
 Холуй калужский чадам сделал плаху
 В мразь тех кто видел — вплавленный рубин
 Их кровь на ней лежит как жидкий яхонт

Подобный крови легкий род огня
 Поет тебе многоязык стремглавый
 О том, что пепел истины обняв
 Откинут твой единственный кровавый

И воздух взвыл и взвился как костер
 И Аввакум сверкал согнувшись вдвое
 И небосвод опять над ним простер
 Свое лицо и тело неживое.

ПОСЛЕДНЯЯ ВИДИМОСТЬ

Там где построен бледен дом
 И небо клонит вниз
 На небе том, на небе том
 Бывает много птиц

Летает тая стая их
 Бледнея их пером
 На небе том что их таит
 На севере сыром

Едва ж одна покинет свод
 Одна из этих птах
 Едва паря вмерзает в лед
 Терзает птицу страх

Разбив меж век стекла уста
 Во льду едва горя...
 Навек навек не веет там
 Ни ветер ни заря

В просторе том предел для ок
 Невидим ибо там
 Нигде не рдел ни солнца сток
 Ни звездная желта —

Сеть не взлетала в млечный дым
 Несмелая взойти
 Как бы незрим предел воды —
 Терзает страх войти.

Над тесным кругом серых вод
 Там стынет воздух-воск
 И светоч светел не плывет
 Через свинцовый плес

Даже не плес — там нет волны
 И хлябь как бы застыв
 Поникнув кажется иным
 Блеснув бежать забыв.

Две доли белизны вершат
 Другое в небе мглой
 Две доли мглы внизу лежат
 Где обруч неживой

А третья доля белизны
 И третья доля мглы
 Расторгли нижний дом волны
 И влагу что над ним.

Едва светлее небеса
 Едва темней вода
 Едва вмерзает в лед паря
 Когда не мчат ветра

Светлей небесная вода
 Внизу она темней

Здесь да пребудет нетверда
 Та твердь которой нет

Ибо меж век разбиты рты
 Поблекшие на юг
 Они не блещут вдоль черты
 И звуков не поют

Вовне туманного венца
 В свинцовых бубенцах
 Лишь стынет серая весна
 Звеня без языка

Там молкнет серая весна
 Темнея вниз едва
 Тесьма от неба неясна
 И птиц уносит страх

И меры нет в конце крыла
 Незрим пера предел
 Одни размытые края
 Невнятные нигде

Там ближе даль и ниже глубь
 Небес — уже без птиц
 Под ней пространная во мглу
 Вода недвижна ниц —

Та хлябь, куда и гул не пал
 Чтоб воздух пел в волне
 Едва Единое — кимвал
 По небе бьет вовне

Оно одно о дно небес
 Никчемное вращать
 Да птицы павшие в свинец
 Исчезнувши порхать.



Дмитрий БОБЫШЕВ

ИМЕНА

Е. Славинскому

Не получился наш прекрасный план,
все сорвалось... Держись теперь, товарищ!
Делили мы безделье пополам,
но ты один и дела не провалишь.

А всех трудов-то было — легкий крест
процеживать часы за разговором.
Мне думалось: ты — мельник здешних мест,
ты — в мельники разжалованный ворон!

Неведомо — кого ты там держал —
то ль демона, то ль ангела над кровом?
Один — запретным воздухом дышал,
орудовал другой опасным словом.

ИМЕНА

155

За это, — а за что тебя еще? —
и выдворили из полуподвала,
и — под замок. Жить, просто жить, и все, —
оказывается,— преступно мало.

Виновен ты, что не торчишь у касс,
что чек житейских благ не отоваришь;
и, веришь ли, впервые на заказ
пишу тебе: держись теперь, товарищ.

Е. Рейну

Мне шлет посланье друг былой
с былым пристрастьем к каламбурам.
Даю ответ, подобно мной
переводимым трубадурам.

С нуля мы начинали путь.
По тупикам топталась нечисть.
Но вот— светлеет. И взглянуть
пора сквозь ноль на бесконечность.

Что в ней? Иллюзия? Игра ль?
Тогда — такого же серьеза,
что и взыскуемый Грааль
для тех, чей поиск был не поза.

Мы сами ставим наших дней
прицел, предел, — не знаю, что там, —
но стих тем слаще, чем крупней
замыслен, даже с недолетом...

А так — душа весь век проспит
в полузабвеньи ложно-бодром.
А ты все пишешь спирт да спирт,
и бутерброд за бутербродом...

* * *

Мама, пишет тебе твой сын,
глядя на родину окном ночлега,
не от родины ли уплыл один
с борта Таврического ковчега.

У меня бесхлебная всюду хлябь,
и пируют за столом буруны.
Твой же корабль смастерен на-ячь,
яблоками набиты трюмы.

Ежели не в книгу — в прибрежный гнейс
не строкой — собою мне впечататься завтра;
в сыне твоём, вероятно, есть
что-то от человекозавра.

Ящера выбраковал Господь,
ты же — я верую — поймешь, дорогая,
что пусть отломленный я ломоть,
но — от доброго каравая!

БРАТУ

Вместе с кистью на картон
тень накладывает ветви,
и весь день меняет тон
цвет в качающемся свете.

Знаю: законный сад
любит труд подправить сзади.
Тут же, двадцать лет назад,
лазал он в мои тетради.

Сколько на листах замет
сад наставил птичек, точек,

крестиков! За столько лет —
сколько вычеркнутых строчек!

Помню: свет летит сквозь сит,
и пересечение истин
совершенствами сквозит,
словно каждый вид — единствен...

Но ежевечерне сад
сотворяет ряд мистерий.
У такого бы, мой брат,
мастера быть подмастерьем!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В облике этом известная сила
светит жемчужиной на киловатт;
ноздерьки вздернуты слишком спесиво,
лоб не по мыслям ее крутоват.

Ладно пришлась до волос прибалтийских
выпуклость серо-голубых орбит,
только вот рот, уголочками стиснут,
кожицу щек чуть заметно рябит.

Там, где ничто не играет девичье —
в тонких зачатках подглазных морщин
странно меняют лицо на обличье
несколько центров — от разных личин.

Все ж на красиво закинутой вые —
 родинка — черный застыл поцелуй;
 ниже, где жилы ее станковые —
 гибкости меньше,— милуй, не милуй.

Лучше внимай у площадки покатоЙ,
 как по расчету искрится из тьмы
 голос — от сдвинутой координаты
 искренний, но — как бы взятый взаймы.

И узнавай задохнувшейся кожей
 лепет единственный — тысячекрат
 множимый в репликах пьесы расхожей.
 Ты и его получал напрокат!

Видимо, в бледном экранном зиянии
 ты и попался случайно на том,
 что красотой засквозили изъяны
 в зеркале — тоже, конечно, пустом!

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РУССИКА"

НОВАЯ КНИГА

Можно с уверенностью сказать, что новый роман Алешковского в равной степени захватит и любителей острого чтения и читателей, которых волнует нравственно-религиозная проблематика

"Когда в моем воображении возник сюжет, вернее, образ "Руки", образ романа, он показался мне невероятным: полковник КГБ, яростный враг советской власти и одновременно ее кровавый сатрап, палач... мститель.

Но, как говорил Ф. М. Достоевский, это настолько невероятно, что случается ежеминутно..."

Юз Алешковский

Слава анонимного автора песни "Товарищ Сталин, вы большой ученый" и мини-шедевра "Николай Николаевич" обрела хозяина всего год назад, когда Юз Алешковский эмигрировал на Запад.

Роман "Рука" написан еще в России. Как и предыдущие книги Алешковского, он не укладывается в жесткие жанровые рамки. Острый и напряженный детективный сюжет, полный неожиданных поворотов, служит поводом для философских размышлений о природе возмездия, о метафизической сущности советской власти, о разгуле Бесов, пророчески описанных Достоевским.

Особую роль в романе играет персонаж Сталина, увиденный с неожиданной, во многом парадоксальной точки зрения.

Ошеломительно неожиданная развязка детективного сюжета одновременно является и итогом социально-философского замысла книги. "Рука" — роман-следствие, роман-допрос, главным обвиняемым которого в итоге становится сам герой — палач, полковник КГБ по кличке "Рука". По счастливой случайности, в юности герою удается проникнуть в органы МВД. Он одержим идеей мщения. Все его близкие убиты карательным отрядом, родная деревня стерта с лица земли. Логика истории и эволюция советского режима приводят чекистских палачей в руки своей бывшей жертвы. Перед читателем вереницей проходят подследственные. Среди них и убийцы-чекисты, и большевистские фанатики, и невинные жертвы террора — подлинные герои трагического времени.

Юз Алешковский. "РУКА". /Повествование палача/.

Около 400 стр. Обложка работы Вагрича Бахчаняна

\$ 16.50. Чеки и денежные переводы просьба посылать по адресу
 RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.

799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U. S. A.

Просьба добавлять 1 долл. за каждый первый и 50 центов за каждый последующий экземпляр на пересылку обычной почтой, воздушной — 3.50. Вниманию лиц, проживающих за пределами США: "Руссика" принимает оплату только в виде Международных денежных переводов в долларах США.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Предлагаемая вниманию читателей статья "Политический мессианизм и тоталитарная демократия" представляет собой отрывок из книги недавно умершего профессора Новой истории Иерусалимского университета Якова Тальмона. Эта книга посвящена одной из самых актуальных проблем современности — идейным и духовным истокам тоталитарной демократии.

Немецкий национал-социализм и русский большевизм, эти два крупнейших исторических явления XX века, представляют собой наиболее яркие образцы тоталитарной демократии, хотя по своим истокам и конечным целям они отличны друг от друга.

Национал-социализм освящает нацию, большевизм — класс, но тем не менее, политические режимы, созданные ими, мало чем отличались друг от друга: тот же деспотический строй, то же подавление политических свобод и прав личности во имя морально-политического единства нации — народа. При этом специфическая особенность этих тоталитарных режимов, в отличие от абсолютизма, состоит в том, что они действуют от имени масс и неизменно апеллируют к массам.

Немецкий национал-социализм представлял собой плебейскую реакцию, фельдфебельскую контрреволюцию, облачившуюся в мантию национальной исключительности и бросившую вызов современной цивилизации во имя торжества арийской расы.

Большевистская революция выступила как запоздалое издание французского якобинства, из которого вырос советский бонапартизм, облачившийся в культ личности и стремящийся навязать свой "тоталитарный коммунизм" всему современному миру.

Провозглашая себя единственным выразителем народной воли, тоталитарный коммунистический режим породил невиданную в истории систему насилия государства над личностью. Вот почему проблема политического мессианизма и тоталитарной демократии, которой посвятил свою книгу Яков Тальмон, приобретает сегодня такую актуальность.

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ



Яков ТАЛЬМОН

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕССИАНИЗМ И ТОТАЛИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Первая половина 19-го века была охвачена всеобщей жадной обновлением мира. Во всей мировой истории не было эпохи до или после этого, когда бы таким густым цветом расцвели утопии, направленные на полную и окончательную ликвидацию социальной несправедливости. Никогда до этого не предпринималось таких дерзновенных попыток доказать, что есть свой внутренний смысл в истории человечества. Это было время настойчивых усилий совместить историческую необходимость с человеческой свободой и обосновать требования революционного обновления законами исторического развития. Проблемы масс и личности, всеобщей организации и человеческой спонтанности, а также противоречия между борьбой классов и национальным единством, между национальной традицией и братством народов, — все это должно было найти свое решение в час мессианского обновления.

Стремления не оставались только проповедью. Многие — и среди них также великие люди духа того времени — готовили себя к судьбоносному дню, в то время как правительства и

господствующие классы собирали силы для того, чтобы сдерживать натиск новых идей.

1848 год принес разочарование стремящимся к обновлению и дал передышку тем, кто опасался перемен. Это испытание оказало решающее влияние на развитие общественной мысли в Европе и в значительной степени определило реальную политику во второй половине 19-го века.

Рационализм 18-го века породил надежду на то, что недалек день, когда разум станет решающим фактором в истории человечества. Слияние двух революций, Французской и промышленной, открывших новую эпоху, пробудило веру в грядущий приход Мессии. Дух романтизма, рожденный великими столкновениями, возвысил человеческие идеалы и подготовил почву для такого драматического взлета, рядом с которым отступил на задний план весь "хлам", накопленный в течение поколений.

Мощный взлет идей 1848 года ярко демонстрирует значение политического мессианизма как фактора истории. В чем сила политического мессианизма? Почему эта вера разгорается ярким пламенем в одну эпоху и сходит на нет в другую? Что привело к тому, что политический мессианизм приобрел такое значение именно в новое время, стал фактором, противостоящим либеральной демократии, превратился в знамя авторитарных режимов? Почему политический мессианизм превращается в конце концов из идеала свободы в западню порабощения? Таковы лишь некоторые вопросы, требующие своего ответа.

2

Тоталитарная демократия основывается на том, что в политике существует только одна-единственная правда и что впереди нас ждет один-единственный порядок — гармонический и совершенный. Как примирить свободу человека с таким абсолютным подходом? Выход, по-видимому, может быть найден только в том случае, если иметь в виду не реального человека, каков он есть на самом деле, а такого, каким он должен быть.

Кто осуществит этот новый порядок вещей, при котором восторжествует единая правда? Его осуществит авангард просвещенных кругов, знающий, какова действительная воля народа и каковы его подлинные стремления, которые он сам еще не осознал и не способен выразить. Авангард, представляющий собой будущее, вправе пользоваться насилием, и в этом не усматривается нарушение демократии. Все подчинено будущему. В будущем исчезнет конфликт между спонтанными стимулами и чувством долга — и тогда не будет нужды в принуждении.

Рационалисты и якобинцы видели только одно различие между людьми — различие между просвещенными и невежественными. Придет день, и все будут просвещенными. Таким образом будут гарантированы справедливость и права человека.

Французская революция, наполеоновские войны, промышленная революция в Европе усложнили все отношения. Новые обстоятельства не требовали от человека отказа от самого себя. Новая идея продемонстрировала его раскрепощение путем слияния индивидуума с объединяющей коллективной силой. Коллективное усилие — непреходящее. Оно постоянно действует из поколения в поколение. Новое толкование дано было разуму: перед нами была сила, не противоречащая истории, а развивающаяся в соответствии с ее законами. История отныне — не враг, а союзник.

Сторонники мессианизма, как и рационалисты 18-го века, исходили из того, что человек от рождения наделен добрыми намерениями. В этом, по-видимому, источник сближения политического мессианизма с тоталитарной демократией. Попытка примирить спонтанные стимулы человека с коллективизмом приводят к тоталитаризму. И это не из-за неверия в человека, а, напротив, из-за чрезмерной веры в него.

Как это ни парадоксально, но обожествление истории произошло в результате нарушения исторической преемственности в религии, в обычаях, в общественной иерархии. История в своем новом облике — неотвратимой судьбы —

выступила как драма идей, и она движется к цели, установленной с первых дней мироздания. Народы и классы воплощают определенные идеи и общественные силы. События не сваливаются на людей, как гром среди ясного неба. Они — сродни волнам длительного процесса. Вожди являются орудием в руках судьбы или высшего призвания. Победа или поражение — это приговор истории. Деспотическое принуждение — ничто иное как мобилизация всех сил во имя светлой идеи, а страдания — это лишь необходимая цена, неизбежные муки родов нового мира.

Мессианизм 18-го века выступил, как нравственный бунт буржуазии против традиций, которые отождествлялись в ее глазах с феодализмом, церковью и властью короля. Со временем это движение превратилось в восстание неимущих против имущих. На второй день Французской революции был провозглашен принцип уважения к человеческому достоинству. Требование свободы и счастья было переведено на язык социальных и экономических реформ. Именно в дни Французской революции был поднят на щит вопрос, который образовал пропасть между двумя лагерями: какова цена свободы без равенства? Впервые вопрос о собственности был поставлен ребром — так, как он еще никогда не ставился. Все привилегии были отменены, но эта — собственность — оставалась, и в глазах неимущих она была важнее всех отмененных. Для них собственность превратилась в символ свободы и самостоятельности человека, в поруку стабильности общества. Ведь больше не существовало привилегий аристократии и церкви, и именно поэтому собственность приобрела решающее значение.

3

Национальные идеологии в первой половине 19-го века были далеки от идей национальной исключительности. Напротив, высшую цель видели в служении универсальному идеалу. Каждая нация должна была выполнить свою миссию в программе мировой истории. Обожествление нации, с определен-

ной точки зрения, требовало обожествления универсальной истории и достижения единства человечества. Когда пробудятся нации — итальянская или польская, французская или немецкая — они очистятся и обновятся. Когда они избавятся от внешнего нашествия и внутренних деспотов — королей, будут освобождены их естественные добрые побуждения, в которых растворятся эгоизм и классовое угнетение. Свободные нации, осуществив исконный идеал, сольются в свободную семью народов.

Мессианские националисты часто пользовались тем же языком и аргументами, что и социалисты, только вместо "пролетариат" говорили "народ". Националисты верили в справедливость, а социалисты, естественно, были с угнетенными, борющимися за свободу и равенство. Возможность конфликта между универсальной верой в революцию и национальной исключительностью казалась совершенно нереальной. 1848 год впервые вскрыл существенное противоречие между этими двумя движениями.

Поражение чартизма в Англии и 1848 год в Европе показали, насколько мизерны силы мессианской революции по сравнению с силами исторической традиции. Более того, 1848 год продемонстрировал полную бесплодность мессианизма и надежд на пришествие нового мира. В лучшем случае, он мог стать случайным фактором, ускоряющим темпы общественных реформ, которые были бы осуществлены и без него. Тем не менее, мы видим, что политический мессианизм снова появляется на авансцене истории, призрак уступает место реальной действительности.

4

Обвинительный приговор госпожи де Сталь и Бенджамена Константа против Французской революции заключался в том, что она поставила политическую свободу выше свободы личности и, таким образом, создала лишь иллюзию свободы, в то время, как гнет скрывался за кисейным занавесом. "Признание суверенитета народа, — говорит Констан, — не расши-

ряет свободы личности, и если этот суверенитет ничем не ограничен, свобода может быть сведена на нет, несмотря на теорию или благодаря теории."

Исполненный горечи и разочарования, Констан называет Руссо — "прославленного философа" и "возвышенного гения", душу которого согревала чистая любовь к свободе, "опекуном деспотизма в различных его вариантах". По словам Констан нет более опасных ошибок, ведущих к рабству, чем ошибки "Общественного договора". Начиная с 1789 года настоящая угроза свободе личности идет не от королей, а от тоталитарной демократии, берущей свое начало в теории Руссо.

После того, как воля народа была объявлена Руссо тождественной с общей волей и потому безошибочной, люди, считающие себя проводниками этой воли, не колеблясь, прибегают к мерам, которые ни один деспот не посмел бы связать со своим именем. Те, кто называют себя выразителями общей воли — в той мере, в какой искренна их вера в свою миссию — представляют собой большую опасность. "Всемогущий народ" опасен более всякого деспота, и нет сомнения в том, что деспотизм рано или поздно узурпирует права, данные народом. "В моих глазах свобода, — писал Констан, — означает победу личности над обладателями власти, стремящимися управлять деспотически, и над массами, требующими себе право поработить меньшинство..." И еще яснее выражает свою мысль Констан, когда говорит: "Народ не вправе покушаться на свободу мнений, религиозную свободу, гарантию против произвола. Никакой деспот и никакое народное собрание не могут оправдать это покушение ссылкой на то, что народ дал им соответствующие права".

5

То, что сказал Честертон об искусстве и воззрениях, приложимо и к революции: нет большего поражения, чем успех. С точки зрения сторонников победившей революции, быстрая сдача монархического режима и его якобы полное согласие

с принципом народного суверенитета было несчастьем. Чтобы революция могла претворить в жизнь свою программу, она нуждается в энергичном сопротивлении, в предательских заговорах внутри или нашествия врагов извне, в восстаниях, в чрезвычайном положении, — иначе говоря, она нуждается во "врагах народа".

После 1848 года во Франции все партии конкурировали в выражении своей преданности революции. Все требовали провести впервые в истории всеобщие выборы, осуществить принцип народного суверенитета. Такой старый заговорщик и революционер, как Распай, в своей газете "Друг народа" писал: "Террор 1793 года — теперь, в 1848? Нет в этом никакого смысла! Это было бы сумасшествием, драмой, которая может родиться только в голове Нерона, сжегшего Рим ради того, чтобы воспроизвести пожар Трои. Террор против кого? Против нас самих? Но ведь мы придерживаемся одного мнения..."

Сторонники революции были настолько опьянены принципом избирательного права, что не желали и думать о захвате власти. Может, поэтому воспоминания о великой революции и революционные лозунги вносили в их ряды замешательство.

Подлинным испытанием революции 1848 года стали всеобщие выборы. Но они обернулись всеобщим разочарованием, несмотря на высокий процент /84%/ участвующих. Социалисты оказались в незначительном меньшинстве. Как не без злорадства отметил Токвиль, "в этом парламенте оказалось больше собственников, чем во всяком другом, где само право голоса принадлежало только собственникам."

Оправившись от испуга перед революцией, либералы начали пользоваться аргументами, взятыми из арсенала консерваторов: попытка осуществить абстрактную программу равенства ради освобождения индивидуума приводит к обратным результатам — к подавлению личности. Вначале в борьбе против монархии и церкви либералы подчеркивали значение разума. Однако, придя к власти, они — уже из прагматических соображений — стали отвергать требования, основанные на торжестве разума и справедливости.

Поражение революции в Париже отозвалось во всей Европе. Франция, совершившая революцию в феврале 1848 года, теперь оказалась во главе реакции. Это не могло не наложить отпечатка и на область национальных отношений. Идея нации, которая была раньше символом свободы, как понятие углубилось и обогатилось. Слову "нация" был придан смысл коллективной исторической индивидуальности, вобравшей в себя все проявления национального духа в прошлом и настоящем. Впрочем, это относилось лишь к "историческим" нациям. Нации же "неисторические" так и остались объектом господства других народов. Национальные притязания словаков, румын, чехов, провозгласивших свою национальную особость, не были признаны ни немцами, ни поляками, ни венграми. По-видимому, именно тогда и пришел час торжества национального эгоизма.

1848 год стал годом великих перетасовок в центральной Европе. "Демократические" народы хотели сохранить в своих руках плоды завоеваний и вместе с тем рассматривали себя как интегральную часть европейской революции. Против них поднялись угнетенные нации, заявившие о своем праве на свободное развитие. Европейские революционеры подняли на щит венгерскую нацию как самую революционную, но никто тогда не обратил внимания на отсталый, феодальный характер венгерского общества. Кошут был действительно радикалом, но венгры, руководимые им, боролись не только против Габсбургов, но и за великую Венгрию. В их глазах это не было завоевательной войной, а борьбой за существование, ибо они были окружены "славянским морем" и видели себя стоящими перед дилемой — либо великая Венгрия, либо неминуемая гибель. Таким образом национальные интересы выступили как мощный антипод международной революции и в конечном счете они одержали победу.

6

Нет сомнения в том, что гнев и разочарование побудили пять миллионов французов голосовать на выборах прези-

дента республики за Луи Наполеона. Остальные кандидаты набрали лишь по паре десятков тысяч голосов. Упорная вера Луи Наполеона в собственную миссию и горячая поддержка миллионов, которой он удостоился, объяснялись не только наполеоновской легендой. В большой мере это было проявление — только в обратном виде — политического мессианизма того времени. Избранник, осуществляющий свою историческую миссию, выступил как воплощение надежд эпохи.

"Аристократия, — говорил Луи Наполеон, — может обойтись без головы, но демократия по самой своей природе должна воплотиться в личности, которая способна свести на нет отсутствие постоянства и последовательности, характеризующие демократию".

Раньше аристократия служила гарантом постоянства и последовательности в жизни общества. Теперь эту роль признала выполнить демократия. "Я должен сообщить вам, кто я и каковы мои стремления, — сказал Наполеон на собрании в Лионе. — Я не принадлежу ни к какой партии, я представляю волю нации, которая проявилась в 1804 и 1848 годах, чтобы спасти наследие Французской революции в духе сохранения порядка... И если снова пробудятся преступные стремления, я обращусь к принципу суверенитета народа и буду действовать в его духе, ибо не существует человека, который имел бы большее право, чем я, провозгласить себя представителем народа".

Авторитарная демократия неизменно заявляет, что она готова выполнять все требования порядка и традиций, но она не отождествляет себя ни с одним из них. Луи Наполеон считал себя хранителем порядка, основанного на частной собственности, но в то же время он написал брошюру "Упразднение бедности", в которой сказано: "Да не будет больше лишений для больных и для тех, кого старость заставляет оставлять работу".

Опирающаяся на плебисцит диктатура, или авторитарная демократия Луи Наполеона, имела своим источником ничемность парламентского режима во Франции, с одной сторо-

ны, и наполеоновскую легенду, с другой. Но был и третий источник — политический мессианизм.

Переворот Луи Наполеона в декабре 1851 года был лишен романтики баррикад. "Я распустил Национальное Собрание, я обращаюсь к народу, чтобы он рассудил нас", — заявил президент. Народный референдум утвердил переворот громадным большинством — семь с половиной миллионов против немногим более полумиллиона.

7

То, что будущим поколениям казалось откровением, на самом деле представляло явление, кульминация которого была уже позади. Именно эту точку зрения отстаивал Лоренц фон Штейн в своей книге "Социализм и коммунизм в современной Франции", увидевшей свет в 1847 году, за год до появления Коммунистического Манифеста.

"Сегодня уже невозможно рассматривать Маркса, — говорил он, — как откровение научного социализма. Недостаточно признать, что мысли юного Маркса были утопическими, утверждая, что будто бы отсутствует связь между ними и поздним Марксом. Не научное, а мессианское начало, служило стимулом исканий Маркса. "Научные" доказательства были привлечены для того, чтобы найти оправдание этому стимулу". Таким образом, марксизм тоже был не более, чем одно из ответвлений политического мессианизма.

Мессианские мыслители победоносно провозгласили свое революционное открытие: сплочение общества зависит от способности личности проявить индивидуальность. Свобода человека параллельна общественному сплочению. Бессилие индивидуумов является причиной всех общественных неурядиц, и наоборот, беспорядки в обществе порождают трудности существования личности. Эти мыслители верили, что в истории неизменно усиливается общественное сплочение. Развитие человечества представало в их глазах, как шествие на пути к полной гармонии.

Мессианские социалисты стремились преодолеть противо-

речия между личностью и общественной соборностью, между свободой и рациональностью, между человеком и природой и поэтому обратились к принципу, торжество которого нашло свое выражение в индустриальной революции. Им казалось, что промышленность, будучи продуктом спонтанных сил человека, несет в себе также его избавление. Объективная необходимость превратится в рациональную волю человека, а научное разделение труда даст возможность каждому выявить скрытые в нем потенциальные возможности.

Частная собственность казалась главным препятствием на этом пути. Вместо того, чтобы способствовать развитию личности, она разделила общество на имущих и неимущих. Отмена частной собственности и создание некой общественной собственности было провозглашено высшим научным принципом революции. Маркс верил, что концентрация производства, экономические кризисы, тяжело ударяющие по владельцам монополий, и наконец, борьба пробуждающегося пролетариата — все это историческая неизбежность, и таким образом сам ход истории приведет к полному освобождению человека. Индивидуум, отчужденный от средств производства и от самого себя, вновь обретет свою человеческую сущность.

8

Как выяснилось, не заключалось никакой исторической неизбежности в том, что мобилизация всех средств производства и концентрация их должны были принести освобождение человечеству. Отождествление свободы и рационального подхода к истории опять же оказались лишь мессианской надеждой. С этой точки зрения ожидания Маркса и его упование на едва ли не автоматическое освобождение людей кажутся более утопическими, чем учение Сен-Симона и Фурье. Последние понимали, что организованное разделение труда, базирующееся на общественной собственности, само по себе еще не избавляет от противоречий между личностью и обществом и, следовательно, не является оплотом против деспотизма стоящих

наверху и анархизма участников производственного процесса. Отсюда и стремление великих утопистов к новой религии.

Идеал освобождения, исповедуемый школой политического мессианизма, легко слился с традицией тоталитарной демократии, унаследованной от французской революции. Их объединяли общие предпосылки. Их выводы также были схожими. Тоталитарные демократы пытались разрешить проблемы свободы и равенства, прав личности и общественного сплочения путем отождествления себя со всеобщей волей, считавшейся объективной по природе вещей. "Мировой дух" Гегеля в его развитии и различные формы коллективной индустриальной деятельности являются различными проявлениями общей воли.

9

Всю борьбу политического мессианизма, его состязание с другими воззрениями как с правыми, так и с либеральными, можно представить как столкновения между индивидуальным и общим, между особостью и унификацией, между единством и разнообразием.

Общим для левых и правых является их жажда единого. В то время, как правые ощущают себя связанными чувством абсолютной зависимости, левые воспринимают единое как великую цель. Положение о первородном грехе, разделяющем плотский мир и мир праведный, дает возможность правым найти объяснение всем религиям в существующем Божественном устройстве. Мессианская левая не может не устремлять своих взоров к Новым небесам и к Новой земле.

Вера либерализма, родившаяся из абстрактных понятий о человеке, как о таковом, очень скоро вскрыла противоречия между идеей равенства и интересами конкретной личности. Либерализм видел, что у него нет альтернативы, и он вынужден был занять консервативную позицию и даже подавлять стремления мессианской демократии к равенству. Демократы обвиняли либералов в предательстве после того, как те пришли к власти с помощью лозунгов, которые отвергали вся-

кое монопольное право. Но они же, сами либералы, увековечили привилегии имущих. Таким образом, они возрождали феодализм, только расположенный этажом ниже. И так как у них, у либералов, отсутствует вера в равенство как Божественное начало, их защита привилегий имущих возбуждает больше отвращения, чем методы подавления феодалов. Особенно, если принять во внимание лицемерие либералов, отстаивающих при всем этом свою верность свободе и парламентаризму.

10

Революция 1848 года вначале казалась подтверждением пророчеств мессианизма, но впоследствии выяснилось, что в ней куда больше исторической преемственности. Эта революция доказала иррациональную приверженность людей к символам прошлого и вместе с этим продемонстрировала могущество классовых интересов. В конце концов выяснилось, что обе стороны ошибались — правые, охваченные страхом, левые — больные оптимизмом.

Чтобы разгромить силы консерватизма, тоталитарные демократы нуждались в кризисах и идеологических войнах, выступающих как отчаянная борьба наций за существование. Только война, создающая атмосферу чрезвычайного положения, делает возможной диктатуру и уничтожение противников, представляемых как предатели и враги народа. Но так как во второй половине 19-го века мир сохранился и устоял, выяснилось, что всеобщее избирательное право было голосованием не за революцию, а против нее. Так произошел раскол между двумя видами демократии. В действительности различие между ними — между демократией политической и общественной, буржуазной и народной, демократией жироидистов и монтаньяров, вольтеровской и руссоистской, наметилось еще до 1848 года.

Обращение Маркса в 1850 году к Коммунистической Лиге фактически означало слияние политического мессианизма с тактикой тоталитарной демократии. Несмотря на то, что мар-

ксистская теория знала период расцвета и роста массовых партий на Западе, — она нигде не добилась полного торжества. Но следует ли отсюда, что политический мессианизм исчерпал себя на Западе в 1848 году? Отвечая на этот вопрос, многие ссылаются на то, что большинство требований политического мессианизма были приняты в течение последующего времени и воплотились в законах многих стран. Нельзя, однако, не видеть, что эти реформы не были проведены в атмосфере революционного мессианского свершения. Они были не продуктом революции, а наоборот, результатом ее приручения. И по мере того, как исчезал кошмар мировой революции и страх перед всеобщим избирательным правом, европейский либерализм завоевывал все новые позиции и возобновлялось нормальное эволюционное развитие.

Итак, пришел час слияния демократии с либерализмом. В социал-демократии произошел поворот, она сомкнулась с линией исторической преемственности. Демократия перестала означать на Западе восстание обойденных, униженных и оскорбленных, а начала выражать возможность разрешения проблем на основе взаимного признания интересов различных сторон. Но наследники крайних воззрений нашли себе новый источник вдохновения: их идеи одержали триумфальную победу в странах Востока.

Подлинным победителем оказался национализм, который выступил вначале против общего врага — абсолютной монархии как интегральная часть политического мессианизма. Этот политический мессианизм, однако, перестал быть опасностью, как только выяснилось, что ему не удалось превратиться в некое подобие мировой церкви, в революционное войско, получающее приказы из верховного штаба.

Превращение национализма из универсальной идеологии в концепцию, выдвигающую абсолютный примат национально-го, демонстрирует победу традиционного разнообразия над идеей абстрактного единства. В отличие от правых с их консерватизмом, замкнутым в традиции, национализм стремился дать выход динамизму современного человека. Нация стано-

вилась центром всех привязанностей человека, его верности и преданности. И это уже было нечто более конкретное, чем интересы мирового пролетариата и служение человечеству. Перед лицом национального братства исчезали классовые различия, исчезало все, что не было связано с интересами нации.

Итак, идеология политического мессианизма перекечевала на Восток, и там, далеко от своего первоисточника, он раскрепостился и превратился в веру различных наций. Его судьба сходна с судьбой великих религий — христианства и буддизма: их родины не приняли этих религий, но они распространились во многих других странах.

Национализм не был венцом мессианских вожелений народов Европы. Более того, он подавил все лучшее в мессианизме и направил свободололюбивые стремления в русло неврозов, которые в час кризиса прорвались в виде нацизма. В основе своей мессианизм стал жизненным началом еврейско-христианской традиции, свидетельством глубокой и обеспокоенной совести. Он воплощал стремление подчинить мысли и деяния человека принципам возвышенного идеала, его внутреннюю потребность оправдаться перед высшим судом, его попытку осуществить справедливую жизнь на земле.

И вот перед нами раскрывается некая амбивалентность в отношении всех европейских ценностей: борьба с тайной зла и разными видами гнета, стремление к абсолютной и общей справедливости, — все это скатывается в пропасть лицемерного чванства.

Идеал универсализма человеческой истории почему-то всегда перерождается в различного рода макиавеллизм, в деспотический произвол правителей. С другой стороны, когда призыв ко всеобщему обновлению оборачивается обещаниями счастья и величия, мечта о справедливости отступает и ее место занимает погоня за удовольствиями или поисками убежища от неврозов. Мессианство превращается из веры в болезнь.

В условиях всеобщей урбанизации становится все труднее отличить депрессию отдельной личности от общественного

невроза. На фоне общей утраты стабильности вырисовывается образ современника, требующего счастья, как своего естественного права. Для него жизнь не есть служение, но лишь удовлетворение желаний. Жизнь человека на земле все больше выступает, как погоня за исчезающим мгновением, как тень чего-то реального, как подготовка к чему-то настоящему. Но нет уже веры в иной мир, которая была бы способна укрепить страждущее человеческое сердце.

Вот так стоит человек и страстно ждет избавления, или вернее, избавителя. Разочарование и растерянность готовят почву для прихода такого "избавителя". И именно таким образом зародилось лжемессианство, направившее националистические инстинкты и общественное возмущение против одной-единственной цели — против евреев: врага национально-го и одновременно космополитического эксплуататора.

По иронии истории снова объединились два течения мессианизма эпохи, предшествовавшей 1848 году, — социализм и национализм. Здесь налицо также и лжеуниверсализм — в этом противопоставлении двух рас — арийцев и евреев, воплощающем смертельную схватку двух противоположных принципов. Тайнственная сущность северной расы была превращена в абсолютную цель политического мессианизма, и царство разума уступило место мрачной иррациональности.

Победоносное шествие политического мессианизма из Европы на Азиатский Восток через Европейскую Россию выдвинуло перед нами ряд кардинальных вопросов. Светское мессианство означает веру в способность человека совместить два начала: необходимость в централизованном режиме и сохранение свободы личности. Восточные культуры, также как в значительной степени русская, не знали тех тревог, которыми жила Европа-законность применения силы в жизни общества и уважение к правам и свободе человека. Каковы бы ни были преувеличения в этой области, можно, кажется, утверждать, что народы Востока видели в силе естественное явление,

ние, которое находится вне сферы морали и с которым человек вынужден мириться. Личность здесь существует вне политической жизни, и ее связь с действительностью находится по ту сторону времени. В этом, возможно, причина отсутствия на Востоке институтов самоуправления и общественной гражданской инициативы.

Политический мессианизм вымел из России и Китая старые режимы с такой основательностью именно потому, что в них не было точек приложения общественной инициативы, которые могли бы устоять при крушении режимов.

Восточные культуры не знают традиций демократического творчества, и вопрос заключается в том, не усвоят ли они при восприятии политического мессианизма лишь его организационный аспект, пренебрегая его моральными требованиями. В этом случае русская и китайская мессианские революции могут лишь снизить до степени революций индустриальных, которые, правда, помогут миллионам людей добиться известного уровня материальной цивилизации, но ужасной ценой. Аппараты принуждения, развивающиеся с неимоверной силой, превратятся в средства мобилизации национализма против Запада, который в прошлом своей динамичностью принес этим народам много несправедливости и унижений. Так может случиться, что национализм снова окажется сильнее идеи рационального универсализма.

Есть глубокая ирония в том, что искания научного позитивизма породили бесчеловечную иррациональность. Если стремятся короновать о д н о г о , олицетворяющего разум единый и неделимый, то вся бесконечность разных разумов неизбежно поглощается этим высшим абсолютом. Само предвосхищение пантеисткой науки, которое охватывало Бога, природу, человека, историю и искусство, как цельную систему, с самого начала не было научным. Стремление к мета-науке имеет своим источником глубокие и вечные потребности, ко-

торые обострились под влиянием колоссальных перемен начала 19-го века. /Англия избежала их, и поэтому ее обошел политический мессианиззм./

Любовь к свободе, стремление к самовыражению и поиск справедливости, стимул к уединению и потребность в соединении сердец — все это действительно определяет основы нашего существования. И это влияет не меньше, а может быть, даже больше меняющихся экономических условий. Кто может усомниться в том, что события последних десятилетий до основания поколебали господство homo oeconomicus? Настал час, когда история нуждается в новых масштабах и критериях, и они относятся к сфере психологии.

Мы возвращаемся к проблеме человека. Является ли он существом разумным, стремящимся к гармонии? Его разрушительные стимулы, его антисоциальные поступки, его ленность — являются ли они болезнями, поддающимися лечению? Сумасшествие целых наций, жестокость толпы, бесконечные распри и раздоры — разве это только дикие растения, которые исчезнут, чтобы не возродиться больше? А может быть, они и есть наше внутреннее содержание, сама суть человеческого бытия?

На чаше весов — судьба всего живого, и это в тот час, когда поколеблена вера в Бога, в вечную жизнь, в традиции, имеющие глубокие корни. Все громче раздается призыв познать сущность свободы и избрать единственно верный путь среди различных альтернатив. И это тогда, когда человек не прекращает биться в тисках мучительного одиночества.

Публикуется с разрешения издательства "Двир". Перевод с иврита С. Левковича.

"Я все равно паду
На той далекой, на гражданской..."

Б. Окуджава



Н. ПРАТ

И.

ЭМИГРАНТСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1

Существование эмигранта, оставившего сердце на покинутой родине, трагично и мучительно. Невыносимо всю жизнь ощущать себя чужим в той стране, где живешь. А духовная связь с родиной, любовно хранимая на чужбине, превращается просто в ностальгию, оказывается целиком обращенной в прошлое. Связь с родиной не прерывается — она застывает, становится жесткой и негибкой. Образ родины сохраняется неизменным, в то время как сама родина меняется, подчас до неузнаваемости. Эмиграция консервирует людей, их взгляды, привычки, вкусы, язык.

Пример русской эмиграции является самым убедительным подтверждением того, что отрыв от родины, соединенный с живым и болезненно обостренным чувством связи с ней, способствует сохранению психических особенностей и взглядов, корнящихся в исчезнувшем прошлом. Как отличаются друг от друга представители разных "волн" эмиграции, покинув-

ших Россию в разное время и в разных обстоятельствах! Эти отличия, в силу известного свойства человеческой природы отталкиваться от всего чужого, порождают неприязнь между эмигрантами разных поколений.

Каждая волна эмиграции несет с собой много предрассудков, комплексов и обид, рожденных перипетиями своего времени. В нормальных условиях они, вероятно, исчезли бы, оттесненные новыми впечатлениями. В условиях искусственной изоляции они стойко сохраняются, поражая постороннего наблюдателя своей живучестью.

История России за последнее столетие дает достаточно пищи для обид, озлобления, ненависти и других "отрицательных эмоций". В эмиграции все эти душевные раны не излечиваются. Конфликты, давно изжитые на родине, продолжают призрачную жизнь в эмиграции. Политические страсти необычайно сильны в среде русских эмигрантов. Парадокс тут в том, что политические возможности эмиграции, возможности влияния на положение в России чрезвычайно ограничены. Эмигрантская политика поражает несоответствием между эмоциональным напряжением, которое она вызывает, и скудостью своих средств и результатов.

Мне кажется, что политическая деятельность в эмиграции вообще не может быть очень плодотворной — в отличие от деятельности культурной. И прав, вероятно, А. Зиновьев, высказавший мнение, что политическая деятельность в эмиграции, "обличение язв советского общества", должна отойти на задний план по сравнению с культурной деятельностью. "Главное, — говорит этот выдающийся ученый и писатель, — не столько говорить о том, что могло бы быть или должно быть, сколько стать заметным образцом в этом возможном и должном. К журналистике это относится в особенности."*

Впрочем, Зиновьев скептически оценивает перспективы такого периодического издания в русской эмиграции, кото-

* А. Зиновьев. О коммунизме, о Западе и о себе. "Время и мы", № 46, 1979, стр. 149.

рое было бы посвящено в первую очередь культуре, а не политике. Он полагает, что "в условиях советизма, хотя и перенесенного на Запад, такого явления в журнальной культуре не допустят прочие собратья по эмиграции"*.

Нравы русской журналистики за рубежом вполне оправдывают его скептицизм. Политическая "злоба дня" безраздельно господствует во всех русскоязычных изданиях за пределами России. По крайней мере в тех, которые могут с большим или меньшим оправданием считаться серьезными. Политике подчинены все оценки — литературные, художественные, философские... Любая глупость или банальность встретит благосклонный прием на страницах эмигрантских журналов, если выскажет ее человек, политические взгляды которого соответствуют линии журнала. Наоборот, мысли глубокие и оригинальные, но чуждые этой линии, никогда не будут там опубликованы или будут опубликованы лишь в виде исключения, причем редакция постарается рядом напечатать статью, высказывающую взгляды, совершенно противоположные — в качестве противоядия. Периодические издания русского зарубежья подчинены строгой цензуре эмигрантского общественного мнения, отнюдь не страдающего избытком демократизма или терпимости. Безмерная политизация духовной жизни делает ее плоской и бедной.

Некогда русская эмиграция была чрезвычайно богата творческими силами в самых различных областях духа, на ней лежал еще отблеск расцвета культуры в предреволюционное десятилетие.

Сегодня приходится констатировать страшный упадок русской культуры за рубежом. За исключением нескольких имен, приобретших заслуженную славу еще в Советском Союзе, эмигрантские авторы редко поднимаются над уровнем посредственности.

Причем в литературе положение все же гораздо лучше, чем в других сферах духовного творчества. Где русская филосо-

*А. Зиновьев. Назв. соч., с. 129.

фия, социология, политическая экономия? Гуманитарные и общественные науки больше всего пострадали от тоталитаризма. Казалось, можно было бы ожидать выдающихся достижений именно в этих областях от людей, вырвавшихся из Советского Союза. На самом же деле то, что претендует быть этими достижениями, как правило, не выдерживает самой снисходительной критики. И лишь о плачевном состоянии эмигрантской журналистики свидетельствует восторг, периодически высказываемый ею по поводу какого-нибудь очередного гения-самоучки, в тысячный раз доказывающего с помощью избитых и заезженных аргументов превосходство свободного предпринимательства над социализмом или еще что-нибудь, столь же новое и оригинальное.

В эмигрантской публицистике часто можно встретить жалобы на западных советологов, которые не желают принимать всерьез теоретизирования освободившихся самородков, отмахиваются от их эпохальных открытий и, вообще, ничего не смыслят в советских делах. Ни в малейшей степени не оспаривая ценности личного жизненного опыта для понимания объекта, одной из особенностей которого является стремление к созданию собственного мистифицированного образа в представлении иностранцев, я вынужден напомнить о том, что наука требует специальной подготовки и овладения методикой своих специфических исследований. Эта тривиальная истина, к сожалению, с трудом поддается пониманию тех выходцев из Советского Союза, которые заранее уверены в своем безмерном превосходстве над наивными простачками с дикого Запада и, не проявляя никакого желания учиться, охвачены непреодолимой страстью учить и поучать.

Вместо того, чтобы бесчисленное количество раз повторять, что советская власть — очень плохая вещь /с чем, кажется, почти никто не спорит/, не лучше ли поинтересоваться тем, что было по поводу этой самой власти сказано разными сведущими людьми. Это по крайней мере позволило бы сэкономить время — собственное и читательское.

Необходимо преодолеть искусственную духовную изоляцию советского человека от западного мира и его идей, а не культивировать ее. Необходимо освободиться от завороченности советской действительностью, научиться видеть мир, в котором живешь, стать его частью, не теряя связи с покинутой родиной. Только тогда эмиграция будет духовно оправданной и осмысленной.

Не следует принимать как должное традиционную эмигрантскую страсть к раздорам. С ней нужно бороться как с опасной болезнью. Жаль душевных сил, бесплодно и бессмысленно растрачиваемых в бесконечных сварях, в этой нелепой междоусобице, компрометирующей русскую эмиграцию в глазах Запада. И нечего оправдывать "войну всех против всех" тем, что так, дескать, было всегда, что такова уж неистребимая особенность всякой эмиграции. Если видеть смысл пребывания в эмиграции в политической деятельности, тогда, вероятно, раздоров не избежать. Если же оттеснить политику на периферию, лишит ее центрального места в сфере духовных интересов, можно в значительной мере нейтрализовать естественную эмигрантскую тенденцию к всеобщей склоке и борьбе за фантомное лидерство.

Но чрезмерная политизация мышления, подчинение политике всех сфер духа не в новейшей эмиграции родились. Это старелая русская болезнь, коренящаяся в некоторых особенностях русской истории. Рискуя быть причисленным эмигрантскими публицистами к пестрой компании русофобов, попытаюсь сформулировать то, что, как мне кажется, представляет собой одну из причин нынешнего политоцентризма русской эмигрантской психологии.

2

Почетный председатель клуба русофобов Чаадаев выводил все бедствия России из факта заимствования ею христианства от Византии. Не вдаваясь в сравнительную характеристику двух главных ответвлений христианской церкви, отметим лишь как бесспорный исторический факт то обстоятельство,

что роль церкви в жизни западноевропейского общества была совершенно иной, чем в жизни Византийской империи. На Западе католическая церковь была единственной централизованной и объединяющей силой среди феодальной раздробленности. Она была не только носителем духа и культуры, но и самостоятельной политической силой, способной вступить в борьбу с императорской властью. Императорская власть в Византии, напротив, носила священный характер. Она подчинила себе церковь, лишила ее всякой самостоятельности. Исконный грех цезаропапизма тяготеет над восточной церковью, грех сервилизма перед государственной властью, воздаяния кесарю Божьего.

Падение Византии привело к тому, что отношения между церковью и государством на Руси стали складываться по византийскому образцу. Родилась идея Третьего Рима. Церковь была в Москве единственным хранителем духа. И она стала слугой государства. Дух был поработан и унижен.

Реакцией на поработание церкви самодержавием стало полное отчуждение интеллигенции от церкви. В глазах русской интеллигенции, вступившей в титаническую борьбу с устоями самодержавного государства, попы были жандармами в рясах. Атеизм и материализм русской оппозиционной интеллигенции в значительной степени объясняется тем, что религия ассоциировалась в ее глазах с идеологией самодержавия, с защитой и прославлением существующего строя и всех его пороков.

Отпадение интеллигенции от церкви стало возмездием за поработание церкви государством. Политизация православия, превращение его в идеологию самодержавия, пренебрежение самостоятельной и высшей ценностью религии стало причиной примата политики в мировоззрении революционной интеллигенции, утраты ею понимания самостоятельности высших сфер духа, грубого утилитаризма в ее отношении к литературе, искусству, гуманитарному знанию.

Традиционный образ русского "нигилиста" /революционного демократа по советской терминологии/ — это образ повича-семинариста, утратившего веру в Бога и перенесшего

религиозное чувство на социальный идеал. Такими, по-видимому, были Чернышевский и Добролюбов. Наряду с политизацией официального православия на формирование этого образа влияли некоторые более глубокие особенности самого православного мировоззрения. "Русский нигилист отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности, — писал Бердяев. — И тем не менее нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на духовной почве православия, он мог возникнуть лишь в душе, получившей православную форму. Это есть вывернутая наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли"*.

Идея социального служения, деспотический морализм, пренебрежение свободой личности во имя отвлеченно понятого блага народа характерны для русской революционной интеллигенции. Ее максимализм, питаемый упрямством и неуступчивостью самодержавной власти, свел практически к нулю шансы постепенного и мирного преобразования России в духе народоправства. Здесь не место следить за всеми перипетиями борьбы русской интеллигенции с самодержавием, борьбы трагической и самоубийственной, героической и гибельной для тех идеалов, которым самоотверженно служила интеллигенция.

Сегодня есть много охотников судить русскую интеллигенцию по всей строгости закона — неписанного закона победителей. Ее обвиняют во всех бедах, выпавших на долю России в XX веке. Одновременно той власти, с которой боролась интеллигенция, охотно дается отпущение грехов. Порой приходится услышать даже сожаление по поводу чрезмерной мягкости и недостаточной решительности этой власти. Надо было в свое время повесить какое-то количество бунтовщиков, и тогда все было бы в порядке.

* Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955, стр. 37-38.

Не берусь сравнивать вещи несопоставимые— слабеющее и растерянное самодержавие, — и молодой, полный яростной энергии и несокрушимой воли тоталитаризм. Однако этот последний смог победить в России потому, что свобода оказалась в ней слишком слабым растением. Она не сумела пустить корни в толщу народа, той самой "почвы", которую так любят за это русские реакционные романтики. Политическая неразвитость, темнота и озлобленность народных масс никак не меньше повинны в победе коммунистической диктатуры, чем беспочвенная мечтательность интеллигенции. Вина и за то, и за другое лежит в конце концов на старом режиме, который не сумел ни привлечь на свою сторону лучшие умы страны, ни просветить народ, ни удовлетворить земельный голод крестьянства, ни избежать войны, ни вести ее...

В последнее десятилетие перед началом Первой мировой войны в России происходили важные перемены. Страна переживала бурный рост экономики, замечательный расцвет культуры. Страна европеизировалась, ее политическая жизнь приобретала черты подлинно конституционного правления, возникло легальное рабочее движение, аграрная реформа начала менять лицо деревни. Это развитие могло бы в конце концов привести к таким переменам, которые сделали бы революцию не только излишней, но и невозможной. Война зачеркнула эту перспективу. С 1914 года история России разворачивается под зловещим знаком войны.

3

Еще в XIX веке в реакционных кругах родилась легенда — успокоительная для власть имущих — об иностранном происхождении русской крамолы. "Польская интрига", происки иезуитов, "англичанка гадит", наконец, "жидовский кагал" — вот жалкие попытки объяснения революционного движения, придуманные русской реакцией. Зато терпеливый русский народ наделялся абсолютным иммунитетом к болезням западного происхождения, распространителем которых была денационализированная интеллигенция.

Свое самое совершенное, законченно-уродливое выражение эта легенда нашла в идеологии русского протофашизма — черносотенства. Легенда оказалась чрезвычайно живучей — она пережила все исторические испытания и удары, была взята на вооружение сталинизмом и вновь ожила после кратковременного увядания в идеологии новейшего русского национализма как просоветского, так и антисоветского. В мифологии этого сорта есть, по-видимому, нечто необъяснимо привлекательное для реакционного сознания.

Казалось бы, страшное потрясение революции должно было нанести этой легенде сокрушительный удар, наглядно продемонстрировав ее несостоятельность. Неистребимость ее доказывает, что социальная психология и логика имеют между собой очень мало общего.

Между социальной психологией и логикой пребывает своеобразная область идеологии — функционального, утилитарного сознания. Идеология — не будучи творчеством автономных духовных ценностей — составляла характерную особенность русской интеллигенции. И сегодня официальный советский марксизм-ленинизм говорит о "передовой идеологии", игнорируя то обстоятельство, что для Маркса идеология означала л о ж н о е сознание. Пренебрежение истиной ради интересов народа /к тому же интерпретируемых весьма произвольно/, превращение религии, искусства, литературы, науки в орудия каких-то социальных сил, приписывание им ценности в зависимости от успешного или неуспешного выполнения ими этой инструментальной функции — все эти свойства русской интеллигенции, обличаемые некогда авторами "Вех", в такой же — или в еще большей — мере были присущи сторонникам старого режима в России. Духовная жизнь великой страны издавна была насквозь пропитана политикой. Высокие материи и громкие слова оказывались псевдонимами прозаических интересов. Протест веховцев против засилия идеологии в сознании интеллигенции был понят этой интеллигенцией единственно доступным ей образом — как политическое ренегатство, как сдача позиций и измена заветам. Нынешние последователи русских реакционеров предреволюционной эпохи по-

нимают идеи "Вех" точно так же, как понимала их некогда революционная интеллигенция, только вместо возмущения ренегатством они выражают удовлетворение по поводу возвращения блудных сыновей под отеческий кров. Боюсь, что популярность "Вех" в русской реакционно-националистической эмиграции развеялась бы, как дым, если бы ее представители были способны понять истинный смысл этого замечательного образца "самокритики" тех русских интеллигентов, которые достигли, в отличие от большинства своих собратьев, духовной зрелости.

"Вехи" могли стать манифестом освобождения русской интеллигенции от вериг, которые она на себя добровольно наложила. Однако идеологическая инерция оказалась сильнее. Большинство русских интеллигентов отвергло призыв веховцев, осталось глухо к вопросам религии, сохранило прежнюю сектантскую веру в общественность. "Вехи" могли появиться на свет лишь после того, как опыт революции 1905 г. показал, что опасность угрожает свободе не только со стороны власти, но и со стороны ее врагов.

В отличие от тех многочисленных историософов, которые полагают, что России, вследствие своеобразия ее истории, был заказан путь демократического развития, я полагаю, что судьба России не была фатально предопределена ее прошлым. Великая евразийская страна вполне могла усвоить западные институты и стать одной из самых могучих демократий мира. Война, породившая великую катастрофу, не вытекала с необходимостью из русской истории. Она явилась всеобщим грехом западной цивилизации. Россия несет свою долю вины за этот грех, но эта доля — не главная. Напряжение сил, которого потребовала война от России, оказалось непосильным для страны, подлинная европеизация которой делала лишь первые шаги. Европеизация не состоялась. Россия стала первой страной в мире, модернизация которой совершилась иным путем, чем модернизация европейских стран. Этот путь стал образцом для многочисленных стран так называемого "третьего мира".

То, что возможность развития по западному пути, реальная в начале века, не реализовалась в России, является ее величайшей трагедией. Однако явным преувеличением является распространенное мнение о полной непригодности западных институтов для России. Это мнение служит аргументом в пользу сохранения в России — при любых исторических изменениях — той или иной формы авторитарного правления. Но человечество не изобрело никаких других форм защиты личности от тирании государства, кроме политической демократии.

Демократическая традиция в России чрезвычайно слаба. Русская история свидетельствует о том, что слабость этой традиции отнюдь не является случайностью.

Я не стану спорить с теми, кто утверждает, что в истории России проявляется некая тенденция, враждебная свободе. Однако я решительно возражаю против того, чтобы выводить эту тенденцию из вечных свойств русского духа и приписывать ей непреодолимость и неизменность. Я не верю в непреодолимые для человеческой воли законы истории. Всякий исторический фатализм — гегельянский, марксистский или славянофильский — наталкивается на непреодолимое препятствие в лице сознаваемой каждым человеком свободы воли, позволяющей ему совершать выбор между различными возможностями исторического действия. Быть может, вероятность торжества свободы в России невелика. Но эта вероятность, в конце концов, есть не более, чем математическая фикция. Жизнь и сознание означают, если рассматривать их с точки зрения вероятности, торжество менее вероятных состояний над более вероятными.

Тот несомненный факт, что в прошлом свобода всегда терпела в России поражение, отнюдь не может быть доказательством того, что так будет и впредь. Вообще, цена исторических предсказаний, основанных на обобщении прошлого опыта, весьма невелика. Те, кто радуются или горюют по поводу неспособности русского народа к свободе, основывают свои суждения на неоправданных экстраполяциях.

Необходимым условием свободного выбора является осознание условий, влиявших в прошлом на принятие тех или

иных решений. Условием освобождения России может и должно стать осознание тех обстоятельств, которые препятствовали в прошлом этому освобождению. Историческая мифология должна уступить место пониманию. Склонность предпочитать утешительную ложь неприятной истине — общечеловеческая, но недостойная черта. Пока русские эмигранты не осознают, что бедствия, выпавшие на долю России, коренятся в особенностях русской истории, а потому только внутреннее моральное перерождение, а не устранение каких-то чужеродных сил, способно привести к освобождению России, час этого чаемого освобождения не наступит. Это, между прочим, одна из идей, завещанных нынешнему поколению авторами "Вех". Власть, которую националистически настроенные эмигранты стараются представить нашествием инородцев и чужеземцев, чем-то вроде нового татарского ига, может не бояться противников, рисующих в своем воображении столь мистифицированный ее образ.

4

Общенациональный подъем в начале роковой для России /и не только для нее/ Первой мировой войны сменился к ее концу почти полной утратой национального чувства измученными массами народа. Русский народ отказался воевать с внешним врагом, но не обрел желанного мира. Неслыханно жестокая гражданская война залила Россию кровью. Эта страшная, братоубийственная бойня на долгие годы предопределила психологию народа. Ненависть к соотечественникам-врагам одинаково характерна для представителей обоих лагерей, независимо от их цветового обозначения. Причем ни белые, ни красные не понимали истинного смысла своей борьбы. Как те, так и другие выражали свое понимание событий в мифологических понятиях — в понятиях социалистической революции пролетариата и борьбы против мирового капитала или в понятиях защиты национальной России от интернациональных заговорщиков. Страшная разруха воспринималась многими как развал страны, заклятие ее на алтаре мировой революции. На

самом деле анархия и разруха явились лишь прологом к восстановлению и неслыханному укреплению деспотической русской государственности — сперва под обманчивым лозунгом интернационализма, а затем все больше и больше — под знаком возрождения национальных и имперских традиций. Подобно тому, как некогда татарская стихия изнутри овладела душой православной Руси, так "византийско-татарская сущность" /выражение Вл. Соловьева/ Московского государства изнутри овладела душой "диктатуры пролетариата". Сквозь внешний облик социалистической республики трудящихся все более явственно проступала обновленная и укрепленная плебеизацией своего правящего класса империя. Это прекрасно понимал Сталин. Не случайно и не по прихоти он восстановил не только границы прежней империи, но и ее символику, ее традиции и славу. К концу сталинского правления шовинистический угар перешел все границы возможного. Гротескный изоляционизм этого времени до сих пор оказывает огромное влияние на психологию советского человека. Полная несовместимость утрированного русского национализма с марксистско-ленинской идеологической традицией не очень беспокоила казенных идеологов той эпохи. Как уже отмечалось выше, логика не тождественна идеологии, хотя идеология и нуждается в логике.

В конце концов русский человек утратил веру во всякую идеологию. Но природа, как полагали когда-то, не терпит пустоты. И рост националистических настроений в современной России означает, быть может, будущий отказ империи от унаследованной чужой и все менее жизнеспособной идеологии ради адекватного самопознания и самоутверждения в более приемлемых для имперских задач терминах.

Вынужденные покинуть Россию, эмигранты увезли с собой тот комплекс идей и настроений, который был там приобретен. Кроме монархической и националистической эмиграции, существовала еще эмиграция демократическая, представленная той интеллигенцией, которой одинаково были чужды и правые, и левые враги свободы. Все партии, некогда существ-

вовавшие в России, доживали свой век на чужбине, продолжая старые споры и обвиняя друг друга в поражении. Но первая русская эмиграция была очень большим и очень серьезным историческим явлением. Она не только сохранила в неприкосновенности старые ценности и предрассудки. В эмиграции начало происходить преодоление того рокового раскола между духовными основами русской истории и носителями исторического прогресса, которое сыграло столь роковую роль в жизни страны. Демократическая интеллигенция преодолевала материализм, атеизм и позитивизм, унаследованные ею от учителей — слабых мыслителей и негибких борцов XIX века. В таких журналах, как "Современные записки" и "Новый град", происходила встреча деятелей русского религиозного возрождения, выдающихся русских мыслителей, бывших веховцев с той интеллигенцией, пороки которой некогда обличали "Вехи". В период между двумя войнами были опубликованы самые замечательные произведения русской философии. Духовная элита русской эмиграции должна была бороться с непониманием и неприязнью тех, кто "ничего не понял и ничему не научился".

К сожалению, мало кто из представителей этой элиты пережил надолго новую страшную катастрофу — Вторую мировую войну. Русская демократическая эмиграция постепенно вымирала. И она не оставила наследников. В то же время правонационалистические идеи демонстрируют в эмиграции поразительную живучесть. Новая эмиграция, влившаяся в русское зарубежье после Второй мировой войны, принесла с собой опыт жизни в Советском Союзе и большую политическую наивность. Под влиянием ее настроений поразительным образом изменилась идеология некоторых эмигрантских организаций, возникших еще в межвоенный период, как, например, НТС. Уже само изменение названия этой организации — превращение "национально-трудового" в "народно-трудовой союз" на первый взгляд как будто совершенно незначительное, — приводит в действие механизм ассоциаций совершенно иного характера, чем те, которые порождались прежним названием. Правонационалистическая традиция подменяется традицией интел-

лигентской, народнической революционности. Некогда эсеры — самая влиятельная в 1917 году партия революционной демократии — определяли русскую революцию как "народно-трудовую" — не буржуазную, но и не социалистическую. В какой мере это изменение названия отражает подлинную перестройку мировоззрения, что в действительности представляет собой русский эмигрантский солидаризм — это уже вопрос другой, заслуживающий специального рассмотрения. Важно лишь отметить, что послевоенная, так называемая "вторая" эмиграция жила в кругу идей совершенно иного происхождения, чем "первая". Но история межэмигрантских отношений в период после окончания Второй мировой войны полна тех же распрей, борьбы за лидерство, возни вокруг эфемерных организаций, которые тут же раскалывались, что и история эмиграции прежних призывов, не исключая и дореволюционного...

Если в первой эмиграции мелочное и бессмысленное политиканство умерялось в значительной мере творчеством духовных ценностей, то в эмиграции послевоенной политическая злоба дня господствовала безраздельно. Вчерашние советские люди привезли с собой ощущение исключительного, почти безраздельного господства политических интересов над всеми прочими.

Б. Рассел как-то заметил, что только в России белые — это идеалисты, а красные — материалисты. Русский человек мыслит блоками идей: каждая идея влечет за собой массу ассоциаций по смежности. Логической связи между этими идеями может не быть. Православие ассоциируется с самодержавием и народностью. Социализм — с господствующей в Советском Союзе системой. Лишь демократия, ассоциирующаяся с абстрактным Западом, не связывается с четким и законченным комплексом идей. Поэтому демократия — единственная политическая идея, способная раскрепостить мышление русского человека, излечить его от тоталитарных комплексов. Пребывание в эмиграции может стать школой демократии. Но для того, чтобы вынести из школы знания и полезные навыки, нужно хотеть учиться. Российский отрок, возвра-

щающий карту звездного неба исправленной, стал взрослым и постарел, но ума не набрался. Может быть, хватит восхищаться инфантильностью национального духа? Русский народ вправе ждать от тех своих сыновей, которые живут в условиях свободы, нового и важного слова. Оправдает ли русская эмиграция это ожидание?

От редакции. Публикуя статью Н. Прата, безусловно интересную, острую и не могущую не привлечь внимания читателей, мы считаем, что автор высказывает и ряд спорных положений. Трудно не согласиться с его критикой в адрес современной эмиграции, раздираемой бесконечными распрями, нестихающей войной "всех против всех". Но также трудно принять его безоговорочный пиетет перед Западом и особенно перед западными советологами. В противовес "теоретизированию освободившихся самородков", последних Н. Прат представляет в облике "сведущих людей", прошедших "специальную подготовку" и овладевших "специальными методиками своих исследований". Неизвестно, какие свидетельства мог бы привести автор в подтверждение своих оценок, но свидетельств обратному, свидетельств бесчисленных провалов западной советологии, более чем достаточно. Современная эмиграция выступает у Н. Прата в облике постаревшего, небравшегося ума отрока. Кого имеет в виду автор в этой, мягко говоря, обобщенной оценке? Неужто прямо-таки всю третью эмиграцию? И если Запад в противовес ей, наивной и инфантильной, выглядит столь мудрым и осведомленным, то отчего же он терпит поражение за поражением в своих попытках противостоять насилию? Крайние оценки всегда рискованны. И все же мы надеемся, что мысли, высказанные в статье Н. Прата, могут стать предметом плодотворной дискуссии о роли и судьбе современной эмиграции. И во всяком случае мы готовы предоставить трибуну для высказывания любой из противостоящих точек зрения.

ПИСАТЕЛЬ И МИР

"Чтоб у нас в кармане было столько купюр, сколько их в этой книге".

Надпись, сделанная на книге, вышедшей у моего друга.



Илья СУСЛОВ

ЭССЕ О ЦЕНЗУРЕ

Как-то так случилось в моей жизни, что я все время имел дело с цензурой. Для человека, родившегося и выросшего в России, это само собой разумеющееся явление, ну как же без нее? Это не изобретение советской власти. Цензура была придумана еще в XIV веке Папой Урбаном VI, который постановил, что можно пользоваться только книгами, которые не содержат ничего, противоречащего догматам церкви. С тех пор все догматики пользуются услугами цензуры. Сегодня цензура, если процитировать Большую Советскую Энциклопедию, это "контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием /исполнением, показом/ пьес и других сценических произведений, кино-, фотопроизведений, произведений изобразительного искусства, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки, с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными.

По способам осуществления цензура делится на предварительную и последующую. Предварительная предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в свет книг, постановку пьес и т. д., последующая заключается в оценке уже опубликованных, выпущенных изданий, поставленных пьес и т. д. и принятии ограничительных мер в отношении тех, которые нарушают требования цензуры".

Далее там же сказано, что в России цензура зародилась в XVI веке /отстаем, как всегда, от передовых стран/ и была постоянным оружием царского правительства в его борьбе с революционным движением, демократической литературой и публицистикой.

Что же касается Советского Союза, то никакой цензуры там не было и быть не может, потому что Конституция СССР в соответствии с интересами народа гарантирует гражданам свободу слова. Вместо же цензуры установлен "государственный контроль, чтобы не допустить опубликования в открытой печати и распространения средствами массовой информации сведений, составляющих государственную тайну, и других сведений, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся".

Под государственной тайной здесь подразумевается правда, а под трудящимися — партийная верхушка. Что, по-своему, правда, потому что они тоже много работают.

Такой длинный научный экскурс в историю вопроса я предпринял потому, что энциклопедия ничего не сказала о самом главном виде цензуры — самоцензуре, которая и является ведущей силой советской общественной жизни. Она подразумевает то обстоятельство, что народу, в целом, и его интеллигенции, в частности, уже внушен достаточный страх, и человеку разрешено думать одно, а говорить другое. Один гражданин, помнится, пришел к врачу и пожаловался на эти симптомы:

— Понимаете, доктор, говорю одно, думаю другое, а поступаю совсем по-третьему.

Доктор посмотрел и сказал:

— Извините, но от марксизма мы не лечим.

Так что это явление — самоцензура — целиком советское. При царе его не было. А, может, было?

Я стал копаться в литературе, чтобы узнать, как они тогда работали, сатирики и юмористы, что им разрешали, а что нет. Кто их вызывал, кто на них орал, кто им грозил и кто запрещал. Я это сделал, чтобы сравнить с живой жизнью советской литературы спустя пятьдесят-шестьдесят лет после революции. И, конечно, хотел посмотреть, как это удавалось сатириковцам писать так смешно и остро.

Как известно, в 1905 году царь испугался и издал манифест. В учебниках немножко туманно рассказывалось, что же это за манифест такой. Обычно партийные историки разъясняли, что манифест заключался в том, что "мертвым — свободу, живых — под арест". И все. Школьник, конечно, представляет себе, что все живые граждане России отправились в тогдашний ГУЛАг, а почивших в бозе каким-то образом реанимировали и выпустили из кладбищ на свободу.

На самом же деле, гражданам тогдашней России даровались гражданские права, в частности, свобода печати. Революционеры открыто продавали свои газеты. Цензура была отменена. Сатирики и юмористы разыскали друг друга и в 1908 году открыли журнал "Сатирикон", а с 1913 года — "Новый Сатирикон". Правда, цензура все-таки имела место: царь упрямился при составлении манифеста 1905 года, чтобы в печатных изданиях не было персональных насмешек над царем и его супругой. Чтобы на картинках не изображались члены царствующей семьи в похабном виде. Пожалуйста, уж. В виде исключения. А так — все можно. И цензор просматривал "Сатирикон" с этой точки зрения.

И прямо-таки видится картинка: издатели "Сатирикона" гг. Аверченко и Корнфельд приносят цензору сигнальную верстку свежего номера журнала "Сатирикон", Цензор, какой-нибудь там сенатор, в расшитом золотом камзоле, в лайковых перчатках, седовласый, с моноклем, рассматривает листы. Корнфельд и Аверченко презрительно за ним наблюдают.

— Ну что же вы, господа, опять за свое? — устало спрашивает цензор. — Ведь сказано уже в тысячный раз, что нельзя особ императорской фамилии изображать в таком, как бы это лучше сказать, неприглядном виде. А здесь у вас карикатура на Ее Императорское Величество, Александру Федоровну. Да и как гадко! Она же не публичная девка, как у вас здесь показано, а царица, ну откуда у вас такое неуважение? Неприличное, господа...

— Ах так! — говорят Корнфельд и Аверченко.— Запрещаете, значит? Выходит, никакой свободы и нет? Мы подчиняемся насилию. Но не подумайте, пожалуйста, что мы с этим согласны!

Сенатор кивком головы отпускает журналистов. А те хватают пролетку и, хохоча во все горло, прилетают в редакцию.

— Сняли! — радостно говорят они. — Скорее выньте эту грязную карикатуру из набора!

Метранпаж вынимает клише карикатуры, и журнал выходит в свет... с белым пятном.

И читатель, ох уж этот наш русский читатель-либерал!, читает "Сатирикон", и, утирая усы после шампанского, говорит знакомому в ресторане "Славянский базар":

— Нет, вы только посмотрите, как замечательно проехался "Сатирикон" по язвам нашей жизни! И все так точно, так смело! А это белое пятно? Здесь, верно, уж такое было пропечатано, что эти псы цепные из царской охранки испугались пропустить! Нет, положительно настало время избавиться от проклятого царского режима! Ведь до чего доходит...

А этого только и нужно было предприимчивым Корнфельду и Аверченко! И журнал расходился, как пончики на углу Невского!

Коммерческие приемы, которые применялись издателями "Сатирикона", нисколько не умаляют их творческих талантов, в конце концов, издание журнала — это бизнес, и подписчиков надо уметь привлекать. В данном случае я просто хотел обратить внимание современного читателя на цензурные, пря-

мо-таки идиллические порядки, существовавшие в России в начале двадцатого века. Неудивительно поэтому, что писатели, сотрудничавшие в "Сатириконе", моментально почувствовали, что именно принесет с собой большевистская революция, и почти в полном составе эмигрировали за границу. Уехали и Аверченко, и Бухов, и Тэффи, и Саша Черный, и Ре-Ми, и А. Бенуа, и Добужинский... Все уехали. Надо сказать, что журнал был до этого закрыт по постановлению советского правительства. Закрыть журнал — это еще одно из проявлений цензуры.

Впервые я увидел, как работает карандаш цензора, когда попал в начале шестидесятых годов в журнал "Юность". Это была чистая случайность, что я туда попал. Я шел по улице и встретил своего старого знакомого еще по институтским временам Иосифа Оффенгендена. Он был постоянным художником журнала "Юность". Он сказал мне:

— С-сс-лушай, с-старик, я с-свободный художник, а из м-меня с-сделали за-за-заведующего ре-редакцией! А я, сс-старичок, ненавижу э-это де-дело. А ты это, на-наверно, любишь. По-пойдем.

Он взял меня за руку и отвел в редакцию "Юности". Я тогда был инженер, начальник цеха в типографии, и для меня "Юность" была недостижимой мечтой. Конечно, я и тогда баловался литературой, писал эстрадные обозрения и репризы для клоунов в цирке, и песни /тогда еще не было Булата Окуджавы, и мы писали песни под Лебедева-Кумача. Потом появился Булат, и мы поняли, какой мусор мы писали. Булат и убил во мне песенника/. Но "Юность"!..

В дверях редакции я столкнулся с Борисом Николаевичем Полевым, которого только назначили главным редактором "Юности".

Ося Оффенгенден сказал:

— Бо-борис Ни-николаич! Вот этот па-парень хочет за-заведовать ре-редакцией. Я его з-знаю. Он хо-хороший.

— Пьете? — спросил Полевой.

— Нет...

— Приняты, — сказал Полевой, и моя судьба перевернулась.

Я стал заведующим редакцией "Юности" и поступил в подчинение ответственного секретаря Леопольда Абрамовича Железнова. Месяцев через шесть я однажды зашел в его кабинет и увидел, что он вместе с другим членом редколлегии, Э. Б., правит чью-то рукопись. Это была одна из повестей Василия Аксенова. Я ее читал в рукописи, когда Аксенов только принес ее в редакцию. И вдруг я увидел, что Железное вычеркивает из повести те самые места, ради которых она, собственно, и была написана! Причем, он делал это совершенно безошибочно, он чувствовал будущую опасность этих слов. Он медленно обводил карандашом подозрительные строчки, перечитывал их еще раз, на секунду задумывался, а потом вычеркивал их из рукописи.

Я никогда до этого не видел, как это делается. И "Юность" для меня была тем, чем она была для других: самым либеральным /после "Нового мира"/ журналом, приютом свободомыслия и интеллигентности. Когда из произведения вычеркиваются строки, их как бы и не существовало в природе, они расстреляны...

— Леопольд Абрамыч, — сказал я, — что же это? Это же... фашизм.

Они подняли головы и долго и внимательно на меня посмотрели. Железнов побледнел, и я понял, что сморозил что-то совсем-совсем страшное.

— Идите к себе, — сказал он, — и зайдите через десять минут.

Это были плохие десять минут в моей жизни. Я бы не простил, если мне мой подчиненный такое сказал. Я бы его выгнал.

Через десять минут он позвал меня к себе и запер дверь.

— Илья, — сказал он, — мы думали, что нам с вами теперь делать. Мы пришли к заключению, что не будем вас выдавать, потому что это вас погубит. Ваше ужасное замечание говорит о том, что политически вы очень незрелый человек. Но запомните, Илья, вы никогда, слышите, никогда не подниметесь вверх по литературной лестнице. Вы опасный нигилист, поня-

тия не имеющий, что такое партийная литература. Идите. В нашем решении сыграло роль ваше участие в моей прошлой жизни...

Когда я учился в девятом классе, я познакомился с девочкой. Ее звали Надя Железнова. Это было примерно за пятнадцать лет до моего разговора с ее отцом, Леопольдом Железновым, ответственным секретарем "Юности". На дворе стоял пятидесятый год. Надя жила в Москве на Трубной. Она разрешала мне провожать себя до подъезда, но никогда не приглашала в гости. Я знал, что ее отец — журналист, а мамы у нее нет. Однажды я все-таки напросился, и Надя повела меня к себе. Я познакомился с ее отцом и стал единственным человеком, кто переступал порог их дома. Почему? Я чувствовал какую-то трагедию в этом доме, но не мог понять, что же там произошло. Меня принимали очень тепло, и Надин папа даже иногда удостоивал меня беседы. Потом я узнал. Леопольд Железнов был когда-то корреспондентом и ответственным секретарем газеты "Правда". А Надина мама была блестящей и красивой журналисткой, сотрудницей Антифашистского еврейского комитета. Когда убили главу этого комитета Соломона Михоэлса, убили и всех членов этого комитета. В том числе и Надину маму. Леопольда выгнали с работы. В квартиру к ним подселили следователя, который пытал и допрашивал его жену. Леопольд не пошел вслед за женой только потому, что его не исключили из партии, ему лишь объявили строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности в семье. А не выгнали из партии потому, что на партсобрании, где обсуждался его вопрос, Леопольд Железнов встал и сказал, что если партия наказала его жену, значит партия была права, а его жена нет.

С тех пор никто не звонил в его дом, никто не заходил в гости. Когда он шел по одной стороне улицы, бывшие знакомые переходили на другую. Железнов стал парией. Не потому, что он так сказал на собрании, а потому, что его общество отторгло его от себя. С огромным трудом он нашел место младшего литсотрудника в журнале мод и тем поддерживал свое

жалкое существование. И так длилось до 1956 года, когда он случайно встретил на улице Валентина Катаева, своего старого товарища по правдинским временам. Катаев не перешел на другую сторону /это случилось уже после 20-го съезда партии и после разоблачения Сталина/, а, наоборот, подошел к Железнову и пожал ему руку. И сказал, что вот Союз писателей открывает новый журнал "Юность" и назначает его главным редактором. И не хочет ли Леопольд придти к нему ответственным секретарем?..

Вот что имел в виду Железнов, когда сказал мне, что в его решении не выдавать меня сыграло роль мое участие в его прошлой жизни. Он не забыл, что я был единственный, кто не боялся приходиться к нему в дом с его страшным соседом за стеной.

Но все же времена менялись, и я пошел по лестнице вверх. Я не знал тогда, что можно идти вверх по лестнице, ведущей вниз.

В общем, мне очень повезло. Никто не требовал от меня непосредственных цензурных функций. Предполагалось, что прямой сатиры, непосредственно обличающей порядки, основы, политику никто и не напишет в подцензурную печать. Поэтому мне как редактору разрешали "подсовывать те или иные вольности, написанные, впрочем, "эзоповым языком". На фоне онемевшей литературы и это было довольно смелым и растущим явлением. Литература заговорила языком иносказаний. Скажем, если это был рассказ о евреях, то вместо слова "еврей" ставилось слово "бухгалтер". И если цензор улавливал смысл рассказа, то он его запрещал, а если нет, то рассказ и проходил, а набивший себе руку на иносказаниях читатель хихикал и улыбался, многозначительно покачивая головой. А у меня как у редактора отдела сатиры и юмора "Литературной газеты", всегда было оправдание перед начальством, которое, разнухав смысл той или иной "эзоповщины", могло сделать мне выговор за протаскивание, как они говорили, "антисоветчины". В таком случае я спрашивал: "Где, покажите мне, где здесь антисоветчина?" Они, скажем, говорили: "Вот здесь, если заменить слово "бухгалтер" словом

"еврей", то получится вполне антисоветский рассказик. И зачем вам это нужно? Хотите слететь с работы?" В ответ они получали полную дозу симулянтской редакционной истерии с воплями о том, что уже совершенно невозможно работать, что уж докатились до мерзких, в сталинском духе, подозрений, что таким глупым образом можно заменить любое слово и исказить любое произведение, и до чего нужно дойти, чтобы подумать, что бухгалтеры — это евреи, и причем тут евреи, у вас в голове одни евреи, я сам еврей, и что же вы хотите этим сказать, что я бухгалтер, что ли, дались вам ваши евреи, ни о чем другом и думать не можете, позор! И уставший начальник, повертев рассказ в руках, говорил, что нечего тут орать, ничего особенного он в виду не имел, и если я хочу напечатать этот чрезвычайно слабый, не делающий мне чести, рассказ о бухгалтерах, то пусть он идет, черт с ним! Но если уж будет сигнал сверху, и его подозрения относительно евреев оправдаются, то уж тогда я буду пенять на себя.

И рассказик проходил в газету. Как говорится /и было напечатано/: если нельзя, но очень хочется, то можно.

Цензура съедает душу художника. Художник хочет так или иначе рассказать правду или то, что кажется ему правдой. Правда, даже самая маленькая, обладает способностью к общению. А этого по цензурным правилам делать нельзя. Первое правило цензуры: не обобщать! Художник может сказать правду, но она должна носить узкий, местный, локальный характер. Нельзя создать рассказ об алкоголизме в России и его причинах, а можно написать рассказ о пьянице Сидорове, слесаре домоуправления № 6. Не обобщать! Однажды Григорий Горин принес нам рассказ, который назывался "Потапов". Рассказ о суетности, лицемерии, душевной черствости современного городского жителя. Рассказ был очень сильный. И смешной, как многие рассказы этого писателя. Опытный Горин так записал свое произведение, что никакие "пристежки" типа "инженер одного завода Потапов", или "архитектор Потапов", или "слесарь Потапов из горда Семисбруйска" не могли изменить обобщенности этого образа. И цензор долго мялся:

рассказ ему нравился, но обобщение не давало ему жить. Он переключал рассказ из номера в номер, пока я не сказал ему:

— Ну что вы мучаетесь? Хороший рассказ, революции из-за него не случится. Чего вы боитесь?

— Надо снять обобщение, — сказал он. — Как насчет названия?

— А что?

— "Потапов". Это обобщает. Не все же у нас Потаповы, верно?

— Не все же у нас Климы Самгины. А книга называется "Клим Самгин". Не все же у нас Анны Каренины...

— Так то когда было! — сказал он. — Подумают, что мы обобщаем. Придумайте название, пропущу.

— Как насчет названия: "Как жаль, что у нас еще встречаются такие Потаповы!"

— Это хорошо, но подумают, что мы сами себя высмеиваем. И сама фамилия какая-то обобщающая...

— Как насчет "Иванов"?

— Не морочьте голову!

— Чуждое название для рассказа: "Рабинович", а? И никаких обобщений!

— Думаете, смешно?

— Как насчет "Остановите Потапова!"?

— Вот! — сказал цензор. — Вот оно! Гениально! Это то, что надо. Во-первых, активное отношение к отрицательному явлению. Во-вторых, снято обобщение, которое могло бы войти в историю как "потаповщина" потому что, что греха таить, все мы такие. Подписываю рассказ к печати. Ведь можете, когда захотите!

В телесериале "Следствие ведут знатоки" была вступительная песенка. Там о преступности в Советском Союзе были такие жалкие слова: "Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..." Все, конечно, смеялись над этой песенкой. А я бы советовал желающим поставить себя на месте авторов, которым было предписано цензором ни в коем случае не обобщать и придумать нечто такое, чтобы все поняли,

что преступники в России редки, как евреи в Китае. Вот и покрутись! Лучшей частушкой на эту тему — не обобщать! — была такая:

**Галка прыгает по ветке, клоун писает в трусы,
"...а в отдельных магазинах нет отдельной колбасы".**

Недавно, впервые на моей памяти в советской печати промелькнул отголосок борьбы с цензурой. В "Литературной газете" появилось письмо поэта Дмитрия Сухарева, песню которого опубликовала "Неделя". Песня была о войне. В ней были такие слова:

**Вспомним их сегодня
всех до одного,
вымостивших страшную дорогу...**

Поэт говорит о трагедии войны, стоившей жизни миллионам молодых людей страны. "Неделя", естественно, не может напечатать таких слов. Что значит "вымостивших"? Что значит "страшную"? Это противоречит указаниям цензуры: о войне — только оптимистичное! Цензор выбрасывает строку Д. Сухарева и пишет свою: "...кто прошел военную дорогу". В песне далее было сказано:

**Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.**

Цензор тут же усекает слово "навечно". Как это навечно? Небольшая косметическая операция — и вот уже исчезло слово, которое несло главную смысловую нагрузку, нет больше погибших, я появилось: "С бритыми лихими головами". Об этом с горечью пишет в редакцию Дмитрий Сухарев. Самое удивительное, что это письмо было напечатано в "Литературке", хотя вина "Недели" здесь — минимальная: из "редактуры" отчетливо вылезают уши цензора.

У Мариенгофа есть "Роман без вранья". Мне довелось недавно прочитать в "Новом мире" /№ 2, 3, 4 за 1980 г./ роман без вранья, то есть без советской власти. Речь идет об "Альтисте Данилове" Владимира Орлова. Первую часть я прочел взахлеб. Язык, интонация, вкус, чувство юмора, особая музыкальность автора притягивали меня, как магнит. И речь в романе шла о... чертовщине, с густым булгаковским налетом, но как же оригинально и сочно все начиналось! Герой романа демон Данилов, работающий на земле музыкантом, ходил по улицам, на которых я вырос, ездил в тех же номерах троллейбусов, жил в моем переулке. В книге попадались имена моих бывших друзей, из чего я сделал вывод, что и сам автор мне хорошо знаком, не псевдоним ли это, Владимир Орлов? Я знал двух писателей Владимиров Орловых: один из них жил в Симферополе и писал чудесные детские стихи, которые с удовольствием читали и взрослые. Другой — бывший корреспондент "Комсомольской правды", напечатал в свое время несколько повестей, но по языку, культуре, юмору, словесной теплоте они и рядом не стояли с "Альтистом Даниловым"! А может, это все-таки он? Писал, писал в стол да и прорвался со своим, заветным. Как я ждал следующего номера с продолжением! И когда я дочитал до конца роман, я вдруг понял, что ничего не произошло, открытия не состоялось. Такая чудесная проза, такой взлет интеллекта и воображения, такая заявка на большую литературу! Все осталось нереализованным. "Альтист Данилов" оказался... ни о чем. Ну, скажем, почти ни о чем. Почему? Что помешало автору? Такой мощный замах, и такой слабый удар! Не торопитесь обвинять автора. Здесь есть две вероятности, и обе связаны с цензурой. Одна из них такая: роман очень понравился "Новому миру", но вот то, о чем он, — не понравилось. Потому что он, как я говорил выше, был без вранья. А если роман без вранья, он автоматически становится несоветским, он выпадает из русла, он сразу становится бичом режима. Потому что тема его — интеллигенция и общество. И редакция вырезает ножницами все, что так или иначе раскрывает тему. Роман полностью оскоплен. Затем

товарищ Наровчатов, редактор теперешнего "Нового мира", как мне видится, вызывает несчастного Орлова и говорит ему: "Либо так, либо никак!" При этом он убеждает автора, что верит в его талант, что в первом своем крупном произведении ему следует пойти на уступки, потому что второго может и не случиться, что он старался изо всех сил, но ведь, сами понимаете, нельзя, что и у него, когда он был помоложе, вот так же резали стихи, а потом, когда подошло время, они были напечатаны. А то, что осталось от романа, тоже очень, очень, очень неплохо, иначе он бы и не настаивал на публикации... И Владимир Орлов, в котором от ненависти останавливается сердце и кровь холодеет в венах, соглашается... Пусть уж так, а то сгниет все в ящике стола, пусть уж как заявка на будущее, как возможность того, что читатель и критик заметит, поймет... Ведь книга — как ребенок... Потом еще что-нибудь напишу... Проклятое время...

И выходит книга, похожая на колокол с вырванным языком...

А может быть, было по-другому. Я не могу себе представить, что человек, обладающий такой литературной культурой, как Владимир Орлов, не знал, о чем он пишет книгу. Что рука его, как это часто бывает, сама вела сюжет. Нет, верю я, что он знал, о чем, потому что тема эта — интеллигенция и общество, советское общество — прет из каждой буквы "Альтиста Данилова". Что же остановило его? Самоцензура. Это она, проклятая, назойливым молоточком била в висок: "Не связывайся. Ведь знаешь, чем все может кончиться. Ты этого не только не сумеешь напечатать, но и укутут тебя в лагерь, в психушку. Ты же знаешь, что ты талантлив, ты же знаешь, что ты Мастер, чего же тебе еще? Кто этим может похвастаться? Носи в себе. Шали с ними. Уйди от этой страшной темы. Потом, когда-нибудь изменятся времена..." И рука выводит слова, упругие, как пружина, гибкие, сочные, под стать литературе, и все правдиво, зримо, весело, а не то... Бедный, бедный Владимир Орлов!.. Кому из пишущих неведомы эти мучения, чья душа не обливается слезами при одном чувстве, что вот сейчас, на твоих глазах, губится талант?

Кто же эти люди, цензоры? Кто эти палачи, отрубающие руки российской словесности? Что движет ими? Неужели они не понимают губительных последствий своей деятельности? Почему они защищают догматы иссохшей идеологии от тех, кто стремится творчески исправить ее ошибки?

Один из них сказал мне: "Чем ночь темней, тем ярче звезды. Не будь нас, засияли бы имена Платонова, Пастернака, Булгакова, Бабея, Зощенко, Ахматовой, Есенина, Цветаевой? Не будь нас, валили бы вы на спектакли Любимова и "Современника"? Мы оттачиваем вашу мысль. Мы дисциплинируем ваше мышление. Мы заставляем вас находить новый невиданный в мире способ самовыражения. Ну что бы делали твои сатирики и юмористы, если бы мы все разрешали? Что было бы в их произведениях, кроме набившего оскомину "Долой советскую власть!"" А с нами они должны вынашивать свои репризы, гранить, как алмаз, свои афоризмы, чтобы и мы не придрались и публика посмеялась, вдумавшись во второй, глубинный смысл фразы. Посмотри, много ли на Западе таких острых философских карикатур, которые ты печатаешь? Много ли там талантливых сатириков, над которыми ты смеешься, как над нашими, доморощенными? Все у них, на Западе, на поверхности. У нас же все в глубине, в подтексте, в душе. И все благодаря нам!"

Цинично, конечно. Но и не глупо. Ибо писатель наш настолько привык, что его не пропустят, что и мыслит уже цензурными категориями. И убери сегодня инквизиторскую руку цензора с его шеи, сумеет ли он перестроиться и тут же выдавать на-гора честные, талантливые и правдивые произведения?

Цензоры — не вурдалаки, не упыри, не монстры. Они чиновники, служащие. Работа у них такая. И забота у них простая: жила бы страна родная, и нету других забот. Им поручено, чтобы страна родная жила спокойно. Без потрясений. Без брожения умов. Без словесности, которая может угробить государственность.

И движет ими тот же страх, что и всеми советскими людьми. Это липкий, навязчивый, холодный страх. Он так глубоко

сидит в каждом, что партия давно уже провела эксперимент: она переложила цензурные функции на плечи редакторов. А те, в свою очередь, на плечи авторов. И эксперимент прошел очень удачно. Теперь общество живет по завету Салтыкова-Щедрина: "Интеллигент! Не самодонесись!"

Самоцензура! Каким смелым и искренним ты делаешь человека!

Однажды в начале семидесятых годов "Литературная газета", где я тогда работал, проводила читательскую конференцию в Библиотеке имени Ленина. Все мы вставали и рассказывали о планах своих отделов, поэты читали стихи, юмористы — хохмили. Все было как обычно. Потом пошли записки и ответы на них. Я сидел за А. Б. Чаковским. Записки читал его заместитель В. Б. Сырокомский. Одну из записок он показал Чаковскому. Я из-за плеча прочел. Там было написано: "Почему вы не печатаете Солженицына?"

— Разорвать? — спросил Сырокомский.

— Зачем же? — сказал Чаковский. — Я сам отвечу. Учитесь.

Он встал и сказал:

— Вот сейчас пришла записка. Правда, без подписи. Анонимная записка. Тут спрашивается: "Почему вы не печатаете Солженицына?" Вообще-то в нашей советской жизни не принято отвечать на анонимные записки. Я обычно свои подписываю. Так уж водится у порядочных людей. Конечно, можно было бы и не отвечать. Но, может быть, человек просто забыл поставить свое имя? Кто это написал?

Никто не встал.

— Вот видите, — продолжал Александр Борисович, — такие уж у нас смелые "революционеры". Они ставят острые вопросы из-за угла, чтобы их самих не было видно. Но я все же отвечаю на этот вопрос. Видите ли, когда Солженицын написал "Один день Ивана Денисовича", я, как и вся наша партия, был за его публикацию. В этом произведении правильно ставился вопрос об ошибках, допущенных в годы культа личности. Но с тех пор Александр Исаевич написал немало других произведений, которые совершенно с других позиций оценивают на-

шу с вами жизнь. Он стал, не побоюсь этого слова, врагом нашей партии и демонстрирует это в каждой своей книге. Вы их не читали, товарищи, а я читал. И утверждаю, что эти произведения враждебны нашему строю, моей стране и моей партии. Ответьте же мне, могу ли как член партии, поставившей меня руководить газетой, печатать произведения, с которыми я в корне не согласен? Почему я должен печатать писателя, поднимающего руку на мою партию? Я не против того, чтобы Солженицын отнес свои м-м... произведения в любой другой орган печати. Быть может, найдется редактор, разделяющий его взгляды. Пожалуйста, на здоровье! Но я не хотел бы видеть в моей газете произведения человека, чьи взгляды вызывают у меня отвращение!

Раздались бурные аплодисменты. Читатели по достоинству оценили смелость и искренность Александра Борисовича.

Чаковский вернулся на свое место за столом президиума и улыбаясь сказал Сырокомскому:

— Понятно? Вот так с ними нужно. Учитесь.

Совсем забыл: в нашей редакции было два буфета: один для А. Б. Чаковского, а второй — для всех.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

**Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA**

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



Нам ни к чему сюжеты и интриги.
В. Высоцкий

**Мы сразу пишем жизнь на чистовик,
В нем все поступки, мысли и желанья.
И их нельзя, как кое-что из книг,
Пустить вторым, исправленным
изданием.**

/Июнь 1953, поселок Туим Ширинского
района Красноярского края/

Виктор КАГАН

ПОВЕСТЬ О БЕЗВРЕМЬЕ

Здесь нет ничего выдуманного. Все так и было на самом деле, все стихи и имена настоящие, а прямая речь — это фразы, которые действительно были произнесены в свое время и запомнились, вероятно, уже до конца жизни.

Думаю, что стихи заслуживают внимания как человеческий документ хотя бы уже по одному тому, что разные люди при разных обстоятельствах подхватили их и хранили в памяти десятки лет. А факты их жизни, о которых я свидетельствую, и подавно заслуживают, чтобы о них рассказать.

1

В 1946 году двое тринадцатилетних мальчуганов попали за листовки в колонию для малолеток*. Им тогда посчастливи-

* Малолетка — заключенный моложе 18 лет. По советским законам к заключению можно приговорить начиная с 12 лет.

лось вскоре освободиться, но потом один из них снова попал — уже в лагерь. В 1965 году он записал стихи, заученные со слов заключенного, который, однако, не был их автором. Стихи показывали А. Синявскому и Л. Копелеву, но и те не сумели определить, кто мог их написать. Список переправили в Израиль. Думали, что автор — неизвестный поэт, погибший в лагерях возле Белого моря. Но вдруг все разъяснилось самым неожиданным образом...

Я начну со стихов, чтобы читатель познакомился с ними безо всякого предубеждения, а потом расскажу, откуда они появились и кто были авторы.

МОСКВА

**Задетая тенью стального крыла
Москва. Перестук кольцевого движенья.
Трагически позднее преображенье.
Москва — колыбель моего ремесла.
Немного искал я в щедротах твоих:
Вечерний напев переулков арбатных
И капля земного тепла на двоих —
Планета в четырнадцать метров квадратных.
Оставить. Забыть. Разлюбить навсегда.
Родное, разбитое бомбами имя...
Кремлевское правобережье. Вода.
И тень самолета над нами двоими...
По азбуке первым шагам научила,
Ты миром, ты клеткой моею была.
В трех тюрьмах от света меня хоронила
И в рабство навек за гроши продала.**

К ТАНЕ*

Часто выступают из тумана Старые московские края... Где ты нынче, Танечка-Татьяна, Верная сторонница моя? Все необычайно повернуло.	Мир багровым светом озарен. Может быть, Кисельный переулочек Бомбой иностранной разорен. Может быть, останется навеки Накрепко прижитое в беде
--	---

* Стихи "К Тане" были обращены к дочери московского режиссера Игоря Терентьева, про которого говорили, что он "второй Мейерхольд" /Рита Райт сказала: "Он был обыкновенный гений"/, и который пропал без вести, как и первый Мейерхольд. Упомянутый в них "Зубр" — ранние стихи автора, имевшие успех у его друзей.

Лишь одно движенье в человеке,
Как у зверя, — к пище и воде.
Станем непригодными к основе,
"Зубром" никого не покорим,
Срежемся на непонятном слове,

Как на мелкой краже погорим.
Не подыдем братского стакана
И не опрокинем допыана...
Где ж ты нынче, Танечка-Татьяна,
Чья-то неразумная жена?

* * *

Ведь сегодня война. Каждый день убивают
Вюртембергских, тамбовских, веронских парней.
Двум смертям не бывать, а одна только раз и бывает.
Так зачем же, зачем же все думать о ней?
Повторять без конца этот путь по нужде и невзгодам,
Биться лбом за кусок и по-зверьи страшиться зимы...
Будут женщины ждать бесконечно далекого года,
Чтобы выросли дети, такие большие, как мы.
Где он, где этот год? Девяностый? Трехтысячный? Вечный?
"Только в книгах прочтут", — говорили про нас главыри.
Завтра надо других утешать этой шуткой беспечной,
И про наших детей будут так же не раз говорить.
Нет, не книжной ценой, а кусками горящего мяса
Заплати, чтобы кто-то в театре смотрел,
Целовался в кино, а дожив до знакомого часа,
Так же рвался на штык и покорно шагал на расстрел.
Пожалейте себя, вы, ровесники юного века!
Сколько диких прошло, подымалось и падало вниз,
Чтоб из первых потуг, из пародии на человека
Ленинградцы, манчестерцы, мюнхенцы родились.
Не притворство, не страх, а покорность вселенская наша
Города разбомбит и ученья повергнет во прах
Что ж, сотрем письмена, теплоходы утопим в Ламанше,
Будем рыскать в ночи и друг друга сжигать на кострах.

* * *

Гольцер, мальчик небогатый
С улицы варшавской.
Обучали вас без платы
Мудрости заправской.
Не латынь на книжной полке —
Лектор без уловок.
Только сыплются осколки
От бомбардировок.
Ты послушался советов,
Ты поверил свету

И подался до Советов
К университету...
Гольцер, Гольцер, мальчуган,
Рассудивший просто...
Износившийся реглан,
Лапти из бересты...
Сколько надо книг пройти,
Чтоб суметь в России
В трюме смерть свою найти
От дизентерии.

* * *

О, пане Новаковский,
Урядник волостной!
Вы были не таковский
В шинели расписной.
Теперь вы, "пане дейку
Согнулись у костра.
Бывало на недельку
Натащат вам добра.
Карман ваш не в обиде
И куфель ваш налит:

Не забывали жиди
Про панский аппетит.
Служили в криминале,
Как ксендз у алтаря.
Заблудших направляли,
По-свойски говоря.
Господь запомнил ваши
Угодные дела.
За них, "доброедуже",
Амнистия пришла.

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

На правом берегу, апрелем чуть согретый,
Снег покраснел и стал похож на торт.
Стучал копер тюремную каретой.
Как гвозди в гроб, бил сваи. Строил порт.
Мы строили необычайный город,
Где улицы, как тундра, широки,
А жизнь тесна, как висельника ворот:
Чуть потяни — и хрустнут позвонки.
Рос новый док, стеклянный и бетонный,
Родильный дом линейных кораблей.
Стучал копер. В голубизне бездонной
Шли облака. Шли годы все быстрей.
И нас на поводу тащили годы
Сквозь деревянный город гробовой,
Сквозь разницу неволи и свободы
Нас все тащили годы за собой.
И мы ломали, строили и мерли,
Топили печи, мерзли, пухли, жгли,
Рожали сыновей, в бессмертье перли —
И до изнеможения дошли...
На правом берегу стоит все та же свая,
Которую пять лет тому назад
Мы, деревянной бабой забывая.
Одну за все прокляли наугад.
И этот символ истины бесплодной,
Став противоположностью своей,
Стоит один, как этот док холодный,
Сумевший стать могилой кораблей.

* * *

Ненавижу физический труд.
Вообще всякий труд ненавижу.
От работы лошади мрут.
Я в ней смысла не вижу.
Летом бревна таскай на плечах,
Чтоб зимой не топили.

Строй дома, чтобы завтра их впрах
Разбомбили.
Видно, Бог для того, нас любя,
Дал нам силы,
Чтоб всю жизнь мы могли для себя
Рыть могилы.

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Баланда, оправка, параша — и только.
Оправка, баланда, параша.
За нашу нервозность — пришитая койка.
Квадрат — за разбросанность нашу.
Мне было четырнадцать лет, когда вас
Еще называли по имени театра.
Сраженный открытой строкой без прикрас,
За завтрак выменивал право на завтра
Укрыться в партере от школьного дня
И переживал, обнаженно завидуя.
Так ваша конкретность страшила меня,
Что, стукнувшись лбами, не подал бы виду я.
Вы, не искаженный расцветкой кулис,
Как сердцебиенье большого поэта,
В антракте без грима со мною сошлись
И я вас мучительно помню за это.
Вас люди называли чужими себе,
Но время приходит в движение.
Приходит расплата: за горечь побед
Чудовищное поражение.
И танки пасутся на жалком клочке
Вселенной. Ее вы хотели
Заставить играть на своем языке.
Но где-то и вы проглядели.
Разыщут ли завтра? Велик интервал,
А общие беды безмерны.
Но все-таки с вами и я горевал
И был бы сторонником верным.

Россия, истина моя.
Обманутая Палестина.
Так непохожие края
Одна связала паутина.

Столица Иерусалим,
Господень храм, сожженный Титом,
И мы, убогие, стоим
Под небом, шапкой непокрытым.

Такой запомнится она
Под гусеницей полководца.
Не с журавлями у реки,
Не с журавлями у колодца.

Ее забудут наизусть
И ей вовек не измениться,
Пока я слов моих страшусь,
Как выстрела беглец боится.

СОНЕТ 4

Бог создал мир для разума и счастья,
Таким, как есть: без лжи и без прикрас,
И день, и ночь; и ведро, и ненастье,
Чтоб время шло, не утомляя нас
И вот, устав творить от века к веку,
Покорный вдохновенью своему,
Бог дал язык и разум человеку
И землю во владенье дал ему.
Но человечья истина повисла,
Как висельник в затянутой петле,
И жизнь из Богом найденного смысла
Бессмыслицею стала на земле.
А мир, не изменившийся от века,
Навеки стал тюрьмой для человека.

* * *

Все пройдет, и останется только
Легкий след на бумажном листе.
Отчего мне так грустно и горько
Если люди и строки не те?

Ни во что уже больше не верю.
Все неправда, все пепел и дым.
Отчего не пришлось мне, как зверю,
Просто, просто побыть молодым?

* * *

Богом не признанный,
ГИХЛом не изданный,
Я все пишу, неизвестно к чему.

Крутится, вертится,
Все перетерпится,
Все перелюбится, перегорит,

Крутится мельница,
Все перемелется,
Станет ненужным и мне самому.

Станет избитое,
Полузабытое,
Не угодившее времени в ритм.

ТАЛЕЙРАНАМ

Опять министры талейранят
Событиям наперекор.
Надменным взором вас таранит
Князь Талейран де Перигор.
Попробуй — не в ущерб престижу
Так свой котировать престиж,
Так умно изменять Парижу,
Чтоб не проигрывал Париж.
Предвидя задолго до склона
Крах ослепительных имен,
Сумей продать Наполеона,
Пока велик Наполеон

ФУШЕ

Еще неведомых событий
Нетронутой лежит руда,
Но этот прозорливец выйдет
И бросит роковое ДА.
Толкнув тирана к гильотине,
Как депутат Лиона, он
Друзей друзьям народа кинет,
Картечью перебьет Лион.
Когда ж кокарда санкюлота
Пойдет тенденции вразрез,
Он бросит тех, кому охота
Нести ответственность и крест.
Он будет ждать в тени мансарды
С голодной и больной женой,
Пока судьба стасует карты
И кинет новою звездой.
Не появляясь вновь на сцене,
Он паутиною кулис

* * *

Нас учили уму поколенья
От Олега, Ивана, Петра
Погибать за химеры в сраженьях
И переть на рожон, на ура.
Под разбойничий свист на дорогах,

Сумей сыскать такую малость,
Которая б за год-другой
В сто крат сильнее оказалась
Того, кто продан был тобой.
Сумей — не для величья трона,
А для спасенья своего —
Так реставрировать Бурбона,
Чтоб свергнуть вовремя его.
Не беспокоясь о морали,
Живи беспечней королей,
Чтоб через сотню лет сказали
О гениальности твоей.

Затянет тех, кого мы ценим,
Как главных действующих лиц.
Наполеона покушенья
Скуют надежнее цепей,
Бурбона — призрак повторенья
Неповторимой сотни дней.
Доносов тайная ограда
Ему под старость принесет
Отставку вместо каземата,
Других послав на эшафот.
Его проклясть не смогут стоны
Им оклеветанных людей.
Его прославят эпигоны
Просто бездарностью своей.
И в век новейших демократий,
За год-другой идя ко дну,
Министры в современных платьях
Уступят первенство ему.

Под разбойный присвист батогов
Мы долбили азы на уроках
У заплочных честных мастеров.
Нас учили кнутом и обманом
Продавать за полушку друзей,

Славословить оковы и ямы
Ради жизни убогой своей.
И теперь мы пришли к идеалу:
Восемьсот миллионов людей
Воедино цепями сковала

Правда тюрем, штыков, лагерей.
Нас учили уму поколенья,
Нам издревле знакомы пути:
За победу платить пораженьем,
За свободу — в неволю идти.

II

Юрий Маркович Грачевский родился в 1919 г. Он говорил, что на таком расстоянии от семнадцатого года — это уже много, и потому он значительно старше меня. С точки зрения жизненного опыта, это отчасти так и было, но отнюдь не из-за года разницы в возрасте.

Отец ушел из семьи, когда Юрию еще не было четырех лет. Мать многие годы работала стенографисткой в "Известиях". Стихи

.....
В двенадцать лет серьезный стих
И жажда новостей,
Переплетенье городских
Пороков и страстей.
Мы жили впроголодь и власть
В лирическом бреду,
Мы водку пили, не спросясь,
У взрослых на виду...

были написаны много позже двенадцати лет. Разумеется, тут не без преувеличений. Не похоже, чтобы в число взрослых входила даже мать — не говоря уже о благонамеренных и благополучных родителях поэта Анисима Кронгауза, друга Грачевского, которые восемь лет спустя были у него на суде свидетелями защиты. Но водка все же была, была и

...откровенность напрямик
Девчонок городских,

и сами девчонки. Была и жажда новостей — от нее появилась в тринадцать лет дневниковая запись, что Сталин одно время защищал Зиновьева и Каменева против Троцкого /"Мы не позволим набрасывать тень на тт. Зиновьева и Каменева, будто

они колебались в вопросе о вооруженном восстании"/. Были и стихи — не знаю, насколько серьезные.

Грачевский рассказывал, что был принят в Литературный институт при Союзе писателей и там учился у П. Антокольского. В 1944 году, приехав в Москву в командировку, я по его просьбе позвонил Антокольскому. Тот без малейшей запинки ответил, что не помнит такого ученика. Но ведь Грачевский был тогда репрессированным, а Антокольский был, я слышал, не храброго десятка...

* * *

В 1939 г. Грачевского арестовали. Внутренняя тюрьма на Лубянке, потом Московский городской суд. Материал обвинения — вещественное доказательство — дневник с той самой записью семилетней давности о Сталине. Главный свидетель обвинения — некий Виктор Попов, чью фотографию с дружественной надписью, сделанной старательным детским почерком, я видел у Грачевского. Откуда вражда? Может быть, из-за девчонки? Не знаю. Грачевский никогда никому не рассказывал о своем деле. Но копии приговоров и решения Верховного суда он мне показал. Московский городской суд отважился вынести оправдательный приговор, и Грачевского тут же освободили из-под стражи. Приговор был мотивирован не отсутствием состава преступления, как должно было бы быть по букве закона, а внутренним убеждением судьи: нет нужды осуждать 20-летнего парня за то, что натворил 13-летний мальчуган. Но "внутреннее" убеждение советского судьи ничего не стоило, если не исходило из наркомата внутренних дел. По протесту прокурора Верховный суд отменил приговор, указав, что малолетство в момент совершения преступления /даже по истечении семилетнего срока!/ можно считать не более, чем смягчающим обстоятельством. Весной 1940 г., прохаживая примерно 10 месяцев на воле, Грачевский был осужден другим составом городского суда на 3 года лагерей и прямо из зала суда отправлен в тюрьму.

* * *

Сразу после первого суда Грачевский уехал в дом отдыха под Москвой. Там он встретил Тамару Андриевич, которая стала его женой. В ожидании второго суда он жил с ней в ее маленькой комнате /"планета в четырнадцать метров квадратных"/ и тогда же написал рассказы, которые, по его словам, привели в восторг Паустовского /"Послушайте, да вы же мастер, — и так говорил минут двадцать"/. Когда он прочитал их мне, я был потрясен примерно так же, как впоследствии при первом чтении "Убийц" Хемингуэя. Их содержание — воспоминание героя о пребывании в тюрьме, настроение — ощущение иллюзорности своего теперешнего пребывания на воле. Действие происходит словно во сне: человек бессилен и даже не пытается сопротивляться. Но не говоря уже о том, что жизнь в Молотовске, где я познакомился с Грачевским, и наши с ним разговоры подготовили меня к столь острому восприятию таких рассказов, — я тогда еще не читал ни Хемингуэя, в манере которого они написаны, ни "Рассказа о семи повешенных", откуда заимствован прием создания психологической атмосферы. В рассказе Л. Андреева мы видим людей, которых схватили, осудили и повесили, но не видим людей, которые хватали, судили и вешали. Такой прием создает у читателя ощущение, будто живым людям противостоит неодушевленная машина, и только отдельные детали, словно подхваченные из тьмы лучом света /министр, упавший в обморок; солдат, бросивший винтовку/, показывают что на самом деле машина тоже из человеческого материала и притом куда менее добротного, чем пятеро террористов. В рассказах Грачевского есть только герой и еще один-два персонажа, неспособных его понимать. Почему и как герой попал в тюрьму /в отличие от "за что?" этот вопрос всегда имел смысл/ — неизвестно, как неизвестно, за что преследуют свою жертву хемингуэевские убийцы. Тюрьма в сущности символическая и потому менее страшна, чем настоящая. "Пугает, а мне не страшно" — эти слова Л. Толстого о Л. Андрееве можно ска-

зять здесь с еще большим основанием. И я теперь сомневаюсь, чтобы Паустовский, который, надо думать, читал и Хемингуэя, и Л. Андреева и имел некоторое представление о тюрьме, принял рассказы так восторженно, как это изобразил Грачевский. Тем более, что создаваемое ими впечатление вселило зла едва ли могло ему импонировать.

* * *

Грачевский очутился в лагерях под Архангельском. Он рассказывал, что все время был на общих работах. Был в бригаде поляков — пленных или бежавших от немцев через советскую границу. "Гольцер, мальчик небогатый" и "пане Новаковский, урядник волостной" списаны с натуры. Кажется, даже не изменены фамилии. 15 поляков пытались бежать из лагеря и были все перебиты. Выжившие были потом амнистированы и ушли с армией Андерса.

Как-то Грачевский сказал мне вскользь, что был в лагерьном следственном изоляторе. Выглядело это так, что его и некоторых других политических хотели уничтожить и для этого пытались сфабриковать на них новое дело. Такое вообще бывало, но тогда могло спасти только исключительное стечение обстоятельств, вроде того, как случилось на Колыме, где группа инженеров была реабилитирована в конце 1941 г. Грачевский же не только благополучно выбрался из-под следствия, но, освобожденный по окончании срока, в начале 1943 года, не был оставлен при лагере, а приехал в Молотовск /нынешний Северодвинск/, где ээком работал на строительстве, и был принят на крупный судостроительный завод на должность инженера-конструктора. Теперь-то я, наученный, знаю и про директиву Прокуратуры СССР № 185*, и про многое дру-

*По этой директиве во время войны политические, окончившие срок, либо задерживались в лагере "до особого распоряжения" /часть I/, либо оставлялись работать по вольному найму, жили за зоной, но уезжать никуда не могли даже на короткий срок /часть II/. Впрочем, знаю одно исключение: Л. Гумилеву удалось завербоваться в армию и вернуться из-под Туруханска в Ленинград через Берлин.

гое. А тогда еще только-только перестал быть хунвейбином. Ничто не настораживало меня против Грачевского. Я ему только сочувствовал, тем более, что мой отец в 1937 г. пропал без вести /это называлось "осужден без права переписки" и означало, как теперь известно, — убит в одном из сталинских застенков или лагерей смерти/.

Я работал на том же заводе. Весной 1943 г. мы встретились по работе, познакомились, подружились. Наши отношения стали еще более близкими, когда после долгих хлопот и переживаний он дождался приезда Тамары с их трехлетним сыном, родившимся, кажется, уже в отсутствие отца.

Наша дружба в промежутке между окончанием его отсидки и началом моей продолжалась примерно полтора года.

Молотовск — маленький "необычайный город" — был приложением к большому судостроительному заводу. Его и строить-то стали в 1936 г. на этом болоте потому, что решено было построить завод. Строили, конечно, заключенные. Отгрохали цеха и большой эллинг, "родильный дом линейных кораблей", в котором линкор, начатый в Ленинграде еще до войны, должны были достраивать, но так и не достроили и порезали автогенном. Построили коттеджи, в которых жили большие начальники и работники американского консульства, и постепенно строили кирпичные дома, в которые начальники поменьше вселялись по специальному разрешению директора завода. А весь город был из просторно расставленных стандартных двухэтажных деревянных домов на сваях. К домам шли прямо по поверхности трубы теплоцентрали от завода и от центральной котельной. Для заготовки дров на заводскую лесобиржу в помощь постоянным работникам отправляли людей с завода. Но в начале зимы 1943/44 годов котельная оказалась без дров, трубы центрального отопления начали лопаться, в комнатах стали ставить сделанные тут же на заводе буржуйки и выводить дымовые трубы в форточки.

**Летом бревна таскай на плечах,
Чтоб зимой не топили...**

Я не раз вспоминал это много лет спустя, когда видел, как горожане ездят на сельхозработы, а потом часами выстаивают в очередях за овощами и покупают их втридорога на рынке.

...А по городу ходили под конвоем колонны оборванных заключенных, и их видели не только дипломаты — работники консульства, но и простые моряки с кораблей, возивших материалы и продукты — помощь по лендлизу. Видеть они могли многое, но многое ли сумели понять?

* * *

Тамара была художником-графиком. Никакой работы, близкой ей по специальности или хотя бы по духу, в Молотовске в то время не было. Она так и не пошла работать. Родился второй сын. Семья Грачевских оказалась в тяжелом положении. Я помогал им, чем и как мог, поддерживал материально. Но главной их бедой были ссоры, все более частые и ожесточенные, которые начались почти сразу, когда они съехались.

Грачевский был очень увлечен Тамарой. Ему импонировало и то, что до встречи с ним у нее была бурная личная жизнь, и даже то, что она была старше его на семь лет. Помню его рассуждение в этой связи о верности. Он говорил, что, встретив в жизни настоящее, сам не захочешь смотреть ни на что другое, — как ему не хочется смотреть на других женщин после встречи с Тамарой, — и он убежден, что верность в этом смысле существует. И тут же добавлял, что никакой другой верности не признает и что захоти он связаться с другой женщиной — сделал бы это не задумываясь и без малейших угрызений совести. Такие же представления о верности были у Кармен, но ни Мериме, ни Бизе не пытались сделать из нее мать семейства. Любовниц у Грачевского в то время не было. Но от семейных обязанностей, которых требовал быт, он отлынивал, как только мог. Идея долга, мысль о каких-то взаимных обязанностях людей друг перед другом были ему чужды и противны.

Он любил заявлять себя изверившимся во всем и во всех,

любил повторять, что "от людей можно ожидать всего, даже порядочности". Однажды он мне сказал вполне серьезно:

— Знаете, если бы я узнал, что человек сделал подлость, никогда бы не стал удивляться. И если бы узнал, например, что вы на меня донесли, я бы тоже ничуть не удивился*.

Но продолжал читать мне свои стихи и рассказывать вещи, за которые в те времена поплатился бы очень дорого, если бы я и в самом деле на него донес. Например, довольно точно пересказал текст зашифрованной телеграммы Сталина о применении пыток к политическим, ставшей впоследствии широко известной из доклада Хрущева на XX съезде. Он же рассказал мне о выступлении Щербакова на пленуме ЦК /1943 г./, положившем начало государственному антисемитизму в СССР.

Помню, я как-то сказал ему наполовину в шутку:

— А вы все-таки блядь...

Он вдруг взглянул на меня серьезно:

— А вы не блядь. Во всяком случае, вы наименее блядь из всех людей, кого я встречал. Но это не похвала. Это хорошо для тех, кто имеет с вами дело, а для вас самого это плохо.

Он был вполне от мира сего, изворотливый и находчивый. Однажды на полчаса проспал на работу. Скрыть опоздание невозможно. Идти в поликлинику бесполезно: выдать фиктивную справку о болезни врач не рискнет. Опоздание на 20 минут и более автоматически влечет "6—25" — судебный приговор за прогул — сокращение на 25 процентов зарплаты и дневного хлебного пайка в течение 6 месяцев. И все же он не растерялся. Не побежал на завод, как сделал бы почти всякий на его месте, а пошел в милицию и там заявил, будто, вернувшись домой накануне поздно ночью, обнаружил, что его обокрали. Составили протокол. В результате он опоздал на работу не на какие-то минуты, а часа на три — зато представил

* Несколько лет спустя, уже "в кругу первом", я услышал от другого человека со сломанной моралью нечто очень похожее: — Если мне напакостили — все просто и ясно. Но если сделали что-то хорошее, то вот тут-то и надо держать уши топориком, потому что за этим обязательно скрывается какая-то подлость, которой я еще не разгадал.

справку, что был в милиции. И, понятно, не имел ни малейших неприятностей.

Но этот непотопляемый, казалось бы, человек совершенно потерял лицо, когда ему пришлось изо дня в день "биться лбом за кусок и по-зверьи страшиться зимы". Имморализм не может дать действительной опоры для духа. Биография Ницше, с которой я познакомился много позднее, убедила меня окончательно, что позу "по ту сторону добра и зла" может сохранять лишь "сверхчеловек", живущий в условиях мещанского благополучия и комфорта, созданных для него простыми смертными. И годится эта поза — только пока дело не доходит до дела — для разговоров в гостиной, чтобы шокировать других таких же благополучных мещан, да поражать воображение тех, кто не испытал реальных трудностей реальной жизни.

* * *

В 1945 г. настала моя очередь: мне дали стандартный срок 10 лет. Я попал в ту самую Талагу, где был упомянутый в "Архипелаге ГУЛага" плановый выпуск мебели на базе аварийной древесины — бревен, отбившихся при сплаве. Помню совещания, на которых золотопогонные начальники решали, сколько аварийной древесины нужно заготовить на следующий месяц. Чем не модель всего ГУЛага, который обеспечивал плановое производство в целых отраслях хозяйства всей страны на базе "аварийной" рабочей силы?

Грачевский тоже сидел в Талаге часть срока. Его там не помнил никто, но многие помнили его сокамерника по следственному изолятору Редельмана. Редельман работал заведующим гончарным цехом /не начальником: начальниками могли называться только вольные/. Одно время пошло много брака, и его заподозрили во вредительстве. Это был один из редких случаев, когда следствие затеяли, чтобы узнать о действительном положении, а не для того, чтобы сфабриковать дело. Поэтому Редельман смог спастись. Начальству не грозили непри-

ятности за то, что зэка подержали в изоляторе, показания свидетелей были в его пользу — и следствие прекратили.

Что же произошло тогда с Грачевским? Почему не сохранилась память о его счастливо окончившемся деле? Как могло случиться, что ни сам он, ни свидетели никому ничего не рассказали? Разве что свидетели показали против Грачевского и боялись прослыть стукачами, а его оперчасть отпустила за обязательство быть стукачом? Гораздо вероятнее, что никаких свидетелей по делу Грачевского вообще не было и, значит, не было и самого дела. Но тогда почему он очутился в одной камере с Редельманом? Я помнил рассказ Грачевского, как он тогда пытался заговаривать с Редельманом на политические темы, но тот держался непробиваемым ортодоксом. Выходит, Грачевского просто пытались использовать как наседку?

И еще: почему он хотел хранить у себя переписанные мною безобидные лирические стихи, которые обещал мне отдать, когда я уеду из Молотовска? Директор завода согласился меня отпустить, мой отъезд в Ленинград был предрешен, это был вопрос нескольких месяцев. Какое же значение имела для Грачевского отсрочка в передаче рукописи? Знал, что мне не дадут уехать? Но если он предполагал, что меня посадят /зная мой образ мыслей и общительность, это вполне можно было предполагать/, то почему не боялся держать у себя не только эти, но и другие рукописи, далеко не столь безобидные по тем временам? Ожидал от меня "даже порядочности"? Но он не верил, что возможно сопротивляться следствию, не раз говорил мне:

— Если вы что-то знаете, вы можете не хотеть сказать, но вас всегда могут заставить сказать.

Да и какое значение могло иметь, как я поведу себя на следствии, если наши дружеские отношения были всем известны? Выходит, у него были основания считать себя в безопасности и в случае моего ареста, и это несмотря на то, что он уже сидел по 58-й, то есть был потенциальным повторником.

Патер Браун, наверное, счел бы эти рассуждения более, чем достаточным доказательством, но я тогда еще не читал Честер-

тона и, главное, уж очень не хотел думать о Грачевском плохо. Однако "иллюзии гибнут, а факты остаются". В 1959 г. я встретился в Москве с его — уже бывшей — женой Тamarой Андриевич, и она не только подтвердила мои худшие подозрения, но рассказала еще и о других жертвах доносов Грачевского. Тетка Тамары была арестована, и на следствии ей, как потом выяснилось, были инкриминированы высказывания, сделанные в присутствии Грачевского. Некто Марлен, которому Грачевский в присутствии Тамары читал свои стихи "и вообще разговаривал так, как, бывало, разговаривал только с вами", пришел к ней после долгого перерыва и рассказал, что был осужден по доносу Грачевского и в лагере встретил еще нескольких его "крестников". Встретив Грачевского в компании знакомых литераторов, Марлен ударил его по лицу. Их разняли. Марлен объяснил, в чем дело. Объяснение Грачевского, заявившего, будто Марлен бывший любовник Тамары, было воспринято, как неуклюжее вывирание застигнутого врасплох: естественно чтобы в таком случае инициатором скандала был оскорбленный муж.

Когда я рассказал про встречу с Тамарой моей матери, она высказала твердое убеждение, что Грачевский был виновником моего ареста. Моя мать рассказала, что всякий раз, когда она, до отъезда из Молотовска, виделась с Грачевским, он не только не пытался морально поддержать ее, но, напротив, словно стремился убить всякую надежду, так что после каждого разговора с ним она чувствовала себя вконец разбитой и расстроенной.

Что толкало его вести себя так по отношению к пожилой женщине?

Из всех, с кем Грачевские общались в период нашего знакомства, я был принят у них как самый близкий, даже более близкий, чем сестра Тамары и ее семья. И от Тамары я не раз слышал, да и сам чувствовал, что Грачевский дорожил моей дружбой и по-своему даже любил меня. Вполне допускаю, что доносить на меня ему было тяжело и что сделал он это не по своей воле, а по велению своих хозяев. По словам Тамары, он даже изобразил это потом в пьесе, и в ней было разбросано

множество намеков, которые могли бы понимать до конца только мы трое.

Хозяев своих он, конечно, ненавидел — это видно и по его стихам, — но не мог побороть страха перед ними и выйти из повиновения. Бессильный вырваться из круга лжи и ненависти, в котором жил, он готов был ненавидеть всех, кто жил иначе. И когда я перестал быть для него отдушиной, он возненавидел меня тем сильнее, что, по свойству психологии людей такого рода, меня же и считал виновным в том, что его хозяева заставили его предать меня.

Эта часть рассказа затянулась, но я был обязан изложить все факты и доводы, на которых основываю обвинение в стукачестве реально существующего живого человека. Исчерпывающих доказательств не бывает, любая аргументация завершается заключением, в котором волевой элемент неизбежен. Читатель волен толковать факты иначе, но он не может иметь ко мне претензий: я ничего не выдумал и не утаил и не выставил ни одного довода, в силу которого не верил бы сам.

* * *

Одно из эссе, составляющих повесть Василия Гроссмана "Все течет...", посвящено стукачам. Повторяя, словно рефрен, "не спешите бросать в него камень", автор рассуждает, какие причины вынуждали или побуждали людей разного типа стать стукачами. Естественно спросить: а каковы были возможности не стать стукачом вопреки всем этим причинам?

В начале тридцатых годов стукачей вербовали особо среди интеллигентов старшего поколения. Метод был прост. Человека арестовывали, предъявляли ему достаточно грозное обвинение /чаще всего в шпионаже/ и предлагали выбор: или он дает подписку быть сексотом, или делу дадут "законный ход". В 1933 г. так взяли моего отца. Он упорствовал. Тогда взяли мою мать. Узнав об этом, отец дал подписку, и обоих немедленно освободили. Через несколько месяцев отца вызвали и напомнили о подписке. Он ответил, что не считает себя связанным обязательствами, которые вымогаются такими метода-

ми. Его оставили в покое и не трогали до 1937 г., когда началась очередная широкая кампания.

Видимо, освобождение было оформлено как прекращение дела, и его нельзя было просто тотчас схватить: требовалось вновь запускать в ход громоздкую бюрократическую машину. Некоторое представление об этом дают слова Хрущева из его речи перед партийцами, прижизненно реабилитированными по "ленинградскому делу":

— Мы знаем, кого наказать, и сами накажем. Но если привлекать всех, из-за кого вы пострадали, то пришлось бы засадить еще много больше, чем вас там было.

"Когда виновных слишком много, они все остаются безнаказанными" /Макиавелли/.

Если бы отец послушался матери и немедленно уехал в другую область подальше, он бы, возможно, спасся, и жизнь нашей семьи сложилась бы иначе. Он настолько плохо знал природу советского режима, что, будучи оправданным, считал свое положение безопасным. Но твердых моральных принципов оказалось достаточно, чтобы не дать затянуть себя в болото...

* * *

Здесь я должен сделать отступление, чтобы немного рассказать об отце.

Он родился в еврейском местечке в 1880 г. Дед мог отправить в гимназию только одного из пяти его братьев /о ком-либо из трех сестер не было и речи/, и отец сдал курс гимназии экстерном, зарабатывая себе на жизнь репетиторством. Поступить в университет в России он не мог. Хотя тогда не было расовой дискриминации евреев, как теперь, но была дискриминация инаковерующих: церковь не была отделена от государства /теперь от государства не отделена партия и следует инакомыслящих/. Но для выезда за границу было достаточно подать прошение генерал-губернатору, оплатив гербовый сбор. И отец поехал в Швейцарию, прослушал там курс медицинского факультета, а потом сдал экзамены в Харьков-

ском университете, где ему присвоили звание лекаря и выдали врачебный диплом.

В губернском городе, где мы жили, отца знал чуть ли не каждый встречный. Письма с адресом "Смоленск, д-ру Кагану" доходили без малейшей задержки. Сестра попросила в магазине оставить для нее детскую ванночку, пока она сбегает домой за деньгами. Продавщица сказала:

— Вы же дочь доктора Кагана. Забирайте ванночку, а деньги принесете потом.

Известно, как все были запуганы и шарахались от семей репрессированных. Но один из сослуживцев отца в 1933 г. носил ему в тюрьму передачу, а двое других, когда он пропал без вести, заходили справляться о нем.

Разумеется, отца пытались вовлечь в партию и, разумеется, безуспешно. Моим политическим воспитанием он не занимался /видимо, считал, что "детскую душу грешно возмущать"/, но когда я спросил, почему он не идет в партию, прямо ответил, что у него с большевиками принципиальное разногласие: он противник смертной казни. Я стал цитировать Горького /"Если враг не сдается..."/. Отец сказал:

— Эта статья очень уронила Горького в моих глазах. У государства достаточно сил и средств обезвредить любого человека без того, чтобы его убивать. И большевики всегда выступали против смертной казни, пока сами не добрались до власти.

Я сослался на доктора О, который поступает в партию. Он ответил:

— Ну что ж, я и всегда был о нем невысокого мнения.

Отец считал, что арест в 1933 г. ложится пятном не на него, а на тех, кто его безвинно арестовал. Это, конечно, не советская, даже антисоветская психология. Советскому человеку чуждо и недоступно понимание реабилитации как признания вины государства перед гражданином. Секретарь райкома в Ленинграде сказал жене моего друга:

— Что значит реабилитирован? Его тогда правильно осудили, просто теперь установка другая.

Проворовавшийся тюремный надзиратель Лушков, освобожденный по отбытию примерно трети срока, говорил про реабилитированных "их простили". И точно то же говорил маститый советский писатель В. Кочетов устами "положительных" персонажей романа "Братья Ершовы". Советское правосознание хорошо отражает известный анекдот, как некто "попал в грязную историю: не то он украл шубу, не то у него украли шубу, но что-то с шубой".

Ночью в октябре 1937 г. отца забрали, и мы долго ничего не знали о его судьбе.

В управлении НКВД висело объявление "Справки об арестованных не выдаются".

В смоленской прокуратуре сестре сказали, что отец осужден на 10 лет без права переписки и отправлен в Дальние лагеря и что мы никогда его больше не увидим. Потом другие чиновники говорили, что по закону такой меры не существует.

Моей матери прокурор сказал:

— За что его осудили, я вам не скажу и приговора тоже не скажу.

Зимой 1941 г. до нас дошел слух из третьих рук, что отца видели в лагере где-то в Кировской области.

В 1956 г. мы получили из Военной коллегии Верховного суда справку о реабилитации, а из смоленского ЗАГСа — свидетельство о смерти отца. В справке сказано, что "постановление НКВД СССР от 17 ноября 1937 г. в отношении Кагана К. А. отменено" и что "Каган К. А. реабилитирован посмертно". О содержании постановления в справке ничего прямо не говорится, но слова "реабитирован посмертно" означают на самом деле, что отца убили. Нам случайно удалось расшифровать это кодовое обозначение. Отец моей жены погиб в ссылке вследствие несчастного случая. Шесть лет спустя он был реабилитирован, но слова "посмертно" в справке не было. Жена просила внести это слово /оно имело значение для ОВИРа/, но в суде ей отказали: "Ведь он же не был расстрелян". В свидетельстве о смерти место не указано, причина указана ложно /миокардит/, но дате смерти — 12 ноября 1942 г. — не видно оснований не верить. Из сопоставления дат видно, что чело-

век, обреченный на уничтожение, дождался своей участи целых 5 лет. Несомненно, таких, как он, было немало.

О гитлеровских лагерях смерти говорилось и писалось много, о сталинских — неизвестно почти ничего. Их создателей не судил Международный трибунал, их узники погибли, по-видимому, все до единого. То, что я здесь рассказал — косвенное, но довольно убедительное доказательство, что такие лагеря действительно существовали.

* * *

Позднее вербовка носила уже более добровольный характер, и прямая позиция в значительной мере предотвращала поползновения такого рода. Находясь в заключении, я никогда не скрывал своего отношения к стукачеству и стукачам. Когда начальник шарашки подполковник Беспалов вызвал меня и предупредил, что, по его сведениям, я держусь вызывающе и мои слишком откровенные высказывания могут привести ко второй судимости, я ему сказал:

— Вы работаете в этой системе не первый год, но ведь и я сижу не первый день. Ни для вас, ни для меня не секрет, что среди заключенных есть такие, кто пытается добиваться благоволения начальства и строить свое благополучие доносами на товарищей по несчастью. Я ни от кого не скрываю и вам говорю это прямо в лицо, что считаю таких людей последними мерзавцами и подонками. Естественно, они меня ненавидят и, как бы я себя ни вел, все равно будут на меня капать. Если бы капали по работе, я бы мог вам доложить все свои отчеты, и вы бы разобрались, но против таких доносов я беззащитен.

Ответ подполковника был, по-моему, просто классическим:

— Видите ли, Виктор Кусиэлевич, такова жизнь. Если на вас напишут достаточно много, то уже неважно, правда это или неправда.

/На шарашках вертухаи называли заключенных просто по фамилии, а золотопогонные начальники — по имени-отчеству.

Мне это всегда напоминало знаменитую фразу тургеневского персонажа: "Насчет Прохора там... распорядиться". /

Примерно через год после этого разговора меня засудили вторично: я был недостаточно осторожен в выборе собеседников. Но за все годы жизни на Архипелаге меня пытались вербовать только однажды, причем я сам по неосторожности дал к этому повод. У меня произошел скандал с вольнонаемным библиотекарем, который не выдал мне находившегося в технической библиотеке томика Пушкина. Рассудив, что "пусть один гад ест другого гада", я подал письменную жалобу на имя начальника шарашки. Меня вызвала оперуполномоченная Окулич, очень любезно со мной беседовала, заверила, что по моей жалобе будут приняты меры, предложила подать заявление, чтобы мне выдали новую верхнюю рубашку /"ваша уже поизносилась"/, и... попросила написать объяснение о существующем порядке выдачи технической литературы и, в частности, иностранных технических журналов. Мы с друзьями сразу решили, что это закидывание крючка. Заодно я передал разговор еще одному зэку, которого подозревали в стукачестве: было бы грешно упустить такую возможность провернуть подозрение. Вызванный к оперуполномоченной на следующий день с самого утра, я сказал, что обдумал все дело еще раз и решил никаких объяснений не писать. Окулич сперва пыталась сыграть на моем самолюбии /"что же вы, струсили?"/, а потом перешла в прямое наступление:

— Зачем вы разгласили наш разговор среди заключенных? Мало ли о чем с вами могут говорить в оперчасти, так вы будете все заключенным рассказывать?

— Всенепременно и обязательно. Я такой же заключенный, как и они, и никаких секретов с вами от них у меня не может быть и не будет.

И на этом все кончилось. Больше меня никогда не вызывали в оперчасть.

"Василий Семеновч Гроссман был человеком высокой совести, а среди литераторов это качество встречается гораздо реже, нежели талант" /И. Эренбург /. И он был, конечно, прав: нельзя спешить бросать камни в кого бы то ни было. Это

нужно делать, лишь взвесив все "за" и "против" и полностью сознавая свою моральную ответственность.

Так вот, взвесив все "за" и "против", я бросаю камень в Грачевского.

III

В лагере и после выхода из лагеря Грачевский писал стихи, которые должны были, по его замыслу, составить единый цикл, названный им "Чужие времена". По-моему, они интересны не только как просто хорошие стихи, но и как выражение умонастроения определенной части моих сверстников, сперва ослепленных идеалами и романтикой революции (известными, разумеется, лишь по книжке да понаслышке, то есть по легендам), а затем разочарованных стремительным перерождением советского строя в красносотенную монархию, — ухудшенное даже по форме издание черносотенной монархии, свергнутой в феврале 1917 года.

На взгляды Грачевского, по-видимому, сильно повлиял его отец, точнее, образ отца, который он отчасти домыслил. Отец Грачевского одно время работал в Политуправлении Красной армии и был связан с Троцким. Мать его мне говорила, что сын никогда не встречался с отцом, но полностью унаследовал его наружность, яркую индивидуальность и характер (типичная фраза — "я ничего не должен"). Сам же Грачевский говорил об отце как о человеке, хорошо ему известном.

Говорил, что отец примыкал к Троцкому, но "отошел от политической деятельности, когда увидел, что с представителями рабочего класса расправляются как с классовыми врагами" (это вполне правдоподобно).

Говорил, что отец был близок к театру, знаком с Мейерхольдом и что тот считался с его мнениями (не берусь судить, правда ли это, но ясно, что отсюда весь настрой стихов "Мейерхольдам") .

Рассказал, что в 1937 году отец попал в тюрьму (это прав-

да), но писал XVIII съезду и по ходатайству съезда дело пересмотрели и срок снизили до 5 лет (это вымысел, отец просидел 18 лет).

Понятно, что Грачевскому была близка мысль о перерождении строя. Помню, прочитав газетную передовицу "Новое пополнение рабочего класса" — о выпуске из ремесленных училищ — он обратил внимание на то, как изменился взгляд на рабочий класс: это уже не рабочий класс в традиционном понимании марксистов, а просто рабочая сила.

Он приводил удивительно выпуклый отрывок из телефонного разговора:

— Товарищ полковник? Поздравляю вас с правительственной! Товарищ полковник, можно у вас машину?... — и все это заискивающим тоном.

Проситель обращается к представителю нового привилегированного класса, который и обличье-то принял старое (золотопогонник-полковник), и только слово "товарищ" еще напоминает что-то о революции. Впрочем, и оно стало уже не тем, что было. Не помню, кто из нас заметил, что это обращение, введенное, чтобы подчеркивать равенство, перешло в свою противоположность в сочетании "товарищ Сталин". В письменной речи это было особенно заметно, так как сокращение не допускалось, и в газетах мы сплошь и рядом встречали "товарищ Сталин и тт. ..." "Товарищ" Сталин был первым среди далеко не равных ему...

О Сталине Грачевский говорил словами Барбюса, что "это, может быть, самый неизведанный человек в мире". Цитировал Писарева — "пробуждение общества начинается с эстетических понятий" — и говорил, что Сталин поэтому очень следит за литературой и резко различает литературу для народа и для себя. Приводил рассказ И. Сельвинского про советы, которые давал ему Сталин, когда он читал ему свою пьесу о Ленине, — советы, свидетельствующие о вкусе и противоречащие господствовавшим в то время штампам. Вместо мажорного заключительного эпизода (Ленин выходит на балкон и произносит речь), Сталин предложил простую, немного

лирическую концовку (Ленин, насвистывая, ходит по комнате).

Сталин казался единственным человеком — злым гением, — который знает и видит свой путь в этом обезумевшем мире, где "все понятия настолько перепутались, что даже прусский кронпринц называет себя революционером" (Г. Дмитриев).

Он победил всех своих соперников, из которых, казалось, "каждый по отдельности был сильнее его и пользовался большей популярностью в народе" (слова Грачевского). Напрасны, бессмысленны были все усилия и жертвы: он один сумел "времени остановить разбег", и мы видим, что

**...мир, не изменившийся от века
Навеки стал тюрьмой для человека***

потому что человечеством движут не высокие идеи, а простой страх.

**Так повелось от века и до века,
Не первый наш и не последний век.
Чем больше бьют и мучат человека,
Тем все подлей и мельче человек.
Из года в год мельчают жизни нормы,
И человек мельчает на глазах.
Хотя друг другом правим с давних пор мы,
Но каждым от рожденья правит страх.
Одни боятся гибели голодной,
Другие власть боятся потерять,
И этот вечный двигатель народный,
Как в спину штык, вперед нас призван гнать.
И человек, за жизнь держась упорно,
Испуганный, на смерть идет покорно.
(Сонет 6)**

Грачевский написал стихи о Сталине. Его "Вождь" представлялся глубоким проникновением в сущность Сталина

* Известие, что повесился брат Тамары, послужившее непосредственным толчком к созданию сонета 4, подсказало образ:

**...человечья истина повисла,
как висельник в затянутой петле.**

"Висельника ворот" вошел в "Правый берег", написанный позднее.

всем немногим, кто тогда его слышал. Помню, сам Грачевский считал эту вещь одним из высших своих достижений.

Вождь ли он, раб ли он, друг или недруг?
 Нашим горбом ощущаемый век.
 Четко шагающий по миллиметру
 В серой шинели простой человек.
 Передо мною безумьем томимый
 Мир, безнадежной горячкой больной.
 Только один он неуязвимый,
 Только на нем этот панцирь стальной.
 Кажется, знает его до предела
 Каждый, кто чудом при нем уцелел.
 Каждое слово его и дело,
 Неповторимое, как расстрел.
 Может быть, воображенье больное,
 Если в разрезе чуть старческих глаз
 Вдруг я увидел что-то родное,
 Будто меня он от гибели спас.
 Имя его, как эскиз идеальный
 Неразрешимой загадки земной.
 Вот он, усталый и провинциальный,
 Сын человеческий, как меч надо мной.
 Вождь ли он, раб ли он, друг или недруг,
 Времени остановивший разбег,
 Все подчинивший — землю и недра —
 В серой шинели простой человек.

В стихах Грачевского отразилось, каким он хотел бы выглядеть со стороны, чем он хотел бы быть. В жизни он служил тем, кого сам же ненавидел и презирал, в стихах искал самоутверждения и самооправдания. Отсюда образ художника, согнутого и поработанного ничтожными людьми, в чьих руках его насущный хлеб.

Идя через обломки многих дум
 К сегодняшней минуте утвержденья,
 Я пробовал не раз мою беду
 Сравнить с мрамороломней Возрожденья.
 Как Микеланджело, подъявший кисть к плафону,
 Сам согнутый под хищным взором пап,
 Навек подвластный вашему закону,
 Я выше вас, но я ваш вечный раб.
 Ни рай, ни ад, ни горести мирские
 Пути не изменили моего.
 Случайно с вами встретившись в России,

От вас я не желал бы ничего.
 Когда б не знал, что и в моей пустыне
 Я нужен вам, как хлеб мне нужен ныне.
 (Сонет 1)

В других стихах мы встречаем лирического героя, который оказался свидетелем полного краха всех своих идеалов. Демонстрация этого краха — первое публичное исполнение великодержавно-монархического "Гимна Советского Союза"* , который пришел на смену "Интернационалу".

15 МАРТА 1944 ГОДА

Был ли в зале кто-нибудь, кто понял
 Всю трагичность этой пустоты?
 Капельмейстер чуть ладонь приподнял,
 Глянув вскользь на нотные листы.
 И перед беспомощным оркестром
 Зал, как полк, навтыжку стоял.
 Был ли в зале кто-нибудь, кто вместо
 Нужных слов — другие повторял?
 Был ли в зале кто-нибудь, кто видел,
 Как сходились времени тиски?
 Кто, как я, все это ненавидел,
 Кто хотел не петь, а выть с тоски?

Нет опоры для духа: бессмысленно пытаться разжать тиски времени. Впереди неминуемая бесславная гибель, и остается лишь утешать себя мыслью, что "Дульцинея прекраснейшая из женщин, а я несчастнейший рыцарь на земле".

Я руку при Лепанто потерял
 Я воевал с турбиной Днепрогэса.
 Прошли года, и вот я — адмирал.
 Стареющий под выпелом прогресса.
 Каким себя величем изведу?
 В баталии? В дыму? Что за охота
 Служить сто лет — и получить звезду
 За цепь мою, за участь Дон-Кихота.
 Нет, в камере сырой, не на виду

*Музыка А. Александрова, слова — С. Михалкова и Эль-Регистана — упразднены в 1956 году.

**Воды — спрошу — воды! — и не ответят.
Кильватерной колонной не пройдут
И залпом бортовым не встретят.**

"Социализм, при торжестве которого для его строителей нашлось место только за тюремной решеткой" (Ф. Раскольников) не может не казаться фатальным тупиком истории людям, увидевшим, что к нему с неизбежностью привел тот самый "ленинский путь", лучше которого они ничего не могли себе вообразить. До простой мысли, что "ленинский путь" был и не хорошим, и не единственно возможным, мы в то время еще не доросли. У меня тогда возникла мысль, что режим должен пасть в силу законов марксизма, принципам которого он изменил. Марксизм еще долго привлекал меня тем, что доказывает нежизнеспособность советского строя, при котором производственные отношения тормозят развитие производительных сил. Грачевский, кажется, не был склонен к такому оптимизму. Отсутствие моральных устоев лишало его опоры и в личной жизни, а в стихах оно обернулось изображением эпохи безвременья. Грачевский несомненно обладал незаурядным литературным дарованием, и очищающая сила творчества возвысила его стихи над фактами биографии, которые натолкнули на их создание. Не имея надежды добраться до работы литератора, он писал настоящие стихи.

**Каждое слово мое — название,
Каждая строчка — законченный сказ.
Мог бы продать за высокое звание
Честность мою и любовь без прикрас.
Мог бы продать свое имя и отчество
И не раскаяться в смертном грехе.
Мне же милей неподкупное творчество
В камере тесной, в тесном стихе.**

Но судьба насмешница. Ему удалось устроиться сперва "безответственным редактором" — зам. редактора заводской многотиражки, потом добрался до журналистики. Вначале вроде тяготился, писал:

**И я, как все, одной болезнью болен,
Я маленький, ничтожный человек.
О, как я огорошен, офасолен* ,
За мясо-рыбу продан я навек.**

Но продал и честность, и любовь, и творчество — и даже не за высокое звание. Осталось только имя и отчество, видно, не нашлось покупателей. А настоящие стихи отомстили ему, выдав настоящий его характер. Помню, я прочитал "Талейранам" моему товарищу по лагерю московскому писателю Д. Стонову. Он сразу сказал, что автор — "человек со всячиной", от которого можно ожидать всего, чего угодно".

А. Белинков писал, что поэт изображает общество не таким, каким оно хочет себя видеть, а таким, каково оно на самом деле. Изданный Грачевский — автор нескольких рассказов, не замеченных читателями и вскользь обруганных критикой (в "Новом мире") — это, конечно, не поэт, а не более, чем средне-преуспевающий член Союза советских писателей.

Не знаю, продолжает ли он писать "в стол". Думаю, что если продолжает, то качество сильно снизилось. Его деятельность сексота стала широко известна, и это должно было отрезать его от общения с такими читателями, какие только и могут быть потребителями и вдохновителями настоящего творчества. Солженицын находился в несравненно более благоприятных условиях, но и то почувствовал необходимость выйти из подполья, чтобы не деградировать как писатель. Грачевский создал себе такое положение, что ему выйти не к кому, да он никогда бы и не отважился на такой риск. Его и раньше удерживал, и впредь удержит аморализм, приковавший его к тому самому режиму, которого обличителем он выступал в лучших своих стихах и которому покорно служит как стукач и как рядовой советский литератор. Но старые стихи Грачевского для меня живут отдельной от него самостоятельной жизнью, я и теперь их люблю и ценю и продол-

* Талоны "Крупа" в продовольственных карточках в Молотовске тогда отоваривались горохом и фасолью.

жаю думать, что они были созданы настоящим поэтом — поэтом в том смысле, как понимал это слово А. Белинков. Часть из того, что сумел запомнить, я и поместил в свой рассказ.

Помню, зимой 1943-44 года Грачевский впервые прочитал мне и Тамаре сонет, только что написанный ко дню ее рождения:

**Пускай все это временно, и я,
Большой поэт, загубленный судьбою,
И вся моя несчастная семья
Вернется в мир когда-нибудь со мною.
Пускай все это временно: война,
Голодный год и сумрак солдафонства.
Но ведь и жизнь нам временно дана.
Так неужели нужно только в тон с ней?
Так неужели за дешевый хлам,
Смотря на мир собачьими глазами,
Я, вырвавший себя у смерти, дам
Бессмертие мое на растерзанье?
Пускай все это временно, но стих
Окажется счастливей нас двоих.
(Сонет 3)**

И я, и она восприняли тогда заключительные строки сонета как пророческие. И теперь мне бы хотелось, чтобы пророчество поэта сбылось и чтобы обнародование этого рассказа стало данью справедливости и "Чужим временам", и их автору.

IV

"Один день Ивана Денисовича" вызвал реакцию — серию опусов на лагерную тему, воспевающих мораль некрасовского мужика, который, даже сидя в остроге, аккуратно высылал своему барину оброк. Это называлось (Г. Серебрякова в "Литературной газете") "показать, что советские люди, даже находясь в лагерях в тяжелейших условиях, сохраняли верность партии". Пожалуй, наиболее примечательной была "Повесть о пережитом" Б. Дьякова. Дополняя "Один день" показом лагеря с точки зрения стукача-придурка, она еще и сообщает кое-какие факты о людях, выведенных под их на-

стоящими именами. Те, кто ее прочитал, наверняка запомнили рассказ о литераторе Б. Четверикове. Четвериков тайком пишет поэму, воспевающую Ленина. А оперчасть, узнав, что политический заключенный занялся политической поэзией, вместо того, чтобы — в лучшем случае — запереть его в одиночку и выдавать ему бумагу листочками по счету, а потом все листочки отбирать, оберегает его от бандеровцев. Как же этот "свой человек в оперчасти" попал в лагерь? Дело в том, что консервы едят, а банку выбрасывают.

Живя в Ленинграде, Четвериков организовал литературный кружок, участники которого, студенты, собирались друг у друга дома и читали стихи — в том числе и собственного изделия. Между прочим, в этот кружок входил А. Ванеев, внук того самого Ванеева, который был сослан вместе с Лениным.

Однажды двое кружковцев случайно обнаружили донос, написанный рукой Четверикова. Прочитав его, они поняли, что это лишь один из серии доносов. Четвериков изображал кружок как подпольную антисоветскую организацию, а себя как лазутчика, который проник в нее, чтобы осведомлять "органы". Парни решили, что единственный способ самозащиты — встречный донос на Четверикова. Известный рецепт Василисы Егоровны был выполнен ровно наполовину: разбить, кто прав, кто виноват особенно не стали, а засадили всех.

Через десять с лишним лет "в связи со вновь открывшимся обстоятельством, что Б.Д. Четвериков был секретным агентом госбезопасности", дело пересмотрели и кружковцев реабилитировали. Но... был реабилитирован и Четвериков.

Судьба свела меня с одним из участников этого кружка. Я прочитал ему все, что помнил из "Чужих времен". Он оценил стихи очень высоко и написал как бы в дополнение к ним "Фуше" и "Нас учили уму поколенья". Эти вещи помещены в первой главе, в конце подборки, рядом со стихами Грачевского "Талейранам", к которым "Фуше" примыкает по теме.

* * *

В 1946 году в Челябинской области нашлись люди, которые попытались объединиться и бороться со сталинщиной с позиций ортодоксального марксизма. Разумеется, это было потрясением основ, и краеугольные камни не замедлили обрушиться на виновных и на всех, кого было решено изобразить таковыми. Среди шести тысяч схваченных по делу оказались два 13-летних школьника. И тут в прокуроре вдруг проснулась женщина, мать. Она потребовала, чтобы детей осудили условно и не приговаривали к лишению свободы. Советский суд, который "ни от кого не зависит и подчиняется только закону", не посчитался с требованием обвинителя. Она написала кассацию. Отклонили. Обжаловала в Верховный суд. Отказ. Написала в Президиум Верховного суда...

...Мальчики очутились в колонии для малолетних. Формально это было заведение облегченное по сравнению с лагерем. Фактически же там было много хуже, так как в качестве "воспитателей" и придурков подвизались великовозрастные уголовники и царил полнейший произвол. Вскоре у ребят на работе произошло столкновение с одним из придурков, и вечером банда его помощников явилась чинить расправу. Обычно проштрафившийся покорно выходил на середину и его избивали подушками до тех пор, пока он, упав, уже не мог встать. Но ребята не подчинились. Уголовники явились вооруженные гайками на проволоках. Ребята схватили табуретки. Одному из ребят сломали ребро. Одного из уголовников ударом табуретки свалили на пол, и он больше не поднимался. Неравный бой прервало появление солдата-надзирателя, который уселся на табуретку и просидел в камере до подъема. Таким образом ребята получили отсрочку до вечера. А утром им объявили решение об освобождении.

...Прошло 6 лет, и в Челябинске снова появились листовки. Раз есть преступление, должно быть и наказание, и не так уж важно, чтобы наказан был именно тот, кто совершил преступление. Схватили нескольких человек и в их числе одного из

двух — уже бывших — малолеток. И тот же прокурор потребовала, чтобы парню (уже совершеннолетнему) дали 10 лет. И тот же суд, который... и т.д., на этот раз... удовлетворил требование обвинителя.

Мы познакомились в лагере в Хакасии. Он записал стихи с моих слов, выучил их наизусть и сжег запись. Через короткое время, после однодневной забастовки (прошедшей, впрочем, мирно), из лагеря был отправлен этап на Дальний Восток. Он попал в этот этап, и я потерял его из виду. Только осталась в памяти его история и его четверостишие, которое я взял эпиграфом к рассказу.

Прожив год в Израиле, я немного познакомился со здешними русскоязычными журналами и надумал опубликовать стихи Грачевского. Отправил небольшую подборку с краткой сопроводительной заметкой в редакцию "Время и мы". И тут встретились два списка стихов: мой и сделанный моим хакасским знакомым. И выяснилось, что, по иронии судьбы, человек, вывезший список, незадолго до отъезда познакомился с Грачевским, вероятно, подосланным к нему. И ни он не знал, что говорит с автором стихов, ни Грачевский не подозревал, что его собеседник знает его стихи и увозит их за рубеж.

V

Рассказ про встречи со стихами о безвремье и их авторами будет неполным, если не рассказать еще про встречу этих людей с сонетом 66 Шекспира. Для меня этот сонет как бы подводит итог всем размышлениям о безвремье.

Шекспир писал о падении нравов и торжестве несправедливости. Он искал прибежища в личной жизни, и не в одном сонете счастье взаимной любви противопоставляется успеху в обществе, где все зависит от прихоти сильных мира. Но сонет 66 выделяется из остальных своим трагическим звучанием. Любовь здесь не источник счастья, а долг перед любимым человеком, единственное, что еще заставляет держаться за опостылевшую жизнь. Однако такой взгляд означает на

самом деле утверждение смысла жизни. Во все времена человек жил не только в обществе, но и в своем микромире, в узком кругу близких людей. И от него самого в значительной мере зависело создать этот микромир таким, чтобы в нем жить стоило и можно было прожить достойно. Именно такая нравственная позиция Шекспира, отчасти перекликающаяся с Экклезиастом, завоевала сонету 66 то особое место, которое он занимает среди стихов о безвременье.

С сонетами Шекспира я познакомился в 1943 году, когда предложил Грачевскому заняться переводами и сделал для него несколько подстрочников. Он эти сонеты перевел и тогда же, под влиянием работы над Шекспиром, написал свои шесть сонетов. Правда, он рассказывал, что строки

**Чем больше бьют и мучат человека.
Тем все подлей и мельче человек**

нашел еще в лагере, когда работал на сплаве, но до 6-го сонета они так и оставались заготовкой и в дело не шли. Сонетом 66 я заинтересовался, прочитав "Изгнание" Л. Фейхтвангера. Глава "Сонет 66" дает о нем более верное представление, чем опубликованные до сих пор русские переводы. Грачевский показал мне переводы О. Румера, Ф. Червинского и Б. Пастернака. Перевод Б. Пастернака, по-моему, и до сих пор остается лучшим из всех опубликованных. Но сопоставив его с оригиналом, мы сошлись во мнениях, что это на самом деле самостоятельный сонет на ту же тему, вполне "пастернаковский", однако по силе существенно уступающий Шекспиру (признаюсь, я так думаю и сейчас). И. Грачевский сделал новый перевод.

* * *

Бывший участник четвериковского кружка пробовал — довольно-таки безуспешно — учить меня писанию стихов. Я познакомил его с сонетом 66 и с переводами Пастернака и Грачевского (переводов Румера и Червинского я не помнил).

Мы разобрали их, сопоставили с оригиналом и — не устояли против соблазна сделать общими силами новый перевод, который бы соответствовал нашему пониманию сонета.

По мнению А. Якобсона* С. Маршак увидел в сонете 66 прежде всего гневное обличение общественных пороков, а Б. Пастернак — лирическую исповедь измученного жизнью человека.

У Шекспира оба эти мотива органически связаны. Первая и две последние строки показывают, что перед нами лирическая исповедь. Но используется не рефлектирующий, погруженный в самого себя лирик, а поэт с темпераментом пророка, художник, писавший крупными штрихами и яркими красками. Не забудем, что Шекспир был еще и актер, то есть человек, привыкший произносить стихи вслух и перед большой аудиторией. И, значит, прежде всего нужно себе представить, как должен звучать сонет 66. Первую строку ("Я смерть зову, дающую покой") произносит смертельно усталый человек. Начиная со второй, 11 строк звучат с непрерывно нарастающим гневом, пафосом, достигающим кульминации в 12-й строке. И в последних двух строках перед нами снова усталый человек, тот, который был вначале. Поэтому важно сохранить в переводе мужскую рифму — ритм оригинала — и исключительное значение имеет правильная передача 12-й строки ("И доброе начало служит злу").

В этом мире добро не только может быть подавлено злом извне, оно может и само приводить ко злу. Вот случай, который мне вспоминается в этой связи. Уголовная ответственность работников госбезопасности за необоснованный арест, введенная, вероятно, и впрямь с благим намерением заставить их отличать "своих" от "чужих", казалось бы, должна сколько-нибудь гарантировать неприкосновенность личности. Но в 1945 году начальник следственного отдела Архангельского управления госбезопасности майор Романов мне объяснил:

— Вы ведь культурный человек и понимаете, что не в инте-

*"Два решения". Сб. Мастерство перевода. М., СП, 1968.

ресак советской власти репрессировать невиновных. Поэтому я несу персональную ответственность за каждый арест. Если я вас арестовал неправильно, за это посадят меня. А я арестовал сотни людей, так что я, по-вашему, за каждого из них в тюрьму садиться буду? Или вы думаете, что вы лучше остальных? Вы должны понять, что ваше сопротивление может вам только повредить, и если вы будете упорствовать — мы примем меры, которых обычно не применяем.

1937 год был позади, и "меры" применялись не подряд, а отчасти выборочно. Однако Прокопа Сезоненко, моего соседа по камере, и без "мер" довели до водянки, от которой он умер в тюремной больнице. И к этому тоже привела "персональная ответственность за каждый арест". А осенью 1941 года, когда немцы подошли к Москве и там поднялась паника, на Лубянке произошел случай почти фантастический: чиновник, почувствовавший себя свободным от "персональной ответственности", выпустил девушку, сидевшую под следствием. Она и сейчас живет в Москве.

"Служить" означает в русском языке не только "выполнять определенные обязанности". Этот глагол означает и "быть применяемым", а может еще и указывать на объективный результат действия, не зависящий от намерений того, кто это действие совершает (скажем, служит примером). В сонете Шекспира речь идет о добре, которое именно служит злу.

Другие строки сонета тоже вызывают у меня воспоминания, иногда общие, иногда конкретные.

4-я строка ("И веру неизменно ждет плевков") напоминает мне о предвоенных годах, когда я и другие такие же хунвейбины искренне верили, будто "нужно держать народ в состоянии мобилизационной боевой готовности" (Сталин) и мириться с нуждой и отсутствием свобод ввиду предстоящей войны с Германией. Помню, как мы были ошарашены, когда за первые 42 дня войны — время разгрома Франции — было потеряно и территорий, и населения, и солдат больше, чем потеряли французы, жившие все время свободно и в достатке. Выходило, что несмотря на все наши жертвы, мы воевали

хуже их, хотя наша армия была много сильнее германской, в чем нас заверил Ворошилов с трибуны XVIII съезда партии. "Внезапное нападение", "не успели отмотилизоваться" (Сталин)? Но в Ленинграде за несколько месяцев до начала войны были две большие внеочередные мобилизации, всех студентов посылали разносить повестки. Не говорю уже, что все те годы мы жили в постоянном ожидании войны, по радио чуть не каждый день пели

**Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов.**

Эти слова въелись в память, словно поговорка.

Еще случаи — менее глобальные, но не менее характерные. Весной 1942 года на заводе в Ташкенте, где я работал после ранения и демобилизации, собрали комсомольцев и сказали, что завтра, когда будет объявлена подписка на заем, все должны подписаться на полуторамесячный оклад. И не может быть никаких ссылок на трудное материальное положение, когда на фронте люди головы кладут. И мы поверили, что каждый должен жертвовать последним грошом, и все, как один, подписались. А спустя несколько дней прочитали в газетах о присуждении — впервые — сталинских премий* и увидели, что одной только Халиме Насыровой — танцовщице, народной артистке, которая не клала головы на фронте и не нуждалась материально — отвалили 100 000 рублей, в несколько раз больше, чем наскресли со всей нашей центральной заводской лаборатории.

Первые лауреаты положили свои премии в карман, а со следующего года была введена мода жертвовать их в фонд обороны. И вот Феррапонт Головатый — не лауреат, а простой колхозный пасечник — дважды пожертвовал в этот фонд по 100 тысяч рублей (нажитых, понятно, продажей уворованного меда) и телеграфировал об этом Сталину. "Товарищ Сталин", прекрасно понимавший, откуда могли взяться такие

* После войны официально разъяснялось, будто они давались из личных денег Сталина — его литературных гонораров.

деньги у рядового колхозника, телеграфно же его поблагодарил.

Обе телеграммы были напечатаны во всех газетах, и если после того кто и заикнулся по наивности, что Ферাপонта судить бы надо за кражу колхозного добра, то сам попал под суд как антисоветчик. Можно не сомневаться, что головастый Ферапонт сумел воспользоваться сталинской охранной грамотой и с лихвой возместил себе пожертвованные деньги. Да и Сталин знал, что делал, жалуя его этой грамотой. Но Ферапонт рисковал головой, тут нужна была и авантюрная жилка, и масштаб, и смелость, а Сталину довольно было одного цинизма.

И уж бесспорный рекорд цинизма — знаменитый тост Сталина за здоровье русского народа. ("Другой народ прогнал бы вон такое правительство")

6-я строка ("И девушки торгуют красотой") снова напоминает мне о Молотовске. Понятно, что в голодные военные годы там развелось немало охотниц промышлять любовью за наличный расчет. С иностранцами это было много опаснее, но и много выгоднее, и некоторые даже научили детей подходить к ним на улице и произносить по-английски "дядя, иди спать с моей мамой". Но были и другие, искавшие серьезных отношений. И их-то подстерегала трагедия. Некоторые пошли в ЗАГС. Там зарегистрировали брак. А потом корабль ушел, "муж" уплыл, а жену капитан не взял на борт. Я знал молодую женщину, работницу с завода, которая так и осталась у разбитого корыта. А у Веры Куроптевой до ЗАГСа дело не дошло. Американский моряк, с которым она познакомилась в клубе, стал ходить к ней домой, и тогда ее забрали, а заодно забрали и ее отца. С отцом я некоторое время сидел в одной камере во внутренней тюрьме, а ее встретил на пересылке. Ей дали 8 лет по ОСО*, дело отца тоже отправили в ОСО. Ходили слухи, будто около двухсот женщин по обвинению в

* ОСО — Особое совещание при наркомате внутренних дел — заочно выносило приговоры по делам, которые почему-либо нежелательно было передавать в суд.

проституции — особенно с иностранцами — сослали на Новую Землю. Многие верили слухам и воспринимали их как должное. С точки зрения советского правосознания это ведь была "измена Родине: половая связь с иностранной державой" (долю правды в этой шутке продемонстрировал Указ 1947 года, запретивший вступать в брак с иностранцами).

2-я и 11-я строки ("Чем видеть, как достойный одинок", "И откровенность глупостью слывет") воскрешают в моей памяти ощущение безысходности, удушающего одиночества, опасности откровенного общения с людьми — глупого риска, ничем не оправданного с точки зрения житейского благоразумия. Но следовать этому благоразумию было не легче, чем противостоять его доводам.

Изнутри людей разъедал страх, и он нередко продолжал править даже теми, кто в открытую, с оружием в руках пошел против советской власти. Помню рассказ Е. И. Дивнича, моего соседа по 71-й камере Бутырки, как двое офицеров-власовцев донесли на немку, которая пригласила их на чашку чая и включила для них советское радио. Они были уверены, что должны защищаться от провокации, им ни на секунду не пришло в голову, что она могла принимать их за порядочных людей, которых не нужно опасаться.

А вокруг делалось все, чтобы искоренить всякую человеческую солидарность. На шарашке, где я был, одного заключенного на 12 суток посадили в карцер за организацию продуктовой передачи в больницу другому заключенному. В 1952 году от жены Г. К. Карпова, бывшего второго секретаря Невского райкома Ленинграда, потребовали, чтобы она развелась с осужденным мужем. Она отказалась, и ее исключили из партии "за связь с мужем". Помню комсомольские собрания в Ленинградском политехническом институте в 1937—1938 гг. "Разбирались" заявления комсомольцев, сообщавших об аресте своих родителей. Решение — исключить — было известно заранее, но у "разбираемого" нередко спрашивали, как он относится к аресту. Если он отрекался от аресто-

ванного — исключали "за потерю бдительности" (сам во-время не донес), если не отрекался — за клевету на органы НКВД, которые ведь хорошего человека в тюрьму не посадят. В лучшем случае, если обходились без таких вопросов, исключали просто "как не заслуживающего политического доверия".

Вот так создавалось "невиданное в истории морально-политическое единство партии и народа" (Молотов) — полнейшее одиночество каждого отдельного человека, который постоянно чувствовал на себе недремлющее око и знал, что от тюрьмы не зарекаются. "Советские граждане делятся на три категории: те, которые сидели; те, которые сидят; и те, которые будут сидеть" (зэковский фольклор). Помню, Грачевский как-то сказал мне, что давно испытывает это чувство обреченности и удушья. Оно отразилось в его рассказах, о которых я здесь писал, оно отчасти просматривается и в стихах. У меня такое чувство появилось в пору дружбы с Грачевским и в немалой степени под его влиянием. Парадоксально, что я в значительной мере преодолел это чувство именно в заключении и особенно после второй судимости.

* * *

Каждую строку сонета можно развернуть в рассказ о нашей жизни; все, что я написал, тоже можно рассматривать как иллюстрацию к нему. Сонет 66 — уникальная по концентрации и полноте характеристика мира, в котором мы жили, в котором не стоило бы, да и невозможно было бы жить, если бы не существовали дружба, любовь и верность.

**Я смерть зову, дающую покой.
Чем видеть, как достойный одинок,
И как ничтожный вознесен судьбой,
И веру неизменно ждет плевков,
И как позор наградой чести стал,
И девушки торгуют красотой,
И клеветой низвергнут идеал,
И сила у бессилья под пятой,**

**И как искусству власть зажала рот,
И разум ждет от глупости хвалу,
И откровенность глупостью слывет,
И доброе начало служит злу,
Я в смерти бы обрел себе покой,
Но тяжело любимой жить одной.**

*Ноябрь 1976 - июнь 1980
Иерусалим.*

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "Ш О Ф А Р"
предлагает сборник прозы
МИХАИЛА КОЗАКОВА
"ЧЕЛОВЕК, ПАДАЮЩИЙ НИЦ"
(репринт, "ПРИБОЙ", 1927)

В повести, давшей название сборнику, рассказывает о еврейской семье, бегущей от польских погромов в Советскую Россию...

Цена в Израиле — 175 лир.
за рубежом — 8 ам. долларов,
или 33 фр. франка,
или 16 герм. марок.

Книгу можно заказать по адресу у представителя:
I. MALER, Mevasseret Zion, 10—bet, Jerusalem, Israel.

При заказе у представителя скидка 30%.
Пересылка за счет заказчика.



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Леопольд АВЗЕГЕР

Я ВСКРЫВАЛ ВАШИ ПИСЬМА...

Из воспоминаний бывшего тайного цензора МГБ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В прошлом номере я уже коснулся структуры органов цензуры, теперь хотел бы вернуться к этому вопросу снова и кое-что уточнить.

Итак, всю деятельность цензуры возглавлял отдел "В" управления МГБ, имеющий в своем подчинении три отдела /отделения/ — военной цензуры № 115, отделение ПК /политический контроль/, о котором я уже писал, и, наконец, международное отделение, занимающееся исключительно международной корреспонденцией.

В Чите международное отделение находилось в одном помещении с ПК, но занимало две совершенно изолированных комнаты, где работало восемь сотрудников. Считалось, что их работа наиболее секретная и ответственная в отделе "В". Все сотрудники международного отделения имели звание опер-

Окончание. Начало см. в 55 номере.

Я ВСКРЫВАЛ ВАШИ ПИСЬМА...

255

уполномоченных, офицерский чин и гораздо более высокую зарплату, чем, скажем, сотрудники военной цензуры или ПК.

Существовало непреложное правило, что вся без исключения международная корреспонденция должна пройти через отдел "В", точнее, через оперуполномоченных его международного отделения. Письма для сотрудников этого отделения отбирались уже упомянутой мной группой "списки", которая отправляла эти "документы" на вскрытие и затем они шли в международное отделение.

Разумеется, из всех отделений оно было наиболее секретным. Возглавлявший его работу старший лейтенант Александр Матвеевич Пуликов подчинялся исключительно начальнику отдела "В". Причем, было признано целесообразным в международном отделении даже не ставить телефон. Вся связь его с внешним миром осуществлялась через отделение ПК, где телефон был, но его номера, за исключением начальника этого отделения Федора Игнатьевича Новицкого, старшего оперуполномоченного отделения ПК, а также Пуликова, никто не знал.

Все международные письма не просто вскрывались группой "вскрытие", в своем большинстве они подвергались химической обработке — считалось, что здесь наиболее вероятно прохождение всякого рода тайнописи и зашифрованных писем. Их химическую обработку проводили два наших сотрудника — инженер-химик Валентина Николаевна Гладких и фотограф Лев Солодухин.

Для международных писем не существовало принципа выборочности — вскрывалось и проверялось все, что шло за границу, а также из-за границы в Читу. Мне, назначенному впоследствии старшим украинской группы, обычно передавалась корреспонденция на немецком языке, польском и идише. Как я уже писал выше, язык никогда не был преградой для цензоров: в отделе "В", повторяю, существовал полный список цензоров, владеющих иностранными языками, с указанием их места расположения.

Вообще, ничто не должно было помешать вскрыть и проверить письмо. Даже сургучные печати. Однажды я увидел та-

кое письмо в руках у Пуликова. Судя по всему, с сургучными печатями ему еще не приходилось иметь дело. Он сказал, что срочно едет в областное управление МГБ, чтобы заказать в мастерских этого управления такую печать. Надо сказать, что в мастерских МГБ работали опытные мастера — про них говорили, что они, если надо МГБ, смогут и блоху подковать. Так что сделать сургучную печать для них не представляло никаких трудностей.

Все без исключения лица, ведущие переписку с границей, с помощью цензуры были взяты на учет. На каждого было заведено специальное наблюдательное дело. Отдельно велись наблюдательные дела в отношении тех, кто вел переписку с так называемыми странами народной демократии, отдельно — в отношении лиц, поддерживающих переписку с капстранами. Конечно, не все письма конфисковывались, но на учет брались все.

Существовал обширный перечень требований к корреспонденции, исходящей от граждан Советского Союза. В одной из секретных инструкций было прямо сказано, что письма, идущие за рубеж, не должны содержать сведений, прямо или косвенно подрывающих авторитет СССР в глазах граждан иностранных государств.

Несмотря на то, что инструкции жесточайшим образом регламентировали международную переписку, в них не могли быть предусмотрены все случаи жизни. Поэтому перед цензором, который неизменно руководствовался принципом "лучше перебдеть, чем недобдеть", открывалось широчайшее поле деятельности, и при всяком сомнении он решал дело в пользу конфискации письма. Вот почему изымались не только письма так называемого антисоветского содержания, не только письма, где авторы, пусть осторожно, но все-таки пытались высказать правду о своей жизни, — как действовать в таких случаях, не вызвало сомнения. Но конфисковывались письма, на первый взгляд совершенно невинные — человек, например, просил выслать ему икону или помочь материально. Изымались письма, содержащие самые обычные фото. В задачу цензора входило тщательное изучение всех почтовых

"вложений" и фотографий, разумеется, в первую очередь. Почему? По фото, по одежде людей, по их облику и даже по выражению лиц часто нетрудно было представить себе, как они жили. Насколько я помню, любые фото, на которых были запечатлены люди с понурыми лицами или рабочие в старой спецодежде, подлежали немедленной конфискации.

Надо сказать, что многие из тех, кто вел переписку с границей, догадывались, что письма подвергаются цензуре. Поэтому в такой переписке часто появлялись посредники, третьи лица, большей частью это были пенсионеры, которым уже нечего было терять. Например, в те годы переписка с Израилем была попросту невозможна. Письма нещадно изымались, а сведения о их авторах отправлялись в МГБ. Так вот, чтобы обходить цензуру, использовались, например, посредники, живущие в Польше. Один такой случай я знал лично. Мой знакомый, Иосиф Розбергер, уехал через Польшу в Израиль, но во что бы то ни стало хотел продолжать переписку со своим соседом и другом детства, а он к тому времени стал членом партии и делал карьеру. Тогда Розбергер решил оставить у своего брата в Польше несколько конвертов с польским адресом брата и с адресом друга в Дрогобыче. Таким образом брат Розбергера стал своего рода посредническим почтовым агентством. И таких случаев было сколько угодно: люди пускались во все тяжкие, чтобы любым способом обойти цензуру.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Иные из советских граждан были настолько запуганы МГБ, что каждое из своих писем буквально сопровождали панегириками партии и советской власти. Например: "Наше государство очень хорошо заботится о пенсионерах, нам с женой всего хватает, мы получаем пенсию... 160 рублей". Или: "У нас прекрасная комната, 14 квадратных метров, с соседями живем очень хорошо. Все шесть семей, которые проживают с нами в одной квартире на улице Ленина, — очень симпатичные люди".

Некоторые из авторов этих писем, напуганные МГБ, самым добросовестным образом хотели написать о своей жизни только хорошее. Но как они ни старались, ослиные уши советской действительности вылезали из их писем. И бдительный цензор не мог этого не заметить. Он-то знал, что сколько бы человек ни расхваливал свою замечательную жизнь, но один тот факт, что у него шесть соседей, ни при каких условиях не мог стать достоянием заграницы. И такие письма также беспощадно конфисковывались.

Вот и получалось, что за рубеж проникали исключительно хорошие, светлые, оптимистические письма, и я знаю /я сам уже после приезда в Израиль был этому свидетель/, как некоторые наивные жители Запада судили по этим письмам о советской действительности: "Вот-де ругают Советский Союз, что нет там того, нет этого, что все люди кругом недовольны. А посмотрите, как они сами пишут о своей жизни!"

Что тут можно сказать? На Западе знают, что советской печати нельзя ни на грош верить, и вряд ли сегодня какой-то здравомыслящий обозреватель, социолог или советолог, всерьез будет опираться на информацию советских газет. Но власти в СССР делают все от них зависящее для того, чтобы и письма рядовых граждан превратить в постоянный источник дезинформации. Сегодня западного человека нетрудно убедить, что "Правда" или "Известия" врут, но попробуйте его убедить, что "врет" какой-то рядовой рабочий из Новосибирска или Читы, Попробуйте убедить, что он делает это едва ли не сознательно, сам уверовав в собственную ложь. Во всяком случае и по сей день над каждым человеком висит страх, что его письма попадут в КГБ, и там уже смогут сделать надлежащие выводы о его настроении. А бывает, что готов он на пяти листах расписывать прелести советской жизни, только бы пропустили одну-единственную фразу, в которой он хотел бы сообщить брату или сестре, что он жив-здоров. Впрочем, я, кажется, забегаю вперед — о том, как цензура вылавливала "крамолу", у нас еще пойдет речь. А пока вернемся к тому, о чем говорил со мной начальник отделения ПК Федор Игнатьевич Новицкий, а именно: люди устроены так,

что многое, что у них есть в голове, они не могут высказать вслух, зато легко доверяют письмам, и нам, работникам цензуры, этот важный психологический фактор нельзя не учитывать.

То, что я буду писать теперь, уже относится к моему личному опыту, точнее, к опыту моей работы старшим цензором украинской группы. Эта группа была создана в рамках отделения ПК в 1948 году. Дело было так. Осенью 48-го года — кажется, это происходило в сентябре — меня пригласил к себе тогдашний начальник отдела "В" подполковник Макаров. Одновременно он вызвал и Федора Игнатьевича Новицкого, в присутствии которого сообщил мне о моем новом назначении. Он сказал, что в связи с прибытием в Читинскую область большого количества спецпереселенцев с Западной Украины, возникла необходимость создать специальную украинскую группу, на которую возложить политическую проверку всех писем спецпереселенцев. Учитывая мой опыт работы и, как он выразился, "мою политическую зрелость", а также тот факт, что я знаю не только украинский язык, но и его западный диалект, — так вот, учитывая все это, руководство областного управления МГБ решило выдвинуть меня на ответственную оперативную работу и возложить на меня обязанности руководителя украинской группы. Не забыв упомянуть о том, что за достигнутые результаты в работе мне уже присвоено офицерское звание, Макаров сказал, что он надеется, что я справлюсь с возложенными на меня обязанностями.

Вскоре я узнал, что в Читинскую область без всякого суда и следствия были переселены десятки тысяч жителей западных областей Украины. Это была административная высылка — люди подвергались репрессиям, поскольку были лишены доверия властей. Еще при моем назначении Макаров заявил, что политической проверке должны быть подвергнуты все сто процентов писем, отправляемых переселенцами из западных областей Украины.

Всего в состав украинской группы вошло двенадцать цензоров. Ежедневно они должны были проверять две с половиной тысячи писем. Мне была выдана именная печать, которую

я каждый день после окончания работы должен был запирать в стол, а стол — опечатывать. Кроме того, у меня хранился ряд совершенно секретных документов, среди которых были наблюдательные дела, заведенные на спецпереселенцев, а также чистые бланки специальных меморандумов, которые я направлял в управление МГБ.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОНОСА

Как осуществлялась проверка писем? Как выглядела сама технология этой проверки? Все письма на стол к цензору поступали уже вскрытыми /из группы "вскрытие"/. Согласно правилам служебного распорядка, цензор на свой стол кроме писем /"документов"/ никаких иных предметов класть не имел право. По тем же правилам важное значение придавалось чистоте рабочего места цензора. Приступая к работе, он обязан был чисто вымыть руки — это делалось для того, чтобы на вскрытых письмах ни в коем случае не оставалось следов, в том числе и отпечатков пальцев цензоров.

Вынимая письмо /"документ"/ из конверта, цензор обязан был обратить внимание на то, чтобы после проверки этой же стороной вложить письмо обратно. Цензору было вменено в обязанность обращать внимание даже на оттиск штампа погашения марок, на следы клея на клапане и т. д., — все это были ориентиры, которыми он руководствовался, вкладывая письмо назад.

Письма, содержание которых из-за незнания языков цензор не понял, он обязан был тут же направить на перевод. В частности, те из них, которые содержали антисоветские высказывания, шли к моему заму, Филиппу Чалому. Его задача состояла в том, чтобы текстуально перевести антисоветское высказывание — причем текст его излагался на специальном бланке — меморандуме. Фактически этот меморандум представлял собой донос. Донос тайной цензуры на людей, чьи письма она вскрывала. Мне, по-видимому, не надо говорить, сколько таких меморандумов фактически решило судьбу людей, отправленных на Архипелаг ГУЛаг.

Что же представлял собой этот меморандум? Во-первых, в нем, конечно, требовалось указать фамилию и адрес отправителя. Затем все данные о получателе письма. После изложения так называемого антисоветского высказывания указывался номер цензора, задержавшего письмо, и номер переводчика, который перевел его на русский язык. Фамилии и того и другого сохранялись в тайне.

Если письмо, например, задерживалось одним из цензоров моей украинской группы, то я обязан был доложить об этом письме начальнику отделения ПК Новицкому — вместе с ним мы и принимали решение. Предстояло прежде всего решить, какой ход дать этому "документу". Существовало два закодированных варианта: вариант А, то есть письмо возвращалось обратно на почтамт и шло по своему адресу, и вариант К — письмо конфисковывалось. Относительно задержанного письма следовало принять уже более конкретное решение — например, завести на получателя и отправителя наблюдательное дело /наиболее невинный вариант/, сообщить для сведения в 5-й отдел управления МГБ, занимающийся внутренними делами, или во 2-й, международный отдел. Наконец, в особо важных случаях направлялось спецсообщение в Министерство государственной безопасности. Однако решение приводилось в действие лишь после того, как его утверждал начальник отдела "В".

МАШИНА УНИЧТОЖЕНИЯ

Если на человека заводилось наблюдательное дело, то ни одно его письмо без проверки не могло пройти по каналам почты. Практически наблюдательные дела заводились на всех спецпереселенцев из Западной Украины. Что представляли собой эти люди, с письмами которых мне чаще всего приходилось иметь дело? Как я уже говорил, все они были высланы без суда и следствия и, как социально опасный элемент, были лишены политических и гражданских прав. Обычно их выселяли целыми семьями, иногда — целыми деревнями, сажали в теплушки и везли в Забайкалье. Сюда они отправлялись на

вечное поселение, работали чаще всего в рудниках и шахтах Читинской области /особенно тяжелые условия были на шахтах "Кадала" и "Черновские копи"/.

Жизнь их была невыносимо тяжела — по моим примерным подсчетам в те годы в Забайкалье погибло около тридцати тысяч спецпереселенцев из Западной Украины.

В общем-то, в своем большинстве это были простые люди, которые в своих письмах не скрывали охватившей их ненависти к советской власти. Сегодня я, разумеется, уже не могу восстановить содержание многих писем. Даже в те годы по ним не было возможности полностью проследить судьбу человека. Но все-таки некоторые из этих судеб сохранились в памяти.

Мне, например, запомнились письма высленного в Забайкалье бывшего жителя Тернопольской области Дмитро Черного. В Чите он работал на шахте "Кадала". Работал очень тяжело. Судя по его письмам, он был человеком довольно грамотным и развитым. Живо интересовался международной политикой и особенно внимательно следил за войной в Корее, возлагая на эту войну большие надежды. Он полагал, что именно с нее начнется третья мировая война, которая принесет свободу украинскому народу. В своих письмах Дмитро Черный почти не пользовался иносказаниями и ненависть к советской власти и коммунизму выражал совершенно открыто. По крайней мере мысли его были столь прозрачны, что не стоило никакого труда их понять. Отдельные его высказывания до сих пор сохранились в памяти: "...В скором времени у нас ожидается большая свадьба, и сейчас идет подготовка к ней. Мы с нетерпением ждем приезда на эту свадьбу нашего дорогого дяди. Он живет далеко от нас, но все мы возлагаем большие надежды на его приезд. Тогда мы зарежем красного бугая и будем все вместе гулять!"

Я хорошо помню, как после первого же его письма был составлен меморандум, и сам Дмитро Черный взят под особое наблюдение. Затем по его письмам составлялись один меморандум за другим, из отделения ПК пошло спецсообщение в

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

**МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СССР**

**Управление Государственной Безопасности
по Читинской области**

№.....

МЕМОРАНДУМ

Настоящим докладываю, что спецпереселенец Черный Дмитрий, рабочий шахты "Кадала", в письмах брату, прож. в Дроздовск, ул. Сталина В, допустил антисоветские высказывания о якобы тогдашнем слабении населения г. Чита продовольственными и промышленными товарами. Черный Д. допускает нацистские выражения, подражающие при этом партийным и советским органам. Одновременно он допускает следующие высказывания: "мы зарежем красного бугая и будем гулять!"

(Перевод № 043)

Получатель *Черный В.
УССР. г. Дроздовск*
Отправитель *Черный
Дмитро Чита*

РЕШЕНИЕ

A. /возвращение адресату/

K. /конфискация/

1. Оформить наблюдательное дело.

2. Информировать 5-й отдел УМГБ.

3. Информировать 2-й отдел УМГБ.

4. Оформить спецсообщение в МГБ.

Нач. отделения
/подпись/

Согласен
Нач. отдела
/подпись/

МГБ — ну и вполне естественный конец: письма от него перестали поступать совсем, а куда он сам исчез, не составляло труда догадаться.

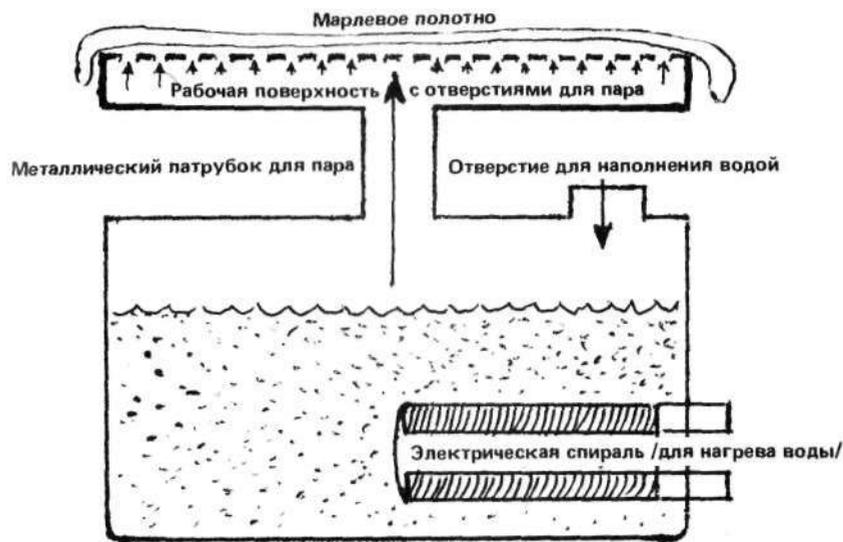
А вот трагичная судьба переселенца с Западной Украины Михаила Флиса. Он был женат и, как многие после войны, его жена выехала в Польшу, ничего не зная о судьбе мужа, оказавшегося выселенным в Забайкалье. Родственники Флиса, жившие в Станиславской области, сообщили ей, что муж ее жив-здоров и находится в Чите. Она тотчас же написала ему, уверяла, что любит его по-прежнему, что она и дети с нетерпением ждут его возвращения из ссылки. Разумеется, Михаил Флис тут же откликнулся, но, согласно действующей тогда инструкции, все письма спецпереселенцев за границу подвергались конфискации. Поэтому и письма Флиса, несмотря на их совершенно невинный с политической точки зрения характер, подлежали немедленному изъятию. Возникла односторонняя связь — он от жены письма получал, а ответить ей, по действующей инструкции, не мог. Тогда он решил посылать письма жене через родственников, находившихся в Станиславской области. Первое такое письмо беспрепятственно дошло. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока оперативные органы не установили, что Михаил Флис пользуется услугами посредника. На него было заведено наблюдательное дело, и в переписке с женой вновь начались перебои. На моих глазах между супругами возник разлад, начались взаимные упреки и подозрения и вскоре восстановившаяся было семья навсегда была разрушена. Но кого это волновало? Действовала слепая политическая машина, для которой человек ровно ничего не значил.

Кстати, я хотел бы привести еще одну историю все из той же области — как тайная цензура губила людей. На этот раз, как ни странно, речь пойдет о милиционере по фамилии Никита Василюк, который по прихоти судьбы также оказался в Забайкалье.

В те годы МВД ощущало острую нехватку милицейских кадров — платили милиционерам гроши, а жизнь была суровой, армейской, полной всяких опасностей. Вот так получи-



Сотрудники отделения политического контроля /ПК/ Л. Солодудхин, Г. Сердюк и Л. Авзегер в свободное от работы время.



СЕКРЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСКРЫТИЯ
"ДОКУМЕНТОВ" /ПИСЕМ/

лось, что в Забайкалье для прохождения службы в милиции свозили парней со всей страны и именно так попал сюда из Ровно Никита Васинюк. Был он молод, наивен и даже не подозревал, что в Забайкалье были сосланы многие десятки тысяч жителей Западной Украины. А когда узнал об этом, когда впервые на шахтах встретил этих замученных, оборванных и вечно голодных людей, то это, по-видимому, потрясло его. От имени милиционера Васинюка пошли письма в ЦК КПСС, в Политбюро и даже на имя Сталина — в письмах он подробно описывал тяжелую жизнь переселенцев. Ответ, разумеется, не пришел, зато на Васинюка было заведено наблюдательное дело. Отныне все его письма прочитывались, регистрировались и брались на учет. А он, в свою очередь, не находил себе места, видя, как страдают земляки. Васинюка часто начали встречать в бараках, он проводил там вечера, успокаивая людей, говорил, что вечно так продолжаться не может. Появилась у него из среды спецпереселенцев и девушка, на которой он хотел жениться после демобилизации. Но для этого ей надо было покинуть Забайкалье. Васинюк обивал пороги разных организаций, не отдавая себе отчета в тщетности своих усилий. Как он ни бился, куда ни писал, ничто не приносило результата. Я читал то, что он писал, и видел, как меняется его настроение, как человек озлобляется. Письма, исполненные стремления найти правду, сменялись письмами иного рода, и шли они теперь не в Москву, а на его родину, в Западную Украину.

В цензуре они классифицировались как письма "антисоветского содержания", по ним составлялись меморандумы и спецсообщения в МГБ. В один прекрасный день милиционер Васинюк исчез.

Среди спецпереселенцев пошли слухи, что Васинюк провокатор: ходил, ходил, а тут сразу забыл всех. Но мы-то, в ПК, отлично понимали, что тут произошло — обычное завершение наших меморандумов и спецсообщений в МГБ.

И так исчезали массы людей — причем никто из них даже не представлял себе, как была устроена эта машина уничтожения. Внешне все это выглядело, как обычная канцелярская

работа. О результатах проверки я ежедневно докладывал начальнику отделения ПК Новицкому, он, соответственно — начальнику отдела "В", а тот — в управление МГБ. Иногда дело доходило до того, что из 2500 ежедневно проверяемых писем более половины конфисковывалось. То есть более половины не доходило до адресата и становилось таким образом предметом политического сыска. Но я не помню случая, чтобы такая массовая конфискация писем вызывала хоть какую-то озабоченность начальства. Нет, все шло так, как должно было идти. МГБ — меч и щит революции — стояло на страже ее завоеваний.

По роду своей деятельности я не мог видеть всю технологию уничтожения людей, хотя свое начало она брала именно здесь, в отделение ПК, в этой пристройке к станции Чита-II.

САМОЕДЫ

По учебникам уголовного права и уголовного процесса, которые изучались и изучаются в советских юридических вузах, для того, чтобы осудить человека, требуются состав преступления, доказательства, показания свидетелей и т. д. МГБ руководствовалось совершенно другими принципами — крамолу искали не в действиях, а в умонастроениях людей. Преступной была сама мысль, не совпадающая с линией партии. Но поскольку по советским законам за мысли судить было нельзя, изымаемая нами переписка, меморандумы и спецсообщения никогда не фигурировали ни на предварительном следствии, ни в судах. На них нельзя было опираться, как на доказательства, но, основываясь на них, можно было в любой день бросить человека за решетку — просто как подозреваемого, социально опасного, "не нашего", а найти формальные доказательства для того, чтобы осудить его, никогда не представляло трудности для сотрудников МГБ.

Нас не интересовала судьба людей, брошенных в тюрьму по нашим доносам, — машина молча переламавала им кости, а мы, цензоры, по существу, главные доносчики и сексоты, спокойно приходили себе на работу, чисто вымывали

руки, чтобы на вскрываемых письмах не оставалось следов, примерно по 200—250 писем клали по левую сторону от себя и приступали к своей внешне совершенно невинной канцелярской работе.

Мы ездили в отпуска, собирались на вечеринки, танцевали в клубе, ходили в кино, влюблялись, женились — словом вели вроде бы вполне нормальную жизнь советских людей, но чем больше я думаю о тех днях, чем больше деталей всплывает в моей памяти, тем решительнее я прихожу к выводу, что мы не жили нормальной жизнью. Дух вечной взаимной подозрительности и страха никогда не покидал нашу среду, никто не имел гарантии на неприкосновенность, все находилось на подозрении, любого из нас мог настичь меч, который нами был занесен над головами других.

Как это происходило? Как против нас же самих действовал этот карающий меч? Об этом, вероятно, можно было бы очень много писать и рассказывать. Вот только несколько примеров, сохранившихся в моей памяти. Помнится, вместе со мной в отделении ПК работали комсомолки Нина и Тамара Даниловы. Обе были активистками, принимавшими деятельное участие в общественной жизни коллектива. У обеих были идеально чистые анкеты. Мать была рядом с ними, отец, как следовало из документов, погиб в годы Отечественной войны — мало ли было таких судеб. Но вот, в 1950 году, совершенно неожиданно на их имя приходит из Западной Германии письмо — оказывается, отец остался жив, попал в плен и в конце концов оказался в ФРГ. Он спрашивал у дочерей совета, как ему быстрее вернуться к ним, в семью, домой. Письмо прошло через международное отделение, то есть попало в руки к товарищам по работе сестер Даниловых, которые, так же как они, вскрывали письма в двух соседних комнатах. И что же? Сразу же после получения письма обе сестры написали заявление о том, что они отказываются от отца — предателя родины. Мать немедленно попросила развод. Ничего, однако, не помогло. Относительно сестер Даниловых тут же было составлено спецсообщение в МГБ, и в один день их обеих уволили из органов. Но это еще не все: уже после увольнения их за-

ставили написать ответ отцу о том, что они живут очень хорошо, ни в чем не нуждаются и вообще жизнь в Советском Союзе прекрасна. Вот только после того, как такое письмо ушло в Германию, сотрудники Читинского управления МГБ сочли вопрос исчерпанным, а свою функцию выполненной.

А вот еще одна, не менее характерная история, происшедшая опять же на моих глазах в областном управлении МГБ. В отделе "А" — архиве — много лет проработала Мария Николаевна Сергеева, в глазах начальства у нее была совершенно безупречная репутация, и ей оставалось совсем немного, кажется, год или два, до пенсии. К этому времени у нее подросток сын, получил аттестат зрелости и по окончании школы был принят в органы. Словом, все развивалось как будто бы по накатанной колее. Трагедия разразилась совершенно неожиданно. Выяснилось, что сын Сергеевой уже долгое время встречается с девушкой, живет с ней и та ждет от него ребенка. Сергеева решила как можно быстрее устроить свадьбу, но поскольку сын к тому времени уже работал в органах, данные его будущей жены должны были быть проверены. И вот, в ходе проверки, выясняется, что невеста происходит из семьи репрессированных. Причем репрессированы были не ее родители, а дед, которого сразу же после революции выслали в Читинскую область. Мать и сын были приглашены на беседу к секретарю партийной организации и в отдел кадров, где им недвусмысленно было сказано: если сын женится, то и он и мать будут уволены из органов. Насколько я помню, парень этот был очень привязан к невесте и во всяком случае ни за что не хотел ее бросить беременную. Он готов был даже уйти из органов. Но как быть с матерью, для которой увольнение было сопряжено с потерей пенсии? Вот перед такой дикой, бесчеловечной альтернативой оказались эти люди. И что же? Мать и сын остались служить в органах, а невеста не без помощи МГБ превратилась в мать-одиночку, судьба которой вследствие ее "подмоченного прошлого" уже мало кого волновала.

Это только один из множественных примеров того, как органы МГБ беспардонно вмешивались в личную жизнь своих

сотрудников, не считаясь ни с привязанностью, ни с любовью, ни с семейным долгом.

Вспоминаю свадьбу сестры моей жены Клавдии Шмаковой. Она выходила замуж за старшего лейтенанта авиации Николая Петрушенко, и на этот брак ею было получено специальное разрешение от отдела кадров управления МГБ.

Свадьба проходила с большой помпой, пригласили нового начальника отдела "В" подполковника Семакова. Подняв тост за здоровье и счастье новобрачных, он сказал буквально следующее: "И жених и невеста нами проверены, мы рады, что они входят в нашу офицерскую семью, и мы уверены, что они станут достойными членами этой семьи".

Когда-то в царской России закон не разрешал офицеру жениться без согласия командования. Тот же закон по существу действовал и в МГБ, под всевидящим оком которого всю жизнь находился каждый из нас.

Еще с дореволюционных времен Читинская область была местом ссылки политических заключенных. Эту традицию царского правительства продолжала и советская власть. Я уже рассказывал, что сюда, на вечное поселение, были сосланы десятки тысяч людей из Западной Украины. Среди ссыльных было много грузин и армян, высланных в Забайкалье после Отечественной войны. Они вели широкую переписку с родными, и для негласной проверки их писем на работу в Читинскую область был направлен коммунист Живокоян, в прошлом в течение многих лет находившийся на партийной работе в Армении. Насколько я помню, это был довольно образованный интеллигентный человек, и этой своей интеллигентностью он выделялся из среды работников цензуры.

И вот однажды меня приглашают на закрытое партийное собрание, где разбирается персональное дело коммуниста Живокояна. На этом собрании он был исключен из партии и уволен из органов. В чем же состояло его преступление? А вот в чем. При негласной проверке исходящей из Читы корреспонденции было обнаружено письмо, посланное семьей репрессированных армян. В конверте было фото Живокояна, снятого рядом с репрессированным. Вот собственно, и все.

На партийном собрании выяснилось, что это был друг детства Живокояна. Они не виделись много лет, и когда случайно встретились на одной из улиц Читы, этот друг детства пригласил Живокояна к себе. То, что он оказался в этот вечер в семье репрессированных, Живокоян не подозревал. Как водится, выпили, ну, а потом решили сфотографироваться. Живокояна, как я сейчас вспоминаю, очень многие не любили, может быть, именно потому что он выделялся своей культурой и образованностью. Мне кажется, что и начальство ему не особенно доверяло. И вот теперь, когда я прокручиваю в памяти эту ленту прошлого, я задаю себе вопрос: а не было ли все это подстроеной провокацией — и приглашение Живокояна, и фотография, в центре которой он оказался. У меня нет на этот счет никаких доказательств — я просто вспоминаю, сколько подобных провокаций устраивалось на моих глазах. Так вот, не пал ли жертвой одной из них этот культурный и интеллигентный сотрудник политического контроля?

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ ЧЕКИСТОВ

Считалось, что политическая цензура облечена очень высоким доверием — ни одна партийная или советская организация не имела права вмешиваться в ее работу. В России обычно говорят: "Все мы ходим под горкомом или райкомом". Но вот сотрудники ПК не ходили ни под горкомом, ни под райкомом. Наша парторганизация стояла на учете у первого секретаря Читинского горкома партии Пахомова. Лишь он и его заместитель знали вообще о ее существовании.

Однажды Пахомов был приглашен на партсобрание в отделение ПК. Характерно, что привезли его вечером, так что он даже не мог как следует рассмотреть закуток, в который вошел. Запрещено было пользоваться замаскированным кодовым звонком. Столы были опечатаны, а отделение "списки" вообще было заперто изнутри.

Помнится, как, войдя в помещение ПК, секретарь горкома утратил свой хозяйский начальственный облик. И выступил он тоже не очень уверенно, тщательно подбирая каждое

слово и поминутно оговариваясь, что он считает себя не вправе вмешиваться в нашу работу, а лишь хотел бы коснуться работы сети партийного просвещения. Это, может быть, был единственный раз за всю историю существования отделения ПК, когда его порог переступил "посторонний" человек, да и тот был первым секретарем Читинского горкома партии.

Впрочем, высокое доверие, которым были облечены органы МГБ, ничуть не мешало тому, что здесь процветали интриги, взаимное подсиживание, казнокрадство. И все это существовало рядом с красивыми словами о легендарных советских чекистах и их неувядаемых подвигах. Весьма показательной в этом смысле была история полковника Протасенко, начальника 2-го отдела управления МГБ. Он чаще, чем другие выступал на партийных собраниях и говорил о высоких требованиях, которые партия предъявляет к советским чекистам. "Чекист, — любил говорить он, — должен иметь горячее сердце, чистые руки и чистую совесть". Если бы он постоянно не выступал на партсобраниях, я бы, может быть, и не запомнил того, как кончилась его карьера. Полковник Протасенко был обвинен не более не менее, как в присвоении государственных средств. На партийном собрании, где обсуждалось его персональное дело, выявились небезыңтересные детали. Сотрудники органов знают, что в практике ГБ существуют так называемые "неподотчетные средства". Эти деньги, как правило, без последующего отчета за них, получают тайные осведомители КГБ на всякого рода непредвиденные расходы — на рестораны, поездки на такси, домашние попойки. Вот эти неподотчетные деньги как раз и присваивал верный чекист, рыцарь без страха и упрека полковник Протасенко. Впрочем, его махинации никогда бы не были раскрыты, если бы против него не начал подкапываться начальник областного управления МГБ. Была проведена тайная ревизия неподотчетных средств, которая и вскрыла махинации Протасенко. Он был исключен из партии, уволен из органов. Но несмотря на присвоение огромных сумм, под суд его так и не отдали, поскольку в этом случае зашла бы уже речь о чести

мундира сотрудника органов. Судьба Протасенко мало кого волновала, но честь мундира была превыше всего.

Будучи принятым в 1946 году в военную цензуру, я довольно быстро продвигался по служебной лестнице, особенно после того, как в 1948 году окончил университет марксизма и был назначен руководителем украинской группы отделения ПК. Мне присвоили офицерское звание, меня неизменно награждали денежными премиями и бесплатными путевками в санатории МГБ. Я был активным коммунистом, со мной советовались, многим из молодых я давал рекомендации в партию. Как я уже писал, я не затруднял себя мыслями относительно характера своей службы. Я гордился этой службой, считая себя чрезвычайно ценным и нужным работником.

Как известно, лето 1952 года уже было временем разгула антисемитизма. Но лично я настолько твердо чувствовал себя на ногах, что решил обратиться к новому начальнику отдела "В" Ивану Ивановичу Семакову с просьбой перевести меня поближе к родным местам, в один из районов Западной Украины. Я думал, что семь лет работы в органах дают мне право на товарищеский разговор со своим начальником. Я говорил о своих родных местах, о том, что хотел бы жить и работать рядом со своими друзьями. Что же ответил Семаков? "Вы прежде всего коммунист, товарищ Авзегер, и не имеете права ставить личные интересы выше государственных. Мало ли где я хотел бы работать? Возможно, я хотел бы работать где-нибудь в Москве. Но интересы государства и партии требуют, чтобы я находился здесь, и я нахожусь здесь. Конечно, незаменимых людей у нас нет. Но как начальник отдела, я должен сказать прямо, что в настоящее время не вижу человека, которому можно было бы доверить пост руководителя украинской группы. Кроме того, вы переводчик международного отделения. Ваша помощь бывает необходима областному управлению. Скажите, где я еще в Чите найду такого работника?"

Выйдя из кабинета Семакова, я испытывал двойственное ощущение. С одной стороны, было обидно, что после семи лет работы в органах моя просьба так и не была удовлетво-

на. С другой стороны — я еще раз почувствовал свою незаменимость. Мог ли я предположить, что произойдет со мной и такими, как я, полгода спустя, когда буквально в один день я был выброшен на улицу без всяких мотивировок и объяснений. А произошло это вот как.

Утром 22 февраля 1953 года мне позвонили и предложили в семь часов вечера явиться в отдел кадров областного управления. Разговор в отделе кадров длился, наверное, не более минуты. Инспектор отдела сообщил мне, что с 23 февраля меня увольняют из органов по сокращению штатов. Мне предложили в один день сдать все дела и явиться за расчетом.

Наутро я узнал, что одновременно со мной были уволены все сотрудники-евреи, в том числе и старший оперуполномоченный отдела "В" капитан Рива Львовна Гольденберг, которая бессменно проработала в органах 22 года — до пенсии ей оставалось всего лишь три года.

Спустя несколько дней выяснилось, что я был уволен не по сокращению штатов, а на основании совершенно секретного приказа — СС № 17. Нетрудно было догадаться, что этот совершенно секретный приказ предписывал уволить из МГБ всех сотрудников еврейской национальности, вне зависимости от их чина, возраста и заслуг. Их русских жен, в соответствии с буквой приказа СС № 17, не тронули.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Я предвижу, что многие, прочитав эти строки, про себя подумают: "Вот ведь, служил в МГБ, в тайной советской полиции, вскрывал письма и всем был доволен, пока не ударило самого, а как ударило, так сразу прозрел!" Что можно на это ответить? Что без всякого толчка во мне пробудилось гражданское самосознание? За прошествием времени можно переименовывать события, как угодно. Но я не хочу этого делать. Я решил рассказать все, как было на самом деле, даже если мой рассказ и не украшает мою жизнь и мой облик. А было так, что только удар судьбы заставил меня призадуматься над

тем, что творилось в стране, и над тем, что я делал сам. Я думаю, что по-человечески это должно быть понятно.

Именно тогда я твердо про себя решил, что больше никогда не вернусь в органы. Я начал испытывать жгучую ненависть к политической машине, которая вначале меня вознесла, а затем растоптала и превратила в ничто только за то, что я еврей. Именно тогда впервые появилась у меня мысль об отъезде.

Правда, прошло еще несколько лет, прежде чем мне удалось осуществить свой план. После увольнения из органов я вернулся в Дрогобыч, здесь горком партии назначил меня заместителем председателя правления артели "Шкиряник". Но теперь я уже был другим человеком, к работе относился без малейшего интереса, я знал, чего стоит партия со всеми ее лозунгами.

В 1956 году между Хрущевым и Гомулкой было подписано соглашение, по которому все граждане польской и еврейской национальности, проживавшие до 39-го года на территории Польши, получили право туда вернуться.

В Дрогобыче я был одним из первых, кто решил воспользоваться этим правом. Я обратился за разрешением на выезд и довольно быстро его получил, а затем, в соответствии с установленным порядком, явился в горком партии и сдал партбилет. Теперь мой отъезд ни для кого не представлял секрета, как ни для кого не было секретом то, что евреи уезжают в Польшу, чтобы оттуда переехать в Израиль. Вот тогда-то и начались события, которые я, возможно, должен был предвидеть: в мое дело вмешались органы КГБ. Они решили воздействовать не на меня, по-видимому, догадываясь о моих настроениях и махнув на меня рукой, а на мою жену.

В мое отсутствие люди в штатском почти открыто приходили в мой дом для того, чтобы говорить с моей женой. Она рассказывала мне об этих посещениях, и я все явственнее ощущал, как надо мной, а точнее, над моей семьей и моей личной жизнью, нависает опасность. По рассказу жены, один из ее вечерних "гостей" говорил ей примерно следующее:

"Конечно, у вас есть право уехать, но подумали ли вы, что станет с вашими родственниками? Ведь мы не сможем им больше оказывать доверие. К тому же вы — русская, член партии, бывший сотрудник органов, что может вас связывать с Израилем?" То, что я уеду из Польши в Израиль, ни у кого не вызывало сомнений.

Мы прожили с женой многие годы, жили всегда хорошо и, разумеется, все эти пропагандные беседы не могли оказать на нее влияния. Но в России у нее оставались родственники, а она слишком хорошо знала нравы МГБ, чтобы не понять, что, как только она уедет, на них не может не обрушиться возмездие. И тем не менее она колебалась, она не хотела расставаться со мной. Все решил неожиданный приезд в Дрогобыч ее сестры, уже упомянутой мной Клавы Петрушенко, работавшей вместе с нами в читинской цензуре. Я знал, что они вместе с мужем, так же как и мы с женой, уехали из Читы. Муж ее служил в Мелитополе. О моем предполагаемом отъезде в Польшу ни жена, ни я им не писали. Поэтому я был немало удивлен ее неожиданному приезду к нам — без мужа, с ребенком. Еще более был удивлен тому, что она уже все знала о моих намерениях. Правда, всем своим видом она хотела подчеркнуть, что не знает ничего, но это только вначале. Она нервничала, не знала, с чего начать, но однажды все-таки не выдержала и заговорила, обращаясь сразу и ко мне и к жене: "Скажите, что вам не хватает в Советском Союзе? Что? У вас хорошая зарплата, хорошая квартира, вы всем обеспечены... А тебя, Леня, я просто не узнаю, что с тобой приключилось? Что ты задумал?" Она умоляла меня опомниться и никуда не уезжать. Я ничего не ответил ей — где-то в душе я уже понимал, что каждое лишнее слово может обернуться против меня. Глядя на жену, я видел, как она переживает, особенно, когда Клава говорила, что мой отъезд погубит всю их семью. Мне кажется, что за те несколько дней я постарел на много лет. Обратного пути для меня не было. Это понимала и моя жена. Но, с другой стороны, я чувствовал, что она не может покинуть Россию, и у меня нет права заставить ее пойти на это. Вот так мы оба пришли к решению, которое,

может быть, стало самым тяжелым решением в моей жизни, — у нас не оставалось другого выхода, как расстаться.

Понимая, что органы могут пойти на все, я решил уехать тайно. После полуночи, когда город уже давно был погружен в сон, с небольшим чемоданом в руках я вышел из-дому. Возле дома меня ждала машина. Жена сопровождала меня до самой границы. Почти всю дорогу она плакала, а я ехал молча, да и о чем было говорить в эту ночь. Разумеется, больше я никогда не видел своей жены. В ту ночь, когда мы ехали на машине к границе, каждый из нас умер друг для друга.

Оказавшись в Польше, я рассчитывал тотчас же оформить документы на выезд в Израиль. Однако, к моему удивлению, в выезде мне было отказано. Тогда я решил поступить на завод — простым рабочим, токарем, чтобы не привлекать к себе никакого внимания и как бы на время уйти из поля зрения. Но и это не помогло. Разрешения на выезд в Израиль я по-прежнему не мог получить. На моих глазах уезжали крупные ученые, писатели, общественные деятели, а мне, рядовому токарю, неизменно отказывали.

Никто из окружающих не мог понять, в чем тут дело. Но я-то знал, кто и по каким причинам препятствует моему отъезду. Часто в ресторане, за одним столом со мной, появлялись люди, которые расспрашивали о моей жизни, о моих планах, стремились сойтись со мной, но я к тому времени был уже стреляный воробей и, сколько бы ни выпил, ни в какие откровенные беседы не вступал.

Я не знал, как мне вырваться, и однажды решил бежать, купив туристскую путевку в Венецию. План побега был разработан мной до мельчайших деталей. Но в последнюю минуту позвонили из туристического бюро и сказали, что мне в выезде отказано, а деньги я могу получить назад.

Итак, еще восемь лет, уже за пределами СССР, органы КГБ цепко держали меня в своих руках. Лишь после того, как кончилось правление Гомулки, я совершенно неожиданно получил разрешение на выезд.

На этом я заканчиваю свой рассказ. После солженицынского "Архипелага", после "КГБ" Джона Барона, возможно,

он некоторым и не покажется ни особенно интересным, ни особенно сенсационным. Еще одна исповедь, еще один, так сказать, "живой винтик" советской политической машины. Все верно: я никогда не был большим человеком, не был причастен к большой политике. Но я действительно был из тех — пусть маленьких — "винтиков", на которых держалась и держится советская политическая машина. Я находился внутри нее и лучше, чем кто-либо другой, знаю ее истинную цену.

В наш бурный век по-разному складывается жизнь людей. Мое прошлое сложилось так, что мне не приходится им гордиться. И все же, пусть поздно, но, как уже сказано было выше, я решил дать прямые и честные показания. И если советский тоталитаризм когда-нибудь предстанет перед судом общественного мнения, то я бы хотел, чтобы к делу были приобщены и мои показания бывшего тайного советского цензора.



ИВАН БУНИН ВО ФРАНЦИИ

Дневник Я. Б. ПОЛОНСКОГО

Вторник 7 июля 1942

Сегодня утром получили открытку от Бунина:

"Милые друзья, буду в Ницце в пятницу /10-го/, в пятом часу зайду в Таверну, где очень желал бы Вас встретить.

Ваш Ив. Бунин"

Вера Николаевна Бунина сказала Любе, что считает, что Вера Алексеевна может на них и на Зурова в особенности /считает его большевиком/ донести и поэтому поддерживает с ней /т. е. с В. А./ любезную переписку.

В 3 часа дня пришел Бунин. В синих холщовых штанах, в синей пляжной рубашке с короткими рукавами и расстегнутым воротом, в белых эспадрильях и белой элегантной каскетке, с палкой. Я обратил внимание на добротность брюк.

— От Ланвина, потому и хороши. — Я ему стал читать письмо Милюкова — отзыв о "Новом Журнале". Когда дошел до

Окончание. Начало см. в 55 номере. Комментарии к дневнику Я. Б. Полонского см. в конце публикации, на стр. 305.

бунинских рассказов /о клубничке/ — он почувствовал что-то, говорит:

— Читайте, читайте, я не обидчивый. — Я прочитал.

— Ну, право, не знаю, чего они хотят. Шведы, сукины дети, сами развратники ужасные — постеснялись напечатать. /Это уже теперь через Кускову Бунин посылал в Швецию./

Я ему в утешение сказал, что раз Макс нашел возможным напечатать, значит, там нет особенной эротики; Макс ведь строже, чем шведы.

— Ну, конечно, да он ведь стыдливее всех шведов, какие есть. А насчет Милюкова — не понимаю — я ведь у него в газете печатал такие же рассказы.

Он получил открытку от Каллаш, где она пишет, что Шмелев "девеню* сволочь" /по-фр./, читает на авеню де Токио свои произведения в какой-то немецкой организации.

Речь зашла о радио — у Буниных теперь почему-то можно слушать только Виши, что-то испортилось:

— Стою, кулаками трясу, плюю в аппарат, но только не доходит до него — до того отвратно слушать.

По поводу падения Воронежа вспомнил, что он там родился:

— Батюшка имел имение в Воронежской и Орловской губерниях. Ну и постепенно попродавал. Он всю жизнь тем и занимался, что проигрывал и продавал. А я там до трех лет жил. Воспоминаний не осталось. А потом уже приезжал туда взрослым, студенты пригласили, как уроженца, читать. Встретили на вокзале, шампанское; я напился, потом что-то читал, потом совсем пьяным напился, потом бал, потом на санях возили катать и прямо оттуда в московский поезд. Так что тоже не много впечатлений от города осталось.

Он приехал в Ниццу, так как нестерпимо заболел зуб, хоть повеситься впору, да веревки-то теперь не достанешь, есть рафия, но это не то. Теперь уж в пятницу не приедет, а в следующую.

* devenu — стал /франц./.

17 июля 1942

Плохо в России, пал Воронеж, а сегодня Ворошиловград /Луганск?/. Совершенно никакого объяснения невозможно найти безучастному отношению Англии. Все разговоры о "втором фронте" — оказались блефом. Майский три часа беседовал с Черчиллем, следовательно, положение признается очень тяжелым. Тут самый твердокаменный оптимизм может сдать. Подумать только, что в 1914 году, когда французы попросили о наступлении, русские, не закончив мобилизации, бросили кадровую армию на Восточную Пруссию...

В половине третьего пришел Бунин, без пиджака, в спортивной белой рубашке с короткими рукавами, расстегнутый ворот, синие холщовые штаны, белые эспадрильи с синим чемоданом, но без сумки через плечо. Ругал русского ресторатора Рашеева за наглость и воровство — дерет по черной бирже, за обедом плохо накормил и вино дряное дал, а взял больше ста франков. Оттуда /с бульвара Гамбетта/ пешком махнул черт знает куда в порт, где, ему сказали, можно хорошее вино в итальянском ресторане достать — заплатил 50 франков за полбутылки Пуйли. Раздражен чего-то, голоден и хочет идти в русский ресторан закусить с водкой. Отговорили, остался и пьет обыкновенный красный пинарт. Жалеет, что не поехал в Америку, неожиданно заявляет, что не поехал из-за нас?!/, что мы, мол, отговаривали, а главное, сами решили не ехать, он бы и теперь поехал, если бы мы поехали /?!/. Почему с нами? Оказывается, сам не решится ехать. Ерунда какая-то, просто на него нашла волна "черной меланхолии" и раздражения. Говорит, что "из Америки, может быть, уеду к большевикам в Сибирь". Опять вспомнил, что перед войной, в мае 1941 года, написал А. Толстому: "Очень хочу домой, сделай все, что можешь". Язык имеет огромное значение. На своем языке междометиями говорит человек и все понятно, а тут: "voules-vous encore du cafe?"* Читал на днях стихи Натальи Крандиевской, вспомнил, как молоденькой девушкой приходила к нему в Москве со стихами, "а у меня тогда четыре романа было, куда еще

* Хотите ли еще кофе? /франц./.

один, отпустил ее". Хвалил за стихи. Вспомнил о своем романе с Любой Рыбаковой /сестрой Георгия Чулкова/ — самая красивая женщина, которую в жизни видел. Богоматерь напоминала. Богоматерь в ней с... смешана была.

Ругал Шмелева за его пораженчество и гитлеризм — "всегда был мерзавцем, где выгоднее, где больше дадут, туда и гнет." Очень способный писатель, но мерзавец. Рассказал, что на днях стал читать "Собор Парижской Богоматери" и никак не мог себя заставить дочитать, "метался с книгой, в нужнике пробовал читать, не хотел сдаться, нет, я тебя одолею, и все-таки сдался". Люба ему напомнила отзыв Толстого о Шекспире, а читать ведь его тоже не хочется.

— В "Гамлете" есть что-то изумительное, вечное, а читать — это правда — не хочется. Перечитал "Братьев Карамазовых" — Господи, такие места есть, такие места, что воротит от пошлости.

От нас пошли в "Таверну". Бунин повеселел, рассказывал анекдоты. Про поэтессу Марию Нижерадзе /стерва!/. Разговор по телефону:

— У телефона Мария Нижерадзе.

— Простите, — ниже чего?

Роговский совершенно обнаглел в своем воровстве. Деньгами, в буквальном смысле слова, швыряется. Двадцать минут в моем присутствии назойливо предлагал Бунину угостить его завтраком по черной бирже с хорошим вином, т. е., примерно, франков на 500. Бунин, знающий ему цену, от обеда отказывался, но в конце концов согласился.

6 августа 1942

Вечером неожиданно появился Бунин. В это же время Янна Гр. принесла письма к нам и к Бунину от Макса. Все письма читали вслух. Письма строго деловые, никакой лирики.

Пятница 7 августа 1942

Днем опять приходил Бунин, и снова пришло письмо из Америки, на этот раз от Цвибака. Смеялись удачному описанию жизни в Нью-Йорке. Там Цвибак заводит русское издательство. Бунин пришел в восторг от описаний Цвибака — "Талантливый стервец!"

Вторник 18 августа 42

Бунину рассказывало несколько человек в кафе "Гранд Бле" /на Променаде/, в том числе Левин, что Роговский собирает пожертвования в пользу Осоргина! Если бы Осоргин знал об этом!

Пятница 21 августа 42

Днем пришел Иван Алексеевич. Так громко говорит, что проходивший по нашему бульвару Виктор Гюго Ал. Вас. Бахрах услышал на улице его голос и поднялся к нам. Бунин решил, наконец, выяснить отношения с Зайцевыми, а то, с самого начала войны с Россией они его не спрашивали, а он не объяснял своей позиции и он написал им в открытке — "Chmoulevitch — sterva, quoique le pere malheureux"* /у Шмелева расстрелян был в гражданскую войну сын/.

— Теперь, надеюсь, поймут...

Об Америке, сможет ли получить визу и для Али /Бахраха/, хотя я уверен, что в Америку он не поедет. Курьезная вещь! Всякий раз, как приезжает, обойдет все закоулки нашей комнаты, всякую книгу возьмет, рассмотрит /мы абонированы в трех русских и одной французской библиотеке/ и всегда спрашивает, как человек, никогда книг не читающий — когда библиотека открыта, надо пойти записаться в Церковную библиотеку, да никак не попадешь в тот день, когда открыто. Ругательски ругал Гитлера/ за все, за жестокость, за аресты евреев в Париже. Снова вслух помечтал о возвращении в Россию:

— Поеду в Америку, а оттуда в Куйбышев, ну, а потом в Москву.

* Шмулевич — стерва, хоть и несчастный отец /франц./.

Пил наше гнусное теплое вино, ругался, жаловался на отсутствие перца:

— Правда, раньше накопил сколько достал, запасливый старичок, — и расхохотался.

— России я никогда не любил.

Четверг 27 августа 42

Разговор между Неклюдовой /женой бывшего дипломата и автора книги "Сем. портреты"/ и Зуровым:

— Что же это вы с жидами, как Бунины?

— Я не знал, что это значит быть с жидами. Скажите, а вы, значит, с социалистами? И давно, как вы стали социалисткой?

— Господь с вами, какая же я социалистка?

— Да ведь вы с Гитлером, а он национал-социалист.

— Ну, это только так — мы просто за немцев, а не за социалистов.

Бунин получил ответ на свою открытку от Зайцевых. Пишет Вера Ал. /по-русски/ многозначительно: "Мы очень огорчены. Читаем, Иван, твою книгу "Окаянные дни", — книга Великого Гнева!" Очевидно, долго обдумывали, как бы ему подпустить троянскую стрелу, решили, по-видимому, обща с Тэффи и Ельяшевичем, у кот. живут. /"Окаянные дни" о подсоветской жизни/.

Аля Бахрах советует Ив. Ал. написать: подготавливаю вторую часть "Окаянных дней". Ясно одно: позицию Ив. Ал. они теперь поняли и знают.

Ив. Ал. им ответил:

— Я теперь вторую часть "Окаянных дней" напишу и издам.

Воскресенье 30 авг. 1942

Иван Алексеевич приютил у себя двух /евреев/. То же и у Георгия Викторовича, у Зорьки и многих других.

Четверг 18 сентября 1942

Был Бунин. Говорили о его вещах, напечатанных в "Новом Журнале". Не понимает, в чем усмотрел Милюков клубничку /"Руся" и "Париж"/, и Макс. Милюков, по его словам, привык к тому времени, когда писали: "Их уста слились в горячем поцелуе", затем многоточие на целую строку. А Макс — вероятно — боится, что под его редакцией появится эротика. А какая же там эротика?

Снова о наших парижанах:

Любе:

— Читали "Натали"?

— Читала.

— Ну, почему вам не нравится?

— Почему вы это думаете, ведь я вам этого не говорила.

— Не говорили, а по вас вижу. Скажите, что, Толстой лучше? Вы думаете. Толстой мог бы так написать? /Все вы пристааете — Толстой, Толстой.../

— Да я же ничего не говорю.

— Не говорите, а вижу, что настроение у вас оппозиционное. И все-таки прекрасная вещь.

Снова строил планы на отъезд. На этот раз в Швейцарию. Сообща подсчитывали его средства. У него в Лондоне 500 облигаций War Loan, что составляет 50 000 шв. франков или /по фактическому курсу/ 2 500 000 франков!!.

Интересовался лялиными романтическими делами. Советовал оберегать от сильных увлечений, а то еще, храни Бог, жениться захочет — ведь глупы они в этом возрасте — рука об руку, на всю жизнь, а окажется нога за ногу.

Дал ему "Новый Журнал", вторую книгу, на 2 дня. Осоргин ему пишет, что "совсем почти приготовился помирать, но машинку починили". И теперь оно /сердце/ снова вертится, но это его совершенно не интересует и безразлично.

Опять говорил, что, хотя ему опасность не угрожает, но так омерзительно здесь оставаться, что хочет уехать.

Разговор с соседом-фермером из интеллигентов Самойловым /окончил Политехнический Институт/. Самойлов в прошлом году говорил:

— Погибли красные, я большевиков знаю, все это гниль, долго удержаться не может.—

А сейчас стал другое говорить:

— Я просыпался: думал, ничего у них не выйдет; а теперь вижу — погибли немцы, ничего их уже не спасет.

Среда, 25 сентября 1942

После завтрака пришел Бунин. Говорили о "Новом Журнале" /№ 2/, он, как и Люба, считает, что сирийские стихи талантлив, но ругают его "вообще" — "талантлив, но не люблю, не приятен". Беллетристика, конечно, плохая, но где же она бывает хорошей? Вот я раньше просматривал в библиотеке Смесовой русские толстые журналы — Боже, какая серая беллетристика и как редко что-нибудь хорошее. Вот Бахрах — наша молодежь, Зуров смеются над стихами — "Леонид Опалов" — да они либо молоды, либо забыли, что поэтами на первом месте были Веткин, Вяткин, Воробьев и т.д. Выходил на эстраду Петр Вейнберг с прекрасной бородой и пятнадцать лет кряду читал... /тут совершенно непередаваемое изображение — голосом, манерами, позой каких-то стихов о вольности из Чтеца-Декламатора/. Тогда все символически понимать надо было — "занимается заря", "природа пробуждается". Написал я рассказ из переселенческого быта, напечатали его в "Русском Богатстве", послал его без всякого заглавия, и, представьте, не нашли ничего лучше, как озаглавить ... "Деревенские эскизы" — какая пошлость! Скабичевский написал, что за последние 15 лет / почему 15 — не знаю/ первый талантливый рассказ из деревенского быта. Жил я в Полтаве /?/, — выписали меня для участия в Литературном вечере. Было это, кажется, в 1891 году. Вы подумайте только с кем — с Михайловским, Савиной и Вейнбергом. Приехал я одним из первых. За кулисами стол с шампанским, фруктами, но никто никакого внимания, волнуются. Минский бледный, мрачный, шагает с бумажкой в руке, повторяет стихи; а Баранцевич, бабник, имевший успех у курсисток, увидел, приехал молодой

писатель, а я был молод и красив, испугался соперника, мило так подходит — здравствуйте, Иван В а с и л ь е в и ч, очень рад познакомиться, позвольте дать совет, читайте не громко, потише, а то акустика в зале такая, что звук пропадает, один шум будет. Вдруг все заволновались, студенты бросились так, что банты у них по воздуху. Сама приехала — Савина. Вейнберг стал на колени, целует ручку. Дошла очередь до меня. Только стал читать — крики: громче, громче! /все это в лицах/. И тут я соображаю, что Баранцевич, стерва, меня подвести хотел. Как стал читать в полный голос, окончил, минут десять аплодисменты. Потом Вейнберг /дальше наизусть Бунин читает стихи — непередаваемо — о море/ — конечно, немолкнущие аплодисменты.

— Рассказ этот вошел в собрание ваших сочинений?

— Ну, что вы, голубчик, неловко, хотя и неплохо написано.

Дальше рассказ о романах и увлечениях. Влюбился в Мусю Давидову. Какая красавица была! /дочь виолончелиста Давидова и Давидовой, редакторши или издательницы толстого журнала. Отец еврей, мать русская барыня — Муся красавица;/ был у меня роман и с дочерью Елпатьевского. Но как-то ничего не вышло, ничем не кончилось, хотя роман был настоящим.

— Почему же вы не женились?

— А это, знаете, как у Чехова. Мальчик видит красивую даму, — я хочу, чтобы она была моей женой. А потом посмотрел, закрылся рукой — жениться стыдно. Вот и мне жениться стыдно было. Да я же сам Мусю за Куприна выдал замуж. А дочка Елпатьевского за Каблукова вышла, а потом за Врангеля. А женился я в Одессе на Цакни. Приехал я в гости к Федорову в Мостдорф, вижу как-то входят две дамы в черных платьях, одна маленькая толстая, мачеха г-жа Цакни, и дочь, посмотрел и подумал — какие же бывают на свете красивые женщины. Познакомился, я у них стал бывать на даче на 7-й станции, ухаживать за Аней. Мать ее была еврейкой, Львова, умерла на Женевском озере. Ну, как-то

дней через десять поехали мы с Цакни в Одессу, он ведь был редактором "Южного Обозрения", кажется, а я там что-то печатал, едем в трамвае обратно, я ему говорю — /тут у Ивана Алексеевича делается смущенное выражение лица и застенчивая улыбка/ — знаете, как принято говорить — прошу руки, вот я хочу жениться на Вашей дочери. Он говорит — это ее дело, если хочет — пожалуйста, я ничего против не имею. Приезжаем на станцию, темно. Аня нас встречает, дает мне лилии, я лилию взял /жест, что прижал ее руку к груди/, отвел в сторону: вот что, друг мой, я хочу, чтобы вы стали моей женой. Она так взглянула и сказала:

— Хорошо.

А расстались мы из-за "Жизни за царя". Мачеха ее, ученица Виардо, неудачная певица, вздумала ставить оперные спектакли для народа на слободке Романовка в тамошней народной аудитории и привлекла туда Аню. Я заявил, — "не хочу, не пушу", нарядили во что-то и посадили, как чучело; в дом шляется масса народу. А она — нет, хочу. Ну, я взял чемодан и уехал. Прожили мы всего года полтора вместе. Был у нас ребенок, Николай. Я потом, когда вернулся — она все свое, по-прежнему в дом шлялось много народу, занесли scarлатину, ребенок заразился и помер. Я к нему время от времени приезжал.

— Вы его очень любили, огорчились?

— Да... ну, молод был, скоро отошел. Хотя, когда умер, Аня убивалась, и мы даже вместе поплакали. Был он очень красив, особенно в гробу.

Не знаю уж, как разговор перешел на Куприна. Люба говорит:

— Талантливый писатель, некультурный, но талантливый.

— Как сказать. Он быстро насобачился писать, перенял готовую технику, вот я о нем написал после смерти в "Современных Записках", Неловко о покойнике, но правду надо сказать — пошлость.

— Нет, нельзя сказать. "Поединок" я перечитала недавно — талантливая вещь. А помните: нехолосый, злой, злой.

Расплывается в улыбке:

— Да, нехолосый, нехолосый, злой, злой, — да, это хорошо. А вот в "Яме" в начале, пока описывает бардаки, которые он знал — все очень хорошо, а когда дальше роман захотел построить — читать невозможно. Мы с ним, когда ссорились в молодости, он мне со злостью пенял: — Ты вот как пишешь, а я ему: А ты вот как пишешь: "Заходящее солнце косыми лучами освещало поля, когда к городу подъезжал..." Или: "Золотистые кудри обрамляли ее очаровательное личико". Злой был и скот. Злой и скот. На меня с кулаками лез — "Я тебе, думаешь, забыл, как ты мне покровительствовал". А я к нему хорошо относился. Жили мы на даче на Большом Фонтане. Он без сапог ходил, я ему говорю, отчего не пишете? — Да меня /Бунин передает плаксивым тоном/ никто не напечатает. — Да, нет, вас охотно напечатают... Уже тогда его несколько рассказов появилось в печати. Как же, напечатают, я сам отвезу. Ну, взяли рассказ, поехали к Хейфецу в "Одесские Новости". Куприн стал канючить, боится идти. Я взял рассказ, пошел к Хейфецу: — Вот рассказ талантливого писателя, непременно должны напечатать и ни за что меньше 25 рублей нельзя. Хейфец не спорил, дал 25 рублей. Выхожу.

— Ну что? Не взял?

Сую ему 25 целковых.

А когда меня выбрали в Академию, возвращаемся мы с Верой Николаевной из-за границы в Одессу. Поехали в Мостдорф к Федорову, а возле дачи Ковалевского на велосипеде едет Куприн /показывает в лицах, как на велосипеде сидит, нагнувшись к рулю/, жил он на даче Шишкина напротив — останавливается, не здоровается с Верой Николаевной, ко мне подходит, я ему руку протягиваю, а он меня с силой под локоть норовит ударить, это такой японский прием, кость одним духом вышибает. Я его по руке: "Ты что же это, сукин сын?"

— Ты мне дорогу в Академию перебил.

Ну, я ему стал объяснять, что, напротив, сам за него говорил, но, по правде, когда стали обсуждать, то сам виноват,

стали говорить, как же можно его выбрать. Ведь у академиков есть по уставу известные права /тут Бунин наизусть процитировал длинную фразу из устава о том, что академики для науки должны встречать содействие всех/, — представляете себе, приезжает Куприн пьяный в Тамбов и требует ночью ему зал для чтения?.. Нет, злой был. Он и "Поединок" от злости написал, от злости на военных. Из полка он должен был уйти, никто не говорил почему, что-то там было такое, что заставило его уйти. Он нуждался. "Я и м покажу!" /Бунин делает зверское лицо и сжимает кулаки/. Это он военным грозил. Скот. Он в Киеве нуждался, а к нему хорошо относились Карышевы. Уезжали они летом к себе на дачу, говорят, что вам, Александр Иванович, в ваших грязных номерах жить, переезжайте к нам. Он переехал, открыл все краны и ушел, не стал жить. Нате вам за то, что покровительствовать хотели. Это самое настоящее хамство.

Среда, 7 октября 1942 г.

Был Бунин. Читал свои новые прелестные стихи — письма в стихах к десятилетней Оле. Последнее стихотворение не было отправлено адресату, так как Вера Николаевна наложила запрет — за неприличное содержание /"стульчак", "какарь" и т. д./, читал изумительно, с явным желанием, чтобы понравилось. Иван Алексеевич говорит, что теперь заносит в свою записную книжку разного рода записи, наблюдения, технический материал, чтобы "когда помру, осталось. Потом отмечаю, чего никак не надо после смерти печатать, что можно и что нужно печатать".

— Неужели вас интересует, что будет после вас?

— Представьте, что я к этому не безразличен. Хотя я не честолюбив, а чертовски самолюбив, — как вы изволили читать в моей статье о Куприне /тут, мне кажется, была стрела в нашу сторону, а именно, Люба в поздравительном письме к Вере Николаевне приписала — "статья Ивана Алексеевича написана талантливо и, как всегда, умно, но зло", и других откликов с нашей стороны не было/. Ну вот что-то останется, хотя никто, конечно, читать не станет.

— Ну, почему, читают ведь других.

— Уверю Вас, что у меня совсем хорошие вещи, не хуже Толстого. Только у Толстого два-три больших романа, а у меня романов нет. А успех писателя — если занимательная фабула. Толстому удача — "Война и мир", несомненно, фабула занимательна, все читали. Анна Каренина менее занята, хотя все-таки очень занимательна. А у меня п р о и з в е д е н и я и с к у с с т в а , а произведения искусства никто не ценит. Что же, Толстого читают и тоже недолго будут читать, еще лет пятьдесят. Через пятьдесят лет читателю непонятен будет быт Анны Карениной. Вот старые писатели — они писали без обстановки своего времени, их и продолжают читать — Петрарку, Данте, хотя, признаться, скука ужасная.

— А Пушкина ведь читают.

— И Пушкина перестанут читать.

Вторник, 13 октября 1942

Был Бунин. Возмущается сокращениями, которые редакция "Нового Журнала" сделала в его рассказе по линии стыдливости. Например, "темный мысок поднимался к его животу" /в "Париже"/.

О Бахрахе и Зурове сказал: Хорь и Калиныч. Люба говорит, ну какой же он Хорь?

— Ну, он не поэт, но беспечный, стерва, лентяй, ничего не делает и все ему нипочем, а Зуров — хозяйственный, все тащит к себе в берлогу. А раньше капитан Рощин был тоже Хорь.

Жаловался, что человечество с ним дурно поступило. Ну, собрали в Америке 500 долларов, так ведь это же всего 1000 рублей.

Рассказывал интересно об ихнем Грасском соседе, инженере Клягине, богаче. Пили виски. Клягин рассказывал /тут Бунин изображает разговор с глухим Клягиным и так орет, что на улице перед нашим домом люди шарахаются/ — работал с начала войны с немцами, поднимал в Бресте зато-

нувшие потопленные суда. У него работало 500 человек рабочих и т. д. Но с момента нападения на Россию он-де отказался работать на немцев. Считает, что немцы войну проиграли.

Сегодня был у нас Б. Н. Аргутинский-Долгорукий. Говорит, что Клягина богатство от русских казенных сумм на военные заказы в войну 14-го года.

Понедельник, 2 ноября 1942

Приходили Бунины, но не застали. Вечером пришла вторично Вера Николаевна. Был у нас Зуров. Иван Алексеевич получил открытку от Берберовой. Обхаживает его: "На Ваши книги набрасываются в Киеве /лжет, не сообразила: ведь не на что набрасываться — советских изданий почти нет, а те, что существуют, к продаже не запрещены; а эмигрантских изданий тоже нет, да и не могут они по целому ряду причин продаваться там/ и дальше: "Мы Вас любим, обожаем, — Бенуа и Шмелев уже заняли определенную позицию, Зайцев — еще нет". Следовательно, остановка-де за Вами. Очень им, видно, нужен для престижа Бунин.

Вторник 10 ноября 1942

Днем пришел Бунин. В лицах представил, как Петэн разговаривал с генералом Вейганом. Вчера газеты сообщили, что Петэн вызвал Вейгана из Антиба, где тот жил под "почетным" надзором жандармов. Вейган вылетел на аэроплане в Виши; для чего он был вызван, не сообщалось. Но после вышеприведенного решения Петэна ясно, что ему предложено было командование. Бунин ругал Петэна.

Условились с Иваном Алексеевичем, что все мы троим приедем к ним в Грасс в субботу утром и останемся у них до понедельника, что в субботу в час дня будут ждать нас у остановки автокара. Перед уходом Ив. Ал. закрепил условие, на что Люба сказала, если до того времени не будет окку-

пации /мы все время говорим о войне и вероятной оккупации побережья/.

Пятница 13 ноября 1942

Звонил по телефону из Грасса Бунин, спрашивал, приедем ли мы к ним в субботу, в связи с оккупацией не едем.

Вторник, 8 декабря 1942

Был Бунин. Разговор о Шмелеве по поводу его рекламной /вернее, саморекламной/ заметки в гитлеровской газете "Новое Слово". Я его всегда считал мерзавцем и дрянью. Наглец! Я его из Германии вытащил, собрал для него 18 000 франков, к себе привез сюда в Монтрей, он у меня шесть месяцев жил и свое "Солнце мертвых" писал. Сижу я как-то у окна, не работаю, как он бахнет изо всей силы по подоконнику /соответствующий жест Бунина/. Что с Вами, Иван Сергеевич, что Вы?

— Вы, — говорит, — меня из Академии выперли.

— Из какой Академии, о чем вы?

— Меня в Академию Наук хотели выбрать, а вы мне помешали.

— Вот вам крест, Иван Сергеевич /он крестится, лицо расплывается в улыбку/ — О вас никто и не думал выбирать, никогда ни слова о вас не было.

В это время подходит Вера Николаевна и то же самое говорит, она в курсе всех этих литературных дел была. Как он на нее гаркнет:

— Вы молчите, когда я говорю!

Это у нее в доме он живет и к ней так. А? Нет! Подлец и мерзавец.

Вторник 12 января 1943

Ле Пюи

Письмо от Буниных. Скончался в Париже Бальмонт. Целая эпоха в русской поэзии, а в России, вероятно, даже и не узнают теперь о его кончине. Вера Николаевна пишет:

"Очень мне грустно, что Вы так и не собрались в наши края и не посмотрели на наше гнездо, где сейчас очень холодно, несмотря на то, что дни солнечные. Я пишу ледяной рукой, на плечах меховое мантио, и все же пробегает дрожь по спине. Завтра наш сочельник. Новый год встретили дома, Иван Алексеевич, Леонид Федорович и я. В полночь, когда били часы, мы подняли бокалы непенистого золотого вина и выпили за всех друзей. Вспомнили близких. Сели закусить: на столе стояли — сардинки, украшенные луком со своего огорода и тоненькими пластинками картошки, по три рыбки на рот, а на другом блюде лежало девять кружочков колбасы. Обещанного мяса не дали и потому настоящего ужина не могло быть. Ничего не могла достать и из сладкого. Иван Алексеевич дал мне и Лене по печенью. Потом мы поднялись в мою комнату и у потухающего камина пили горячий кофе, обрызганный остатками мара. Жалели, что кто-то не исполнил своих обещаний и не приехал к нам в ЭТОТ день /это речь о нас: мы давно сговорились вместе встречать Новый год/. Ян хочет поехать в Ниццу в пятницу. Последнее время у него очень болят пальцы на руках. Он думает, что это ревматизм. Если его диагноз правильный, то хорошо, что теперь у нас нельзя достать и бутылки вина дешевле 119 фр.! Сегодня за обедом он сказал: "Первый раз за 50 лет ем макароны без вина". Я в душе порадовалась.

Получили письмо Осоргиной. Ее очень мучает, кроме главного, что у нее ничего не осталось от него, ни письма, ни книги, ни портрета — все исчезло. Получили печальную весть о смерти Бальмонта. Жена и дочь в полной нищете".

Пятница, 2 апреля 1943 г.

Бунины получили от Тэффи и от Зайцевых письма. У Тэффи грудная жаба, бывают сильные припадки; "Как последний аккорд реальности эта болезнь много благороднее других. Стала какая-то старая самодурка, то на всех обижусь, то умиляюсь на всякую встречную собачонку. Живем в барской

квартире, питаемся хорошо. Ночью будит ДСА*, но эти звуки мне нравятся, так как у меня душа Валькирии.

Л... Иванович раз в неделю обедает у нас. ЭТОТ слухов не передает, на факты не опирается, а просто свято и безмятежно — вдохновенно врет. Очень он милый и вдохновенный человек... " "На панихидах встречаю знакомых, почему-то все стали очень маленькие, даже здороваться стыдно".

А Зайцевы пишут: "Иван Сергеевич /т. е. Шмелев/ ходит спесь надувающихся. Боже, если бы Вы его видели /это после того, как рептильный немецко-русский "Вестник" — признал его гением/".

Берберова пишет Бунину, что у нея во всех мировых /!/ вопросах полное совпадение с Борисом Константиновичем.

Мать Мария отправилась с сыном к Илюше /т. е. к Фондаминскому — в Германию/.

3 мая 1944

Гренобль

Письмо от Буниных. Иван Алексеевич работает запоем. Зурова по болезни освободили от мобилизации на фортификационные работы. Бахрах работает. Адамович по-прежнему в Ницце.

2 июня 1944

Из Грасса пишут, что с Гиппиус приключился удар. Ремизов ходит в драном архалуке по ресторанам, собирая какие-то остатки. Бунины встречаются с русскими красноармейцами из немецкой армии — находят их очаровательными, в общем, впечатления, сходные с нашими.

4 апреля 1945

Вечером пришел Иван Алексеевич. Они вчера приехали из Грасса. Постарел, стал еще более сухощавым. Говорили о России, о возможной его поездке, о том, что его, вероятно, приглашает Богомолов, о том, ехать ли ему в Америку — боится, что здесь будет коммунизм, а — "я, как вы знаете, люблю иногда свободно думать".

*ДСА — ПВО /Противовоздушная оборона/ /франц./.

Удивлялся, что эта замоскворецкая стерва, Шмелев, ходит на свободе, почему их не арестовывают. Почему Ступницкий редактор газеты? Ведь это — вот /указывает на дерево/.

5 апреля 1945

Суббота.

Вечером пришел Иван Алексеевич. Обедал у нас. Говорили о забытых писателях, наших современниках — о Леониде Андрееве, Юшкевиче. Бунин рассказывал личное о них обоих. Потом разговор перешел на Пушкина. "Сколько ни читаю, все не могу поверить, что его убили. Всякий раз то же самое: а что, если бы пуля прошла бы хоть немного сбоку, в ногу?.." Говорили о молодости и о том, что в 40 лет человек считался стариком. Бунин удивлялся, что Онегин — мальчишка — был на ты с мужем Татьяны, а ведь тот генерал, убеленный сединами? Люба говорит, что в "Евгении Онегине" этих слов нет. Достали среди обеда Пушкина с полки — действительно, этих слов нет. Потом по поводу любиних стихов о Честном Слопенке, — Иван Алексеевич цитировал с большим удовольствием свои стихотворения-письма к девочке Оле. Действительно, хороши. Обещался в следующий раз принести тетрадь со всеми этими стихами. Потом много взволнованно рассказывал ужасные вещи о жизни в Грассе с Зуровым, когда тот его ругал на ты — "Ты, старый дурак" и "Буду бить по морде".

Унизительно и тяжело слушать. Вспоминать не хочется. Непонятно, во имя чего Бунин переносил все это. Теперь Зуров продолжает у них питаться, живет в том же доме на рю Ж. Оффенбах, но отдельно.

Иван Алексеевич впервые говорил о своих отношениях с Галиной Кузнецовой в связи с Зуровым, как тот хватал ее на траве за голые ноги, опирался на нее: "Знал, не мог не знать, о моих к ней чувствах... Он, мерзавец, знал, конечно, что я ревную".

7 мая 1945

Приходил вечером Бунин...

Суббота, 12 мая 1945

Приходил вечером Бунин. Остался обедать. О Тургеневе. "Умница, но за жабры не хватает". О смерти. Чтобы сожгли, не хочу думать, что будут есть черви семи сортов.

Я ему: Со мной трудно об этом говорить, я не верю, что умру.

И. А. — Да, и я этого про себя не знаю.

Люба: — А я всегда помню, что умру.

И. А. — Вы умница, и, конечно, вы об этом думаете.

О Толстом. Люба сказала, что варианты полных изданий мешают ей читать Толстого, делают его чужим.

И. А. : — Прекрасно! Я готов снова в вас влюбиться. Я не могу читать "академических" изданий. Толстого люблю читать ночью. Вообще хорошо читаю, приятно — только лежа. Перечитывал "Казачков" раз пятьдесят. И всякий раз ночью в Грассе дыхание захватывает. Как написано! Отложу книгу, сяду ночью в постели и громко чуть не кричу. Мать, мать, мать его так и так — как написано! Люба говорит, что "Казачки" лучше всего написаны. Тут Бунин пошел с восторгом о "Казачках".

Рассказывал о каннском священнике Николае Соболеве. Он из казаков, б/ывший/ офицер. Сидит в рясе с наперсным крестом и рассказывает:

— Я боевой. Скачешь на коне, шашку вон и кричишь — мать вашу /полностью договаривает матерные слова/ — Соболев летит!! Бунин все не может забыть, как он Соболеву говорил: — Если помру, так вы меня не хороните, а поставьте в церкви /чтобы потом в Россию отвезти/. А он — деловым тоном: — Да, да, не беспокойтесь, поставим, поставим.

— Я думал, скажет:, — Ну, что вы, рано вам о смерти говорить.

Ругал Шмелева: Подлец, всегда подлецом был, я его давно знаю.

Среда, 20 июня 1945

Вчера в зале Плейель чтение Бунина. Читал 2 рассказа из "Темных аллей" — один совсем слабый, другой лучше /о Генрихе/. Ляля был с нами на эстраде, среди приглашенных. Среди миллионеров в публике Берберова с мужем.

Суббота, 23 июня 1945

Сегодня у нас обедали Иван Алексеевич и Коряков. Иван Алексеевич сначала рассказывал об охоте на волков. Потом разговор почему-то зашел о том, как он в молодости в Ельце был влюблен и перед домом возлюбленной проезжал на прекрасном коне в черной бурке и в дворянской фуражке. /Любопытно, что Коряков никогда не слышал о дворянских фуражках/. Говорили о Телешовских воспоминаниях. Ивана Алексеевича Чехов называл не Бунишок а Букишон — "Вы совсем маркиз де Букишон".

По дороге из церкви зашла Вера Алексеевна, — она знала, что Бунин у нас сегодня.

Вспоминали, как в Москве, на Поварской, приезжают к нему Немирович и Станиславский. — Приехали вас приглашать в Художественный театр.

— А что, новая постановка?

— Нет, приглашать вас в актеры. Мы вам дадим роль Гамлета.

— Отказался. Благодарю.

Люба рассказала о письме Макса по поводу Шмелева. Иван Алексеевич верить не хотел...

...О Сирине, его поразившем. Иван Алексеевич: — "Блеск, доходящий до разврата. И внутренняя пустота. А потом — жулик, самый настоящий жулик". Говорил долго и не совсем спокойно. Вспомнил, что и у него кое-что взял. В "Господине из Сан-Франциско" у меня о глазах негра — "облупленное

крутое яйцо". Согласитесь, что неплохо. Но он берет и по десять раз на одной странице; душит, так, что сил нет. Я его крестный отец. Был приятелем с его отцом, он мне как-то прислал тетрадь стихов, подписанную "Сирин" с просьбой дать свой отзыв. /Набоков-Сирин тогда еще в Оксфорде учился./ Я сказал, что слабовато, но есть хорошие. Вообще в стихах он лучше, чем в прозе. А подпись не понял — так и написал, что это птица — Сирин или Св. Сирин.

Ругал Гофмана /Модеста/ — вдруг стал профессором...

По поводу предполагаемого в России издания Собрания Сочинений — академического — Иван Алексеевич очень боится, что напечатают также его слабые молодые вещи.

— Я бы пошел к консулу и попросил бы передать кому-нибудь из писателей письмо о том, чтобы осведомились у меня, что печатать. Я попросил Корякова устроить разговор Ивана Алексеевича с посланцем. Он предложил Ивану Алексеевичу, что, когда вернется из Москвы его знакомый первый секретарь Веденясов, то он попросит его устроить свидание И. А. с Богомолковым. После ухода Корякова И. А. говорит:

— А как же к нему обращаться — "Господин посол"?

Я говорю: — Нет, по имени и отчеству: Александр Ефремович.

— Ну, как же можно посла по имени отчеству?

— Но ведь он и вас тоже будет называть Иваном Алексеевичем.

Суббота, 7 июля 1945

Бунин был у Маклакова. Советовался, что предпринимать в связи с готовящимся академическим изданием его сочинений. Маклаков ему сказал, что надо поговорить в посольстве, но что он ему сейчас не может помочь в устройстве свидания в посольстве, потому что там к нему охладели после его статьи.

Четверг, 9 августа 45

Был Иван Алексеевич. О вступлении России в войну с Японией: конечно, что-то шокирующее в том, что в последний момент, чтобы добить.

Говорили о писателях из народа: Нефедове, Вольном, Николае Успенском, Подъячеве. Люба хвалила подъячевскую "Ревность". Иван Алексеевич ее не читал. Взял для прочтения. Рассказывал, как, узнав о том, что Николай Успенский перерезал себе горло, Иван Алексеевич вскочил на коня и поехал в деревню Лобаново, где Успенский жил раньше у местного священника, чтобы собрать материал для корреспонденции. Батюшка смутился и направил к попадье. Та со слезами рассказала, что любила Н. Успенского, была в связи с ним, а он изнасиловал ее дочь и с ней уехал. Дочь ее умерла от туберкулеза, у него от нее была дочь. С ней он ходил по деревенским кабакам, играл на гармонии, а девочка пела похабные песни. Мужикам очень нравилось.

Потом почти весь вечер И. А. рассказывал о Куприне...

23 октября 1945

Обедал Бунин. Сегодня ему исполнилось 75 лет. Не хочет об этом говорить. Боится быть стариком.

16 ноября 1945

Обедал Бунин. Рассказывал о том, как получал Нобелевскую премию. Эльза Триоле привезла ему из Москвы письмо от Телешова. Рад, что жив, зовет на Родину. Шмелев поздравил с 75-летием, И. А. не ответил.

20 ноября 1945

Позвонил Иван Алексеевич в 5 часов, сказал, что хочет поговорить. Условились, что придет к обеду. Рассказал, что позвонила сегодня Эльза Триоле. Она получила из Москвы от Госиздата телеграмму — спросить согласие Бунина на издание сборника рассказов. Иван Алексеевич страшно разволновался. Подумать только, после 25-летнего отлучения сами предлагают, хотя могут издавать все, что угодно, не спрашивая. Иван Алексеевич думает, что речь идет о "Темных аллеях", еще не напечатанных отдельной книгой. Триоле посоветовала обратиться за разъяснениями в отдел информации посольства к Михайлову. Он позвонил, женский голос, услышав, что говорит Бунин:

— Иван Алексеевич, сию минуточку.

Михайлов: — Здравствуйте, Иван Алексеевич, чем могу служить?

Бунин: — Здравствуйте, Борис Данилович. Я к вам обращаюсь по совету Эльзы Триоле, — Рассказываю про телеграмму, хочу совета. Как встретиться?

— Я в вашем распоряжении. Выбирайте любой день и час.

Условились на завтра в 11ч. Дело осложняется тем, что завтра же в три часа дня назначено подписание договора с Зелюком об издании тех же "Темных аллей" в 3000 экземплярах с уплатой 45 тысяч, из них 25 наличными. Иван Алексеевич мучается, в сомнении; что-то неприятное. Потом, значит, "Новый Журнал" для меня закрыт. В эмиграции станут говорить, что Бунин продался. А потом еще окажется, что "Темные аллей" им не подходят. Скажут, — на черта нам этот веселый старичок с клубничкой? Не созвучно! Спрашивает совета, как поступить. Мы ему сказали, что при неприемлемости режима, однако, невозможно русскому писателю заявить, что он не желает, чтобы его читали /издали/ в России. Что 26 лет мы твердили, что нас не подпускают к русскому читателю. Теперь с той стороны делают первый шаг, какую-то уступку, не хотят помнить "Окаянные дни", хотя нужды у них в этом нет. Нет ведь авторской конвенции, а Бунин скажет нет? И т. д. и т. п.

На прошлой неделе на Монпарнассе Ладинский отвел в сторону Ивана Алексеевича и сказал ему со слов Гузовского, что Богомоллов будет рад, если И. А. приедет в гости в один из ближайших дней к часу дня и что ему, Ладинскому, дали понять, чтобы он привез Ивана Алексеевича.

Ивану Алексеевичу во-1-х не понравилось непременно участие Ладинского, и он спросил, как на метро ехать в посольство, где пересаживаться, чтоб Ладинский понял, что он собирается без него ехать, а затем сказал, что без приглашения от Богомоллова не поедет и чтобы за ним прислали автомобиль. Ладинский сказал: — Я доложу.

6 июня 1951. Среда

Был у Бунина. Очень похудел. Сидит в постели. Убогая комната, лекарства. Тяжело дышать. Но всем интересуется и в первую очередь — будет ли газета. Спрашивает /если деньги будут/ следует ли выпустить газету до или после каникул. Ему не терпится, хочет поскорее. Снова говорил о своих "Воспоминаниях", говорит, что жалеет, что недостаточно отдал все части, так как готовился к печати, когда очень страдал от болей — это было до операции простаты.

О Толстом. Они гостили в Лесном у профессора Гусакова. Пришла телеграмма о кончине Толстого. Ехал в трамвае и не мог удержаться — расплакался. Вышел из трамвая, должен был зайти в аптеку, чтобы принять успокаивающее. "А я ведь человек не сентиментальный".

Во французском издании "Воспоминаний" переводчица в том месте, где упоминается "Пир во время чумы" сделала сноску:

"Пир во время чумы — известная басня Крылова"...

К нему пришел на днях Георгий Иванов и стал приставать, чтобы он подписал обращение к Лифарю, чтобы тот возглавил комитет по сбору пожертвований в его /Иванова/ и Одоевцевой пользу. И. А. отказался, тогда он стал требовать, потом стал на колени, стал плакать и т. д. В конце концов Иван Алексеевич сдался. Все это он рассказывал, как всегда, в лицах, имитируя шепелявость Иванова.

Говорил, что составил завещание. Как всегда, расспрашивал о Ляле.

10 сентября 1951

Понедельник

Сегодня в 6 часов вечера телефонный звонок: Бунин. Узнал от Адамовича, что мы вернулись с каникул. Обычные вопросы. Потом: "Где социалист?" Я сразу понял — это о Ляле.

Написал в Фордовское издательство /Вредину/, что хочет, чтобы его книги были изданы по старой орфографии. Ответи-

ла ему В. Александрова — консультантка по отделу беллетристики: общее решение — издавать по н о в о й орфографии. По старой нельзя по трем причинам:

1/ Читатели Ди-Пи* не знают старой орфографии.

2/ Экономия набора.

3/ Нет наборщиков в достаточном количестве, знающих старую орфографию. Бунин ей сегодня написал возражение, что, конечно, нетрудно было сделать и поставил категорическим условием, чтобы его печатали по старой орфографии /за каждую книгу ему причитается вперед авторские 1500 долларов, что равно 525 000 франков!/ Пытался его уговорить, но вижу, что сейчас он еще несговорчив. Конечно, Фордовский фонд исключения не сделает, да и к этому нет оснований. Вероятно, через некоторое время Иван Алексеевич согласится, если будет найден подходящий выход из положения.

Он написал Гукасову, издателю "Возрождения", письмо: "Что же это такое, в двух номерах кряду меня бесчестят "этот подлец Мельгунов и стерва его жена". Гукасов не ответил. Иван Алексеевич говорит, что больше с Гукасовым дел иметь не будет.

Вернулся в "Новый Журнал", но ничего для печати не имеет, работать не может, задыхается.

КОММЕНТАРИИ К ДНЕВНИКУ Я. Б. ПОЛОНСКОГО

Б о г о м о л о в — советский посол во Франции.

...п и с ь м а к д е в о ч к е О л е. Имеется в виду маленькая дочка Жировых, бунинских друзей, которые в то время жили в Везераке. близ г. Монтобана; Бунин писал ей смешные письма в стихах /см. Новый Журнал, 1974, № 114/.

с з у р о в ы м. Отношения Бунина с Леонидом Зуровым, много лет жившим в его доме и впоследствии унаследовавшим его имущество и архив, были очень сложными. См. подробнее об этом: А. В. Бахрах, "Бунин в халате", "Т. З. П.", США, 1979, стр. 20 сл.

*DP— перемещенные лица /ред./.

- Г е о р г и й И в а н о в /1894-1958/ — поэт, эмигрант с 1923 г.;
О д о е в ц е в а Ирина Владимировна /1901/ его жена —
поэтесса и мемуаристка, автор книг "На берегах Невы" и
"На берегах Сены".
- О д и н е ц Дмитрий Михайлович — историк, сотрудник газеты "Пос-
ледние Новости", после войны вернулся в СССР, где умер
в 1950 г.
- Г е с с е н В. М. — профессор, историк, родился в 1901 г.
- Т е л е ш о в с к и е в о с п о м и н а н и я . Николай Дмитриевич Теле-
шов /1867—1957/, писатель, автор интереснейших воспоминаний
"Записки писателя", созданных в период с 1925 по
1943 гг. и опубликованных в Москве гораздо позднее
/1966/.
- С и р и н — псевдоним В. В. Набокова.
- Г о ф м а н Модест Людвигович /1887-1959/ — историк русской лите-
ратуры, видный пушкинист, эмигрант с 1923 г.
- М а к л а к о в Василий Алексеевич /1870-1957/. Имеется в виду ста-
тья-доклад Маклакова "Парадоксы демократии", в кото-
рой автор ставил под сомнение "права большинства": воз-
величение большинства представляется ему главной бедой
современности /см. Новый Журнал, 1948, №№19—20/.
- Н и к о л а й У с п е н с к и й /1833-1889/ — писатель и педагог, с 1884
вел жизнь бродяги; труп его был найден полицией на ули-
це в Москве.
- Л а д и н с к и й Антонин Петрович /1896-1961/ — писатель, жил в
эмиграции в Париже с 1921 по 1955 г. В 1946 принял совет-
ское подданство. Автор очерка "Последние годы И. А. Бу-
нина" /Л. Г.. 1955, 22 окт./.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА"

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, выпуск 50, 1979 г., цена -
5.00; выпуск 51, 1979 г., цена - 5.00.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕ-
НИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР, выпуск 5,
1979 г., цена - 5.00.

ХРОНИКА ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 1979 г.,
245 стр., цена - 8.00.

Александр Подрабинек. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 1979 г.,
192 стр., цена - 7.00.

Также в продаже

Владимир Буковский. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР... 1978 г.,
384 стр., цена - 12.00.

Александр Некрич. НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ. 1978 г., 170 стр.,
цена - 7.00.

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Выпуск 1. 1978 г.,
600 стр., цена - 15.00.

СССР - РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? Составитель В. Чалидзе. 1978 г.,
166 стр., цена - 7.00.

Валентин Турчин. ИНЕРЦИЯ СТРАХА. СОЦИАЛИЗМ И ТОТА-
ЛИТАРИЗМ. 1978 г., 296 стр., цена - 10.00.

по адресу:

KHRONIKA PRESS
505 EIGHTH AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10018

Цены указаны в долларах.



О БОГЕ, ИСКУССТВЕ И О СЕБЕ

Имя Алека Рапопорта обычно связывают с утверждением гуманистического и духовного начала в искусстве. Я мог бы насчитать десятки имен, о которых можно сказать абсолютно то же самое и даже теми же словами. Все как будто бы ясно и ничего не ясно одновременно.

Сам Алек Рапопорт говорит, что для него важнее всего идея Бога, "духовный концентрический конус", определяющий смысл нашего бытия. Так в чем тут, собственно, дело? Ниже мы еще предоставим слово художнику, а пока несколько слов из его биографии.

Итак, родился в 1933 году, окончил Ленинградское художественное училище, а затем театральный институт. В 60-х годах юношеская тяга к Ренессансу перерастает в интерес к Библии, к искусству Византии. Искания приводят к конфликту с официальным искусством, а затем и с властями. Участие в ленинградских и московских выставках нонконформистов. Выставки в США, Канаде, позже — в Венеции, Западном Берлине, Бремене, Риме... В 1976 году отъезд из России в Америку. Сейчас Алек Рапопорт живет в Сан Франциско.

Теперь, пожалуй, можно продолжить и мысли художника — о Боге, искусстве и о себе.

"Через Византию, Тинторетто и Сезанна, вплоть до нас, русских художников, все вышло из Присредиземноморья, все было заварено в этом котле, — говорит Алек Рапопорт. — Это здесь была та колыбель,

где родились наши религии, наши храмы, города, наши ритмы, наше искусство. Конструкция европейского города с его освещением дала начало системам перспективных построений, в которых прежде всего воплотилась идея монотеизма, идея Бога."

По мнению художника, попытка европейских авангардистов XX века возродить множественность точек зрения в перспективных построениях привела, увы, не к возрождению искусства, а скорее, к анархии, ибо она — эта попытка — не заключала в себе идеи Бога. Европейские авангардисты не в состоянии перепрыгнуть через самих себя, потому что они ограничены не ими созданными моно- и концентрическими структурами евразийского континентального пространства. Картина и зритель сохраняются в вакуумах концентрических структур, в то время как исторические вакуумы заполняются революциями, тираниями и террористами.

"В чем была сила ленинградских художников нонконформистов? — заключает свои размышления Алек Рапопорт. — Они героически пытались прорваться сквозь омерзительную скорлупу коммунистических догм к телу духовного концентрического конуса, составляющего основу евразийского византийско-христианского мира. Они пытались сделать то, что оказались не в состоянии сделать упомянутые авангардисты Европы. Похоже, что Рим — Византия — Ленинград — это сегодня единый мир, и мы — его часть. Мы часть его структуры и, навряд ли эта структура может быть изменена без ломки."

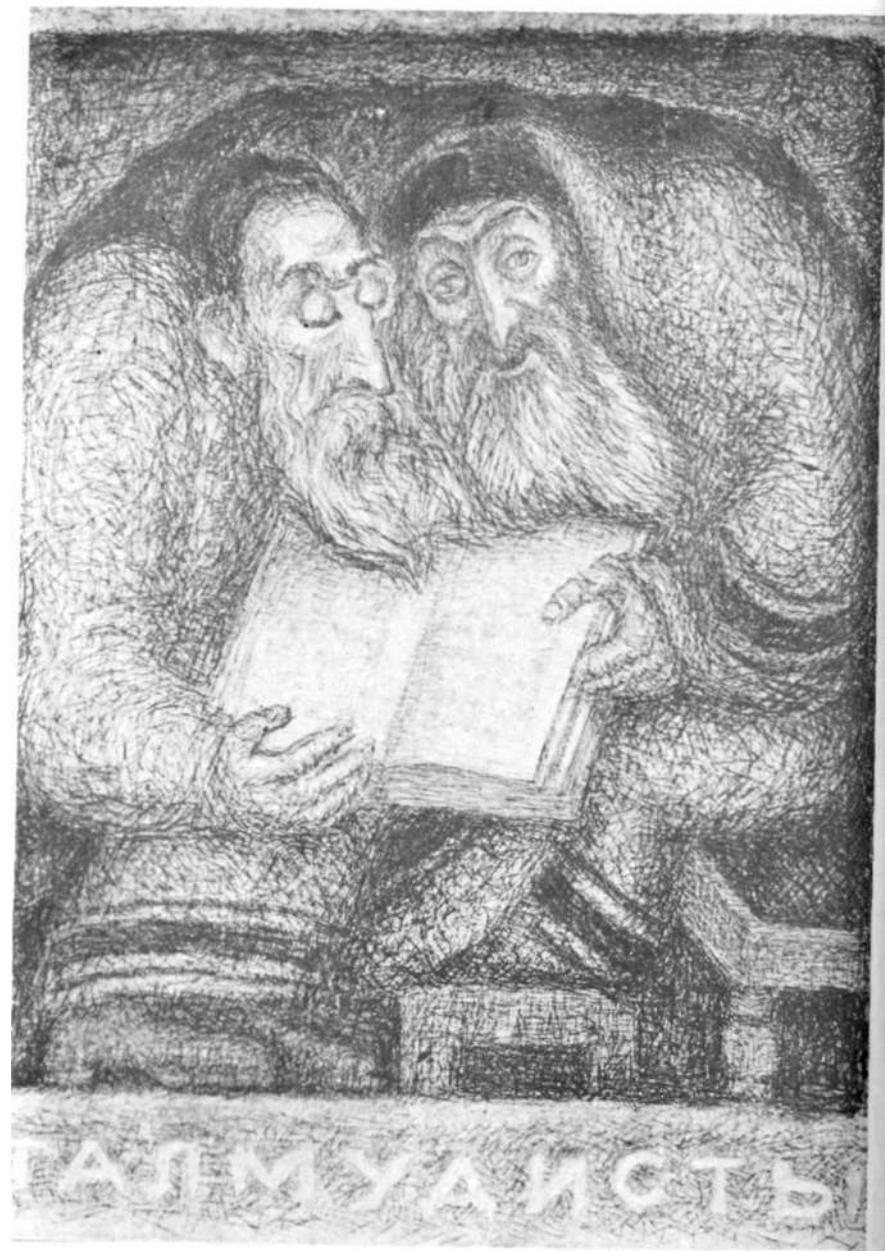
В. Петровский



Старуха. 1974. /Рельеф, масло./



Шамес. 1974.



Талмудисты. 1966. /Бумага, тушь, перо./



Авва Симеон
и Иоанн.
1975. /Темп., лак./



Св. Михаил приходит в Лавру Саввы Осмицкиного. 1974.



Супружеская пара. 1964. / Бумага, тушь./

А Р Д И С
п р е д л а г а е т



У пирога. 1968. /Бумага, тушь./

МЕТРОПОЛЬ. АЛЬМАНАХ.	12.50 долл.
АКСЕНОВ. ОЖОГ.	10.50 долл.
СОКОЛОВ. МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ.	5.00 долл.
АЛЕШКОВСКИЙ. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.	4.50 долл.
НАБОКОВ. ЛОЛИТА.	7.00 долл.
НАБОКОВ. БЛЕДНЫЙ ПЛАМЯ. 1980.	12.50 долл./окт./
НАБОКОВ. ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ.	7.00 долл.
АКСЕНОВ. ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА 1980.	5.00 долл.
МАНДЕЛЬШТАМ. ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ.	3.50 долл.
ЦВЕТАЕВА. ПРОЗА.	400 стр. 6.00 долл.
БЕЛЫЙ. СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ.	6.00 долл.
АХМАТОВА. ЧЕТКИ	3.50 долл.
АХМАТОВА. ИКОНОГРАФИЯ.	6.00 долл.
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ.	6.00 долл.
ЦВЕТАЕВА. БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ. 144 стр.	10.00
ПЛАТОНОВ. КОТЛОВАН.	5.00 долл.
НАБОКОВ. СТИХИ.	6.00 долл.
НАБОКОВ. ЗАЩИТА ЛУЖИНА.	7.00 долл.
КОПЕЛЕВ. ХРАНИТЬ ВЕЧНО.	8.95 долл.
АХМАТОВА. ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ.	3.50 долл.
ЭРДМАН. САМОУБИЙЦА.	3.50 долл.

Отметьте нужные вам книги, добавьте к сумме заказа 1.00 доллар на расходы по пересылке, вложите чек и шлите по адресу:

ARDIS 2901 Heatherway / Ann Arbor,
Michigan 48104

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ. Родился в 1938 году в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. В советской печати практически не публиковался. На Западе публиковался в журналах "Грани", "Вестник РСХД", "Время и мы" и др.

Василий АКСЕНОВ. Родился в 1932 году в Казани. Один из наиболее популярных русских писателей последнего двадцатилетия, автор таких повестей, как "Звездный билет", "Апельсины из Марокко", "Затоваренная бочкотара" и романа "Пора, мой друг, пора". В 1975 году Аксенов руководил семинаром по русской литературе в Калифорнийском Университете Лос Анжелеса. Его повесть "Стальная птица" была напечатана в "Глаголе" № 1 и издана отдельной книгой по-английски "Ардисом". В 1979 году Аксенов возглавил группу из 23 русских писателей, объединивших свои произведения в альманахе "Метрополь". В знак протеста против репрессий, направленных литературной администрацией против некоторых участников "Метрополя", вышел из Союза писателей. В 1980 г. издательство "Ардис" выпустило его роман "Золотая наша железка", подготовило к печати самое крупное произведение — роман "Ожог". В июле 1980 был выслан из Советского Союза.

Семен ЛИПКИН. Родился в 1911 году в Одессе. Поэт, поэт-переводчик, в Союзе писателей с 1934 года, друг А. Ахматовой. Перевел: калмыцкий эпос "Джангар", киргизский эпос "Манас", кабардинский эпос "Нарты", поэмы А. Навои, Фирдоуси, а также стихи тюркоязычных поэтов и поэтов, пишущих на фарси. Систематически публикуется на страницах журнала "Время и мы".

Анри ВОЛОХОНСКИЙ. Поэт. Родился в 1936 году в Ленинграде. По профессии лимнолог. В России почти не публиковался. Репатриировался в Израиль в 1973 году. В настоящее время живет в Твери, работает в лаборатории по исследованию озера Кинерет. Печатается в израильской и западной периодической прессе.

Дмитрий БОБЫШЕВ. Родился в 1936 году в Мариуполе. С раннего детства жил в Ленинграде. Окончил Технологический институт, работал инженером, редактором на телевидении. Один из самых значительных поэтов своего поколения. В России печатался очень мало — несколько стихотворений в "Юности", "Молодом Ленинграде", ленинградском "Дне поэзии" в 60-е годы, на Западе — цикл "Траурные октавы" в сборнике "Памяти Ахматовой" /ИМКА, 1975/. Его стихи широко распространены в самиздате. В настоящее время живет в США.

Яков ТАЛЬМОН. Историк. Один из крупнейших исследователей современной истории. Родился в 1916 году в Польше. В 1934 году переехал в Палестину. Учился во Франции и Англии. Со времени образования государства Израиль был профессором Иерусалимского Университета и в течение ряда лет заведовал кафедрой новой истории. В 1953 году опубликовал книгу "Истоки тоталитарной демократии", которая была переведена на многие языки и принесла ему мировую известность. Яков Тальмон умер в июне 1980 года.

Н. ПРАТ. См. журнал № 54.

Илья СУСЛОВ. Родился в 1933 году. После окончания Московского полиграфического института в 1956 году работал начальником цеха в типографии "Детская книга". Затем работал в журналах "Юность", "РТ". С 1967 по 1973 год был заместителем заведующего отделом сатиры и юмора "Литературной газеты", редактировал ее "Клуб 12 стульев". В 1974 году эмигрировал в Америку. Был грузчиком, рабочим в типографии, продавцом. С 1976 года работал в "Голосе Америки". Сейчас работает редактором в русском отделе журнала "Америка". В 1956 году вышла в английском переводе его повесть "Прошлогодний снег", впервые напечатанная в нашем журнале /№ 3, 4 за 1976 г./. Много печатается в американских эмигрантских газетах. С июля 1980 года — член редколлегии журнала "Время и мы".

Виктор КАГАН. Родился в 1920 году. Учился в Ленинградском политехническом институте. В 1941 году пошел добровольцем в Ленинградское ополчение. Был ранен. Десять с половиной лет был в заключении /февраль 1945 — август 1955/. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию по физике. С 1975 года живет в Израиле.

Леопольд АВЗЕГЕР. /Биографические данные приводятся в воспоминаниях Л. Авзегера./

Яков ПОЛОНСКИЙ. /Биографические данные приводятся во вступительной заметке Е. Эткинда. № 55, и в дневниках Полонского./

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР

созданный в г. Кельне

/Федеративная Республика Германия/

ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

во всех областях науки, промышленности, сельского хозяйства, организации производства, планирования, военного дела, юстиции, медицины, культуры и искусства, спорта, организации партийного и государственного аппарата и т. д.

Заинтересованных в разработке различных аспектов вышеуказанных тем просим сообщить в Центр следующие сведения о себе:

1. Имя, отчество, фамилия.
2. Год рождения.
3. Адрес и телефон.
4. Профессия.
5. Образование /с точным указанием учебного заведения, факультета и года окончания/.
6. Ученые степени и звания.
7. Бывшие места работы и должности в СССР.
8. Узкая специальность /темы, проблемы/.
9. Научные работы /опубликованные и неопубликованные/.

Присланная Вами информация пойдет в картотеку Центра, создаваемую с целью выполнения последующих заказов на исследовательские работы.

Адрес Центра: Zentrum für Sowjetforschung e. V.
Postfach 18 01 05 D-5000 Köln 1
Bundesrepublik Deutschland

Я ПОКАЗАЛ ЙОХЕ НАГЕЛЬ, СОТРУДНИЦЕ БАНКА, В КОТОРОМ У МЕНЯ ОТКРЫТ СЧЕТ, "ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", ПОЛУЧЕННОЕ МНОЙ ОТ "ХЕВРАТ ХАШМАЛ". ОНА ПОСОВЕТОВАЛА МНЕ ДАТЬ ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ БАНКУ НА ОПЛАТУ СЧЕТОВ ЗА ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Я ПОСЛЕДОВАЛ ЕЕ СОВЕТУ, И У МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕЛЕФОН.



בנק לאומי הבנק שלי.



בנק לאומי

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03) 31-58-40.

26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П. Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6, Т.- А.

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман

Технический редактор И. Левин

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Алек Рапопорт "Три фигуры".

